БОЖЕСТВЕННЫЙ И СТРАШНЫЙ АРОМАТ

РОБЕРТ КУРВИЦ



ПРОЛОГ
К ЦИКЛУ РОМАНОВ

PÜHA JA ÕUDNE LÕHN

ISBN 978-9949-33-063-8
Издательство ZA/UM
Таллинн, 2013
Типография Pakett

ФАНАТСКИЙ ПЕРЕВОД С ЭСТОНСКОГО
23.04.2023

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Роман *Püha ja õudne lõhn*, также известный как *Sacred and Terrible Air* — книга, на основе которой позднее была создана игра *Disco Elysium*. Он был задуман как пролог к циклу романов и опубликован задолго до выхода *Disco Elysium*, поэтому мир, показанный в нем, местами отличается от того, что можно видеть в игре. Было бы правильным читать эту книгу как самостоятельный текст, а не дополнительные материалы к игре. Поэтому некоторые названия и термины было решено не приводить в соответствие с русским переводом *Disco Elysium*. Фрагменты на иностранных языках даны непереведенными, как и в оригинале. Переведены только те из них, которые могли бы быть понятны без перевода читателю оригинала на эстонском.

Кроме оригинальной книги, сюда включены неизданный эпилог и некоторые другие тексты, действие которых происходит в мире Элизиума.

Внимание! Этот проект, от распознавания отсканированной копии книги до финальной вычитки — работа одного человека, который не знает ни слова на эстонском. Перевод сделан с помощью программ машинного перевода, онлайн-словарей и поиска в *Google*. Переводчик взялся за него по большой любви и изо всех сил старался сделать читабельным, но не особенно уверен в результате и от души советует прочесть официальный перевод, когда он всё-таки выйдет. Как всё начиналось, можно взглянуть здесь. Окончательная версия сверена по переводам на английский язык: профессиональному (неофициальному) и фанатскому от *Group Ibex*. Если хочется прочесть книгу на английском — рекомендую фанатский перевод: он объективно лучше профессионального. Также хочу сказать огромное спасибо *Group Ibex* за любезно предоставленную языковую корректуру. Ребята, вы космос!

Приятного чтения!

«Не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».
Блаженный Августин

1. ШАРЛОТТЕШЕЛЬ

Этот курортный район в окрестностях Ваа́сы поглотил четырех девочек — сестер Лунд. Вместе с их тонкими косточками и загорелой кожей канула в небытие целая эпоха. Шесть километров извилистой береговой линии, популярный в пятидесятые пляж; ряды кабинок для переодевания, ветер шумит в тростнике. Вот они — времена, о которых рыдают консерваторы. Времена, когда родители могли отправить детей на пляж без присмотра, с двумя реалами в кармане шорт — на проезд и мороженое. Отцы и матери озабоченно качали головами и скрывали от детей новости из Месси́ны, Граа́да, Го́твальда, где, казалось, каждую неделю находили в печах остатки маленьких скелетов. Там каждую неделю чья-то дочь выбиралась из подвала, где ее держали тридцать лет, и звала на помощь.

Там — но не здесь.

Здесь — социал-демократия. Нежные персиковые цветы социал-демократии, ее заботливые социальные программы, ее прогрессивный подход исцелят даже самую искалеченную душу. В этом заповедном краю никого не посетит странная техническая идея оборудовать в подвале секретную комнату — с вентиляцией, наружные отверстия которой замаскированы садовыми фигурками в виде ветряных мельниц. Все эти мрачные фантазии разгоряченного ума остывают и растворяются в прохладном тумане; дыхание далеких голубых ледников замораживает эти болезненные мысли в головах. Вааса. Вот где вы хотели бы жить.

Но вот однажды, утром вторника, когда по голубому небу плывут белые облака, четыре сестры Лунд — Шарлотта (14 лет), Мо́лин (13 лет), Анни-Э́лин (12 лет), и Май (5 лет) — отправляются на пляж. С собой они берут два реала наличными, четыре купальных костюма, еду и напитки и два больших полотенца в двух пляжных сумках. В 9:30 они садятся на конку в Лови́се, пригороде Ваасы. Водитель конки хорошо их помнит. Сегодня, двадцать лет спустя — знаменательный день для Ро́ланда, живущего в доме престарелых, потому что он наконец-то может об этом рассказать: «Самая старшая купила билеты на всех. До Шарлоттеше́ля. Сорок сентимов. По десять за билет. Если бы они проехали на остановку дальше, билет уже стоил бы двадцать сентимов. Это я помню очень хорошо. Там начинаются междугородные линии, тариф в два раза выше. Боже мой, какая красавица! А до чего учтивая! Старшая, *Szar-lot-ta!* — чеканит старик. — Я тогда еще не знал, прочитал потом в газете. А как прочитал, сразу пошел в полицию, тут каждая секунда на счету».

В 10:25 девочки сходят с конки в Шарлоттешеле. Каждая по очереди благодарит водителя — вот как хорошо они воспитаны. В это утро на пляже жарко, а народу немного.

Там девочек встречает мороженщица Агнета. Двадцать лет назад Агнета еще училась в колледже и летом подрабатывала, продавая мороженое. Молин и Анни-Элин покупают четыре порции: два ванильных, одно с лаймом и одно шоколадное. Остальных девочек из магазина не видно. Шторы на окнах опущены, открыто только окно рядом с прилавком, где витрина. С утра в будний день посетителей мало, юная Агнета знает девочек и помнит их предпочтения. В этот день мятного — любимого мороженого Молин — нет в продаже, поэтому возникает небольшая заминка. Кроме мороженого девочки, против обыкновения, покупают три жареных пирожка с мясом. Итого на один реал пятьдесят сентимов. Девочки выходят из магазина, и в открытое окно рядом с прилавком Агнета замечает рядом с ними какого-то мужчину. Про Мужчину Агнета ничего не помнит. Ни возраста, ни роста, ни как он был одет; ни того, был ли он один и — как позднее начала задумываться Агнета — был ли он там вообще.

Это последний раз, когда кто-то видит девочек.

Четыре дочери Анн-Маргре́т Лунд, за два дня до того занявшей пост министра образования, и бумагопромышленника Карла Лунда исчезают без следа. Освещение этого дела в прессе превращается в многолетний роман. Каждая мелочь подробно описывается на страницах газет, и история о сестрах Лунд глубоко врезается в память нации. Их исчезновение становится одним из самых громких нераскрытых дел в реаловой зоне.

Около 12:40, за пять часов двадцать минут до шести вечера, когда девочки должны вернуться домой в Ловису, и примерно за тридцать минут до покупки мороженого, трое мальчиков сидят в гостиной. Пробивающееся сквозь жалюзи солнце чертит на стенах комнаты золотые полосы; мальчики — одноклассники двух из сестер. Рослый веснушчатый парень держит возле уха телефонную трубку.

— Да звони ты уже, наконец, — торопит белокурый мальчик, выглядывая из-за его спины.

— Как-то некрасиво — звонить на три часа раньше, чем договаривались, — сомневается веснушчатый.

Толстый иммигрант из Ильмараа́ тянет его за рукав:

— Давай, Туре́ш, позвони. Тут что-то не так!

— Знаю, знаю, — говорит Тереш, и стальной диск телефона звякает под его пальцем.

Приближается оглушительный гул времени, самый ужасный звук в мире. Сквозь окно в золотую комнату льется не свет, а непроницаемая серая мгла. Все расстояния в ней непреодолимы, и вместо пространства все предметы разделяет *horror vacui*.

2. ВСТРЕЧА ОДНОКЛАССНИКОВ

Ина́ят Хан наливает себе морса. Немного розовой жидкости капает с подбородка на галстук. Костюм сидит плохо, пуговицы вот-вот оторвутся. Он выглядит как идиот.

«Толстый идиот в голубеньком галстуке, — думает он. — Не надо было вообще приходить».

— Сходи, хоть друзей повидаешь! С кем ты там дружил? Этот, фон Фе́рсен, был хороший мальчик. И…

— Он мне не друг, он психотеррорист. Я его терпеть не мог, подлого выскочку!

— …из него вышел очень уважаемый человек…

— Карьерист и скользкий тип — вот кто из него *вышел*, да еще и расист к тому же. Я помню, как он меня обзывал — мам, сказать тебе, как он меня звал?

— …и Тереш, и Йеспер! Да, Йеспер теперь тоже знаменитость…

— «Дерьмо верблюжье». Мама, он называл меня верблюжьим дерьмом.

Хан смотрит, как магнитная лента скользит по считывателю. Катушки гипнотически вращаются внутри аппарата, магнитное поле становится музыкой, медленной песней — и на мгновение ему кажется, что он снова видит пятна света, плывущие по полу и стенам актового зала. Как звезды в небе или рой медуз глубоко под водой. Звезды скользят по белому платью Молин Лунд, ладонь Хана у нее на талии влажная от волнения. Что сказать? Время останавливается, музыка замолкает, и темно-зеленые глаза Молин Лунд отражаются в толстых стеклах очков Хана.

Håll mig här…

«А-а…» — рядом возникает какая-то женщина, должно быть, из параллельного класса. Она хочет что-то сказать, но потом делает вид, что просто тянется за бутербродом. Никто из них не пришел. Хан один, а одетая в брючный костюм женщина стоит рядом в своем брючном костюме. Так не годится — надо что-нибудь сказать или сделать.

Хан достает из кармана авторучку с секретом. За ее прозрачным корпусом председатель Президиума Самарской Народной Республики Сапурма́т Кнежи́нский сердечно улыбается камере своей исторической черно-белой улыбкой. Слева от него у фальшборта стоит человек с крысиным лицом, одетый в черное кожаное пальто агента тайной полиции. «Смотрите, исчезающий комиссар!» — говорит Хан и поворачивает ручку. Крысоподобный тип за стеклом исчезает. На палубе остаются только сам председатель Президиума Сапурмат Кнежинский и подхалим Ухто́мский, известный своими провальными

критическими выступлениями. Там, где был комиссар, теперь только перила. А еще стала видна часть мостика, которую он загораживал.

«Очень интересно», — говорит женщина в брючном костюме, оглядываясь через плечо. Хан убирает со лба прилипшую прядь волос. В другой руке он всё еще держит ручку; он продолжает смотреть на нее, рассеянно улыбаясь и бормоча себе под нос: «есть комиссар, нет комиссара».

Улыбка еще мгновение теплится на его круглом, с двойным подбородком, лице, а затем исчезает. Большие печальные глаза Хана наблюдают за суетой взрослых людей в школьном актовом зале. Там окликают друг друга по именам выпускники пятьдесят шестого года. Жмут руки, показывают фотографии детей в кошельках.

Есть комиссар. Нет комиссара.

В просторной комнате на паркете сидит мужчина лет тридцати. Он дизайнер интерьеров. Паркет недавно покрыт лаком; на лоб мужчины падает белокурая челка. Дизайнер сидит, скрестив ноги по-портновски, изящные белые руки лежат на коленях. Подняв глаза, он видит в огромных, от пола до потолка, окнах отражение комнаты. В полумраке за его спиной видны скелетообразные очертания минималистичной дизайнерской мебели, кухонная зона с каменной столешницей и аналоговые колонки — два немых обелиска. Над комнатой парит одинокий призрак: бежевое полупальто Perseus Black на вешалке и белые замшевые туфли за три тысячи реалов на обувной полке под ним.

Поворот *диммера*, и свет тускнеет. Отражение комнаты исчезает, и за окнами появляется море папоротников. Край темно-зеленого ковра теряется в темноте под елями. Сидя здесь, дизайнер обычно слушает музыку, но сегодня так тихо, что слышно, как по папоротникам стучат дождевые капли.

Когда Йесперу де ла Га́рди было двадцать с чем-то лет, он и его единомышленники, снюхав огромное количество кокаина, разработали ставший всемирно известным язык дизайна *Illdad minimal*. Они курсировали между туалетами кафе Ассоциации архитекторов и престижных бюро интерьерного дизайна, попивая воду из бутылок и поздравляя друг друга с передовым изобретением: «Наш проект будет *править миром*, через этот язык образов мы определим восприятие людей на годы вперед» — «Когда-нибудь я напишу об этом *книгу*! Безвкусица — это зло, а зло — безвкусно. Разве не ясно, что простой и чистый дизайн сделает мир лучше?»

Потом снежок вышел из моды, а привычка к бутилированной воде осталась. Йеспер отпивает глоток и встает, потом поправляет узел

галстука в V-образном вырезе джемпера, снимает трубку и вызывает такси.

Бетонный куб под елями гаснет, и машина с Йеспером внутри ныряет в темноту леса. Позади нее остаются густые клубы мазутного дыма. В опустевшем доме, в окружении стеклянных стен, звонит телефон — белый аппарат на кубическом деревянном столе с исключительно красивой фактурой.

Темнеет.

Агент Международной полиции Тере́ш Маче́ек сходит с поезда на обширный перрон магнитовокзала. Стальные монолиты вагонов блестят под усиливающимся дождем. Они возвышаются над платформой, подвешенные под небесами паутиной тросов. Из-под вагонов, от раскаленных магнитов, поднимается пар и облаками плывет над асфальтом перрона. Мачеек забирает у проводника чемодан и вместе с толпой направляется к зданию вокзала.

Монета падает в прорезь таксофона. Пока идут гудки, агент Международной полиции тренируется говорить «привет» спокойным и непринужденным голосом. Веснушки на его носу и щеках со временем полностью выцвели, в углах рта залегли скорбные складки. Никто не отвечает; агент достает из портфеля справочник адресов и маршрутов и решает ехать на трамвае.

Темная громада магнитовокзала нависает над городом. Из ее чрева плавно, как пушинки одуванчика, спускаются в Ваасу светящиеся кабины подъемника. В одной из них агент Мачеек смотрит, как у него под ногами сияет единственный мегаполис Севера. По стеклу лифта струится дождь, а за ним сверкающим архипелагом раскинулся в Северном море приземистый, ровный город. Стройная башня «Телефункена» одиноко высится над мрачно-зеленым комплексом зданий. Петляют моторазвязки, светятся золотом; дорожное движение плавное, как во сне. Вот Кёнигсма́льм, коммерческий центр, — а прямо под ним Са́лем: разноцветные огни иммигрантского района разбегаются по асфальту. Из-под навеса манежа выезжают конные трамваи, дребезжа, карабкаются по склонам и исчезают под блестящей зеленью каштанов. Пути пролегают среди десятков и сотен парков Ловисы, ведут к университетским городкам и районам социального жилья, где город незаметно уступает место хвойным лесам. В далеких малоэтажных пригородах гаснет свет, и Мачеек представляет себе летние домики, пустые пляжи и сосны, дремлющие под дождем. За ними начинается настоящая Катла с ее чернеющими лесами, полянами и долинами, куда с другой стороны Зимней орбиты морозы приходят уже в конце сентября.

Листья каштанов залетают в павильон ожидания под навесом манежа, где девушка с кошачьим голосом через громкоговоритель

объявляет номера маршрутов и время отправления. Ее голос эхом отражается от опор здания; листья прилипают к стеклу павильона и окнам трамваев, их прелый запах наполняет воздух.

Агент влезает в переполненный вагон, держа в руке чемоданчик. На его крышке контуры изол реаловой зоны образуют силуэт хищной птицы в полете — эмблему Международной полиции.

— Частный детектив. — Хан лжет. Он не частный детектив. Частный детектив — это химера. Избыточный вес и сальные волосы — часть его собственной карьеры в родительском подвале, где он собирает коллекцию связанных с исчезновениями предметов; остальное взято у более успешного одноклассника Тереша Мачеека, который служит в Международной полиции, в отделе розыска пропавших без вести. Этот фантастический гибрид выручал Хана много раз. Но только не сегодня.

— Простите, я не расслышала? — Женщина в брючном костюме отвлекается от разговора.

— Я частный детектив. Если точнее — ищу пропавших людей. После того, как полиция и силовые структуры сдаются, друзья или родные — чаще родные — приходят ко мне. А потом… потом я делаю всё, что в моих силах.

Позади них Свен фон Ферсен вручает бывшей классной руководительнице сборник своих остроумных статей о лидерстве. Он выглядит настоящим гражданином мира. Трудно поверить, что он зовет смуглых людей с необычными именами верблюжьим дерьмом.

— Ага… — Он поворачивается к Хану. — Так и ищешь их. До сих пор.

— Ну да, сначала так оно и было. Правда. Но пока я занимался этим, я многому научился… И… дальше всё получилось само собой. — Мужчина в голубом галстуке начинает потеть. Его терпение на исходе. — И вообще, послушай сам! Здесь добрая половина народу это обсуждает. Попробуй только сказать, что тебе всё равно!

— Во-первых, никакая половина народу здесь *этого* не обсуждает. Может, тебе и хочется так думать, но это не так. А во-вторых — мне, разумеется, не всё равно, но, по-моему, это довольно жалко.

— Что жалко?

— Эта тема. И люди, которые до сих пор ее мусолят. Пишут в газеты, что видели женщину, которая выглядела так, как выглядела бы сейчас Молин или Анни, и прочее в этом духе.

— Да пошел ты!

Люди вокруг стола с закусками замолкают и смотрят в сторону Хана и фон Ферсена. Женщине в брючном костюме становится неловко. Она отворачивается. Потный мужчина в очках с толстыми линзами сует недоеденный крендель за щеку и направляется к гардеробу.

Каштаны перед гимназией качаются на ветру. Листья падают на крыльцо главного входа, на тротуары и в лужи. По поверхности воды идет рябь, отражения фонарей ломаются под колесами подъехавшей машины. Хлопает дверца такси, и пара белых замшевых туфель за три тысячи реалов ступает прямо в лужу. Вполголоса выругавшись, дизайнер делает три длинных шага. Раздраженно махнув рукой при виде грязных брызг, он сует папку с бумагами под мышку и идет по ступеням к главному входу.

Внутри тепло и пахнет клеем. Йеспер проходит через вестибюль; исчирканный сменной обувью паркет скрипит под ногами. Он берет у улыбчивой волонтерки карточку со своим именем и сует в задний карман брюк.

— Повесьте на грудь, чтобы вас могли узнать.

— Да, конечно, — говорит Йеспер. И оставляет карточку в кармане.

На стенде вывешены портреты из ежегодников и общие фотографии классов. Восьмой «Б». Худенький белокурый мальчик со слишком большой для узких плеч головой и зализанной за ухо челкой. Слева от него сын иммигрантов из Ильмараа, пухлый, в кошмарном галстуке. Маленький Хан смотрит сквозь камеру затуманенным взором. Длинный веснушчатый гойко с «акселератского» заднего ряда посоветовал ему снять очки. Без них вид не такой убогий.

Дизайнер просматривает ряд за рядом, и в его сердце нарастает тревога. Его воображение опережает взгляд. Где-то в середине ряда девочек сияет далекая галактика, массивное скопление термоядерных реакций, химическая свадьба.

Восемь лет назад одухотворенное лицо Йеспера впервые появилось на глянцевой обложке журнала о дизайне. Правда, свет софитов пришлось разделить с двумя другими кокаиновыми визионерами. Вот они втроем позируют для фото на своем флагманском диване. Софтбокс рассеивал свет, играл Факкенга́фф, а под фото потом написали: «*первопроходцы*», «*будущее*», «*стиль*» — и много других слов, которые он очень хорошо помнит. Два часа спустя Йеспер в одиночестве сидел в своем светящемся кубе над устрашающего размера кипой классных фотографий и газетных вырезок, держа в руке резинку для волос. Один взгляд на ели, раскачивающиеся на ветру, и искушение еще раз проверить, не выветрился ли запах, было побеждено. Резинка отправилась в контейнер к бытовым отходам, а всё о девочках, вместе с папкой, к макулатуре. Йеспер встал посреди комнаты и с облегчением выдохнул. Довольно. С этим покончено.

Но где же они? Почему их здесь нет? Почему никого из них нет? Разочарованный Йеспер, уже собравшись было уходить, делает шаг обратно к стенду, чтобы просмотреть все снимки как следует, но тут

посреди вестибюля внезапно останавливается мужчина тридцати четырех лет от роду. Парень, который до сих пор живет с мамой.

Ранняя весна, двадцать лет назад.

Маленький Инаят Хан падает в замерзшую грязную лужу. Свитер с оленями перепачкан, из носа капает темно-красная кровь. Несмотря на все угрозы и встревоженные советы остаться на земле, мальчик встает — медленно, то и дело поскальзываясь. И вот он стоит лицом к лицу со Свеном фон Ферсеном, всего в нескольких метрах. На лице у Хана засыхает грязь, руки подняты в неуклюжей боксерской стойке. Кулаки дрожат от гнева и унижения.

— Знаешь, что он сказал? — снова начинает фон Ферсен.

Мелкий подпевала знает, что сказал Хан, но всё равно спрашивает:

— Что он сказал, Свен?

— Что проводил Молин до дома и поцеловал, — охотно отвечает Свен. — Нет, ты слышал? *Хам* ее провожал, *Хам* ее целовал!

Все смеются, и подпевала тут же подхватывает:

— Ну и чего ты обиделся? Ты сам виноват! Это твои слова, нечего было их говорить, раз они такие обидные. А Молин, по-твоему, не обидно слушать эти сплетни? А? Как считаешь?

Злые слезы оставляют дорожки на щеках мальчика в оленьем свитере. Вчера после школы Хан дал волю воображению. Это было ужасной ошибкой. Солнце выходит из-за облака, и он видит, как в паре десятков метров от кружка зрителей сияют, словно нимб, светлые волосы Молин Лунд. Лицо у нее красное от стыда. Шарлотта, старшая из сестер, кладет руку на плечи Молин, и они вместе поворачиваются спиной в своих легких пальто.

— И вообще, почему у тебя свитер не с *верблюдами*?

Крик рассекает воздух, словно ятаган. Хан отчаянно бросается на фон Ферсена. Он слегка поскальзывается, но в мыслях ясно видит, как острое копье Раму́та Карза́я, героя амистадского эпоса, пронзает грудь врага.

Расстояние сокращается; кажется, что жестокой схватки не миновать. Но вдруг на краю его сузившегося от гнева поля зрения появляется неучтенный фактор и хватает Хана, другой рукой упершись в выпяченную грудь фон Ферсена.

Стоя с расставленными руками и упавшей на лицо прядью светлых волос, Йеспер выплевывает жвачку и несколько раз примирительно повторяет: «Ладно, Свен, *pohui*, забей». Хан пытается вывернуться из хватки соседа по парте; ободранная щека и разбитый нос пачкают плечо Йеспера.

Так они и стоят. Звенит звонок, большая перемена заканчивается, и Хан с Йеспером остаются во дворе одни. Йеспер оттирает плечо свитера платком:

— Так ты целовался с Молин, или нет?

— Нет. Но я проводил ее до дома. И всё прошло хорошо. Даже очень.

— Но всё-таки не *настолько*.

— Ну да.

— Эта рубашка! Хан, только не говори мне, что это *та самая* рубашка!

— Йеспер!

Стоя в школьном гардеробе, двое взрослых людей жмут друг другу руки — впервые за несколько лет. В несмелой улыбке Йеспера брезжит искорка тепла. Он начинает:

— Когда мы виделись последний раз, я, кажется, повел себя грубо. Теперь я понял: я был неправ.

Хан только смеется. Его двухдневная щетина трясется вместе с добродушным двойным подбородком.

— Наверное, я оставил ужасное впечатление, — сказав это, Йеспер тут же переходит к следующему пункту: — У меня есть для тебя *кое-что*. Кое-что новое. — Он указывает на папку и вопросительно смотрит на Хана: — Или ты за это время решил стать, ну, я не знаю, поваром?

— Ну, ты же меня знаешь — только *хардкор*.

Не говоря ни слова о встрече одноклассников, Хан забирает свою куртку, и они с Йеспером направляются к выходу.

— Смотри, исчезающий комиссар!

— Весьма недурно.

— Я и Терешу такую сделал. Специальный вариант. Картинка та же, но угадай, что будет, если повернуть ее немного дальше?

— И что же?

— Ухтомский тоже исчезнет! И один голубь. Тот, что наполовину за Ухтомским.

— Иначе полголубя повисло бы в воздухе.

— Точно.

С зонта агента Мачеека падают капли; сигаретный дым поднимается под купол и растворяется на ветру. Зажав «Астру» в зубах, Мачеек складывает карту и сует ее в портфель. Перед ним школьный двор; по двору сквозь серебряную завесу дождя бегут двое мужчин — прямо к нему. Гойко в сером в елочку пальто делает шаг назад, освобождая место под зонтиком. Зонт у него огромный. Спецмодель для Международной полиции.

— Ну что, извинился?

— Извинился, — отвечает Хан за Йеспера.

— И как там, *весело*? — кивает Мачеек в сторону школы.

Хан мотает головой, а Йеспер поясняет:

— Поехали лучше в город. Я знаю одно место. Новое.

Трое мужчин под одним большим зонтом выходят из фокуса. Далекий перезвон бубенцов становится всё ближе, и серебряный занавес скрывает друзей из вида…

За восемь лет до того.

…Пока магнитный считыватель не щелкает, опустившись на ленту, подсвеченные стрелки дрожат на двенадцати децибелах. Бит невыносимо ровный, ультрамодный — как кокаин. А может, и нет, трудно сравнивать. Бит записан здесь, в Ваасе, на одной из ее всемирно известных студий. Его написал полумифический музыкант Факкенгафф, который, предположительно, был иммигрантом из Оранье, диск-жокеем и музыкальным продюсером, но с тем же успехом мог быть группой людей или машиной в небе. А кокаин привезли на пиратском крейсере через неизведанную Серость. Его сделали мечтающий о революции раб с мачете в руках и надсмотрщик, охраняющий поля с карабином. Факкенгафф сделал бит, чтобы девочкам хотелось танцевать, а мальчикам — ими любоваться. Раб с мачете сделал снежок, чтобы *Ла Пута Мадре* не перестрелял всю его семью. Шесть месяцев кокаин созревал на высокогорном плато Ирмала, в лучах золотого солнца. А солнце держал в бирюзовом небе мировой орел с тысячекилометровым размахом крыльев. Вот это место, где бит на полминуты как бы уходит под воду, а потом — просто невероятно! — возвращается, еще мощнее, чем прежде, нашептал Факкенгаффу на ухо сам дух разврата. У него были белые ангельские крылья, но его дыхание на виске диск-жокея, склонившегося над пультом, было обжигающе горячим и пахло корицей и первобытным злом.

Боже, как приятно немеет в носу. Боже, как хорошо это место, где бит выходит из-под воды. Так грустно. И еще круче, чем прежде. Разве я не крут?! Смотри, я на обложке — какой я крутой там, на этой обложке. Я — вертикальный столб света, а вокруг меня темнота. И все, и больше ничего, понимаешь?

На белом кубическом диване Йеспера, за многофункциональным модульным столом, гости обмениваются впечатлениями от всемирной выставки. Звенят бокалы шампанского социализма. Йеспер танцует в одиночестве, как диковинный петух-альбинос. Из бутылки с водой в его правой руке на окна летят жемчужные капли.

За окном такси, как давно ушедшее прошлое, проплывают мимо улицы Ваасы. Огромная вороная лошадь фыркает, из ее ноздрей идет

пар. Что-то сладостное прорастает в израненном сердце агента Международной полиции. Дождь утихает, и молодые люди в сумерках один за другим закрывают зонты. Знакомые названия на входах в метро. Девушка на велосипеде сворачивает в переулок, где от мокрых электрических вывесок идет пар. Поток машин отражается в окнах домов и витринах закрытых магазинов, пока мотошоссе не поднимается над пешеходными дорожками. Город мелькает сквозь просветы в каменном ограждении, и маленький мальчик в окне проезжающей кареты машет Мачееку рукой.

На Кёнигсмальмском мосту проносящиеся мимо фонари превращаются в пунктирную линию. Над водой вырастают серые очертания престижного жилого района; там был дом Тереша, когда он ребенком жил в Ваасе. Впереди, за лобовым стеклом мотокареты, начинается островная часть города, которая двадцать лет назад считалась неблагополучной. Теперь же, как объясняет Йеспер, продуманная застройка и несколько новаторских галерей превратили Эстермальм в «модный район».

— Ты хотел сказать, в богемно-буржуазный?

Тикает таксометр, в салоне тепло и темно. Йеспер пропускает шутку Тереша мимо ушей.

— Давай рассказывай, что там у тебя. — Хан неожиданно прерывает разговор о развитии города и воссоединении класса.

— Мне нужен проектор. Это кинопленка, я всё расскажу в «Кино».

— Тогда покажи резинку.

— Да, Йеспер, не томи, покажи резинку, покажи *резиночку*, — присоединяется к уговорам Тереш.

— Пожалуйста, только не начинайте снова. Я ее с собой не ношу, и вообще выбросил. У меня был очень странный период в жизни…

На лице у Хана появляется лукавая улыбка:

— Да ладно, Йеспер, не жмись!

— Да, не будь жадиной, поделись с одноклассниками!

Йеспер отворачивается к окну:

— Нет.

Минута проходит в молчании. Шорох колес по дороге, щелчок поворотника. Хан и Тереш с ухмылкой смотрят друг на друга, пока Йеспер с деланным безразличием глядит в окно. Лишь через некоторое время он снисходит до того, чтобы продолжить разговор.

— Так что ты сказал Ферсену? Что ты детектив?

— Резинка, Йеспер, резинка! Показывай!

Дизайнер покорно сует руку за пазуху полупальто Perseus Black и достает футляр для кольца.

Раньше было так хорошо, а теперь так грустно. Когда они с молодой фотохудожницей, женой проектировщика жилья, стояли у окна и разговаривали о *фанк!*-эстетике и футуризме, казалось, что теперь только так и будет, и так, как *прежде*, уже не станет никогда. Но прямо сейчас тонкий голосок из монолитных колонок в десятитысячный раз повторяет: «люблю… люблю… люблю…». Сырой, холодный утренний туман ложится на папоротники за окном. Это уже совсем не то. Это больше не про Йеспера. Просто какая-то певичка в какой-то там студии. Наверное, надо догнаться. Догонялся только что, но лучше не стало. Наверное, нужно еще.

Через минуту двадцатишестилетняя, только что попавшая в высшую лигу версия Йеспера де ла Гарди стоит посреди комнаты в молочно-сером свете. Рубашка кофейного цвета расстегнута, ноздри красные, а губы сердито поджаты.

— Так. Вечеринка окончена. По домам.

Его никто не слышит, Факкенгафф играет слишком громко. Внезапно наступает тишина. Головы поворачиваются. Рядом с магнитолой Стерео-8 возвышается вертикальный столб света и давит пальцем на кнопку СТОП.

— Вечеринка окончена. Пошли вон, ублюдки.

Пока они смущенно собираются, ищут одежду и сумки, Йеспер наблюдает за ними остекленевшими глазами, с гротескно искривленным в презрительной гримасе ртом. Когда соратник по кокаиновым прозрениям похлопывает его по плечу, Йеспер бросает на него взгляд, полный столь бездонной ненависти, что их отношения рушатся навеки.

Фотохудожница, жена проектировщика жилья, немного отстает от компании и возвращается под бетонную крышу куба. «Анклет оставила!» — лжет она.

Ее длинные ноги в босоножках, с серебряной цепочкой на щиколотке, обрамляют следующую мрачную картину. Йеспер сидит в углу кухни среди растерзанных мешков для сортировки мусора. Окруженный яблочными огрызками, бутылками из-под воды и бумажными пакетами из-под пасты ручной лепки, он смотрит в доброе лицо жены проектировщика. В его глазах сентябрьский туман и морские брызги; ему ничего от нее не нужно. Сочувствие? Спасибо, обойдусь. Шумит на ветру тростник, под бледным небом выстроились в ряд силуэты пляжных кабинок. Четыре девочки бегут по песку и растворяются в воздухе.

В правой руке дизайнер сжимает нежно-розовую резинку для волос.

Хан поднимает глаза на Йеспера, всё еще держа футляр для кольца возле носа. Его брови озабоченно нахмурены. Машина останавливается — резко, с рывком. Таксист оглядывается на пассажиров, но тут же отворачивается, увидев выражения их лиц.

— Запах исчез, — говорит Хан.

— Я знаю.

— Всё это очень странно.

— Знаю.

3. АННУЛЯТЫ

Романгородская конференция выделяет десять типов пропавших без вести. Девятый из них, «аннуляты», полностью противоречит Международной декларации прав человека. Аннуляция — это когда государственные силовые ведомства ликвидируют не только человека, но и все документальные свидетельства его существования. Это особая разновидность политического устранения — проклятие забвения, с разной степенью успеха наложенное на ряд исторических деятелей. В случае государства Меск, например, можно статистически установить потерю целых десяти процентов всего культурно-исторического наследия.

На удачных примерах мы останавливаться не будем: невозможно обсуждать то, чего никогда не существовало. Но все мы оставляем следы, и цензоры тоже люди. Таким образом, аннулированный гражданин — именно благодаря попыткам уничтожить всю память о нём — может стать куда более узнаваемой исторической фигурой, чем тот, кому просто пустили пулю в голову за мусорной свалкой. Какой еще выдающийся нарратив мог бы спасти от забвения самарского партийного головореза Юлия Кузницкого, если бы не та забавная фотография?

С развитием записывающей аппаратуры к обычаю сбивать с монет изображение прежнего императора добавились более сложные технологические процессы. Хорошо отлаженной бюрократической машине деформированнного рабочего государства не составит большого труда освежить свои перфокарты. Но применительно к фото- и, в некоторых особо любопытных случаях, киноматериалам, очистка начинает требовать определенных технических ухищрений. Это прекрасно видно на примере вышеупомянутого «исчезающего комиссара» Юлия Кузницкого, которого волшебная палочка ретушера заставила испариться с борта парохода «Мазов» хмурым воскресным утром.

Юлий был скотина, малограмотный чурбан. Мировой революции его молодые глаза не видели — звезда комиссара взошла позже, в Самаре. Не имея ни малейшего представления об идеях Мазова, он, однако же, не стеснялся навешивать своим жертвам обличающие политические ярлыки. Это его и погубило. Похоже, председателю Президиума Кнежинскому в конце концов надоело терпеть этот позор. «Скажи-ка мне, Кузня, как тов. Здоров может быть контрреволюционером, если революция была пятьдесят лет назад? И почему это мазовистко-кнежинскистские убеждения тов. Бронской "безнадежно узколобы"? "Кнежинский" — это **моя** фамилия, я и есть Сапурмат Кнежинский!»

Две версии фотографии — оригинальная и отретушированная, — поставленные бок о бок, стали в определенных кругах феноменом популярной культуры. Духовной ценности этому курьезу добавляет

мерзкая крысиная ухмылка, которую Кузницкий изобразил тогда на своем лице. Посмотрите на него! Кто не хотел бы стереть этого гадкого хорька со страниц истории?

Куда более печальна история третьего персонажа на этом судьбоносном фото. Это Арам Ухтомский, верный революционный товарищ Мазова по Одиннадцатидневному правительству, выдающийся агроном, генетик, один из трех селекционеров сорта картофеля «Улан желтый». Редкая аполитичная фигура, чьи непритязательность и бесценный вклад в рацион мирового пролетариата трижды спасали его от партийных чисток. До тех пор, пока научная беспристрастность Ухтомского на XXI пленуме генетиков не показалась кому-то оскорбительной. Современная генетика оказалась несовместима с кнежинскистской философией *tabula rasa*, согласно которой при должном революционном настрое из семян крыжовника можно вырастить инжир.

Во время своего покаянного обращения к Президиуму Ухтомский с ужасом осознал, что называет себя жалким пластилиновым червяком. Бедный ученый никогда не выступал с самокритикой, и так перестарался, что даже в ту эпоху показательных самообвинений впечатление от его речи оказалось слишком тягостным. После этого достопамятного выступления Ухтомского стали называть не иначе как подхалимом. Он полностью скомпрометировал себя как исторический деятель, и милостивый председатель Кнежинский решил пощадить память старшего и когда-то гораздо более достойного товарища. Отправив Ухтомского за мусорную свалку после Процесса Девяти, он приказал уничтожить все записи о его существовании. Но подделать историю не вышло: ретушеры по рассеянности пропустили одну фотографию, на которой, в числе прочих, был запечатлен Ухтомский. Ту самую, с которой до того ушел в небытие комиссар Кузницкий.

Но наиболее технически впечатляющей является история деканонизации Игнуса Нильсена — бывшего школьного учителя, апостола Мазова. Какой бы важной фигурой он ни был в истории коммунистического движения, стараниями цензоров Ваасы он превратился в бестелесный призрак. В какой-то момент образ мазовского апокалиптического кровопийцы стал слишком обременительным для имиджа социал-демократического Севера. И тогда, вместе с давшим отпор революции Граадом, они заставили Нильсена исчезнуть. К смятению цензоров, в технически продвинутые времена Одиннадцатидневного правительства были отсняты десятки часов киноматериала с Мазовым, где революционную икону почти всегда сопровождал Нильсен — лучший друг и соратник. Уничтожение всех киноматериалов было бы слишком подозрительным. Так появилась призрачная серая цитоплазма, постоянно плавающая по правую руку

от Мазова. Историкам потребовались десятилетия, чтобы разгадать эту жутковатую загадку.

Даже сегодня многие считают, что эта цитоплазма и есть коммунизм.

4. ВИДКУН ХИРД

Двенадцатимиллиметровая пленка жужжит в проекторе. Напротив экрана, Хан сидит на диване рядом с Мачееком и недоверчиво смотрит на квадратную чашку с кофе на квадратном блюдце. Он берет ложечку, чтобы размешать сахар, и с опаской подносит ее к чашке.

В кафе «Кино» всё либо стеклянное, либо белое. Стул, на котором сидит за проектором Йеспер — белый, стены звукоизолированной кабинки — стеклянные. Стеклянный экран, затянутый белой тканью, белый диван, на котором чувствуют себя не в своей тарелке Хан с Мачееком. Посреди кафе стоит чучело тигра-альбиноса в стеклянной витрине. Смотрите, ничего не разбейте — это вам дорого обойдется.

— Дай догадаюсь, — агент катает свою «Астру» между пальцами, разминая до нужной мягкости, — Твой дизайн?

— Одного из моих учеников. Это место — как кинофильм: белый экран, а нас на него *проецируют*, понимаешь? Как вам? Вы как будто в кино, чувствуете?

— Ага. Не слишком уютно, — отвечает Хан.

— Да, пожалуй, немного нервирует, но мальчик талантлив. Ему нужно было сделать такой проект, с высокой видимостью. И это единственное место, где можно быстро раздобыть проектор. Так что, пожалуйста, постарайся быть более открытым, — Йеспер с тигром смотрят в сторону Хана. Стеклянные глаза тигра еще более светлого голубого цвета, чем у дизайнера.

— Эй, да я и так открытее некуда!

Мачеек достает из кармана пиджака блокнот и простой карандаш.

— Итак, — начинает Йеспер, — родственник одного из моих коллег работает оператором. Снимает документалки. Прошлой осенью он рассказал мне о своем новом проекте. С Ге́ссле. Конрад Гессле — слышали о таком?

— Он ведь снимает в основном о преступлениях?

— Не только. Йёста — так зовут оператора — говорил, что боится, и спрашивал меня, стоит ли вообще за это браться. У него, мол, тоже есть дети, и так далее. Дело в том, что этот фильм — вот тут я и заинтересовался — о Ви́дкуне Хирде.

— Боже мой!

— Только не Видкун Хирд!

— Погодите! Да, я знаю, мы это уже проходили, он был тогда в Арде, никак не мог быть в Ваасе, и всё такое. Но я всё равно решил за этим проследить, понимаете? И вот две недели назад Йёста пришел ко мне поговорить. Сказал, что они на грани прорыва. Они полгода просидели с Хирдом в Кронштадте…

— Да ладно!

— …такая у них стратегия: втереться к нему в доверие. Гессле ему понравился: северянин, белый как снег, начитанный, интересный оппонент. Ну так вот. Хирд хочет впечатлить журналиста, распускает перья. Хвастается. Гессле дал ему понять, что видел предостаточно таких вот маньяков с буйной фантазией, и Видкун Хирд вряд ли сможет его удивить.

— Да-да…

— Первые три месяца Видкун только намекает, разжигает интерес, бросается подозрительными датами, рассказывает о поездках на пляж. Гессле делает вид, что не обращает внимания, обсуждает с Видкуном философию, выход за рамки добра и зла — у меня тут всё записано, — Йеспер похлопывает папкой по стеклянному кубу стола, — и наконец Хирда прорывает.

Йеспер щелкает выключателем, и в сердце проектора загорается маленькая лампочка.

— Должен предупредить, — бросает он взгляд в сторону Хана. — Те из нас, чья профессия не связана с канавами и пропавшими детьми, могут принять некоторые слова Видкуна очень близко к сердцу.

Тереш, который в это время клал в свой черный кофе шестую ложку сахара, отставляет чашку. После заметной для всех паузы он берет и без того острый, как игла, карандаш, сует его в точилку и крутит, горько улыбаясь.

— Приятель, когда же ты поймешь? Канавы и пропавшие дети — это и ваша тема.

— Хорошо, — вздыхает Йеспер. — Канавы и пропавшие дети. Это и моя тема. Хан?

— Канавы и пропавшие дети? — Тереш с неожиданным воодушевлением поднимает в воздух свою чашку кофе, тягучего от сахара, и ждет.

— *Skål!* — восклицает Хан.

— *Skål,* — поддерживает Йеспер и вместе с водой отхлебывает из стакана кусочек лайма. Задумавшись, он жует ломтик, морщась от кислого вкуса.

— Йеспер, а пленка?

— Ах да…

На белом полотне появляется сверхчеловек, насильник, растлитель несовершеннолетних, бывший член фашистской партии НФД «Хьельмдáлль» Видкун Хирд. Одна его рука прикована наручниками к стулу, другой он картинно подпирает щеку: философ будущего знает, что его снимают. Имея это в виду, он поднимает подбородок с нордическими бульдожьими брылями под определенным благородным углом, и так поглядывает сверху вниз своими глубоко посаженными

глазами. Его волосы аккуратно зачесаны набок по моде тридцатилетней давности; он сидит, закинув ногу на ногу. Можно точно сказать, что Видкун — человек тщеславный. Он отказался войти в историю в тюремном комбинезоне с цветовой маркировкой, и беседует с Конрадом Гессле, будучи одет в униформу чернорубашечников. И это было только одним из его многочисленных условий.

— Иные люди родятся лишь после смерти, — произносит он на староардском диалекте. Устаревшие слова добавляют деревенского очарования разговору о тонких вопросах современности. Шестизначные часы на столе показывают, что идет третий час интервью от двенадцатого августа.

— Видкун, вы знаете, что я защитил магистерскую диссертацию по староардскому? Я могу принести вам литературы по этой теме.

— О, это было бы очень любезно, Конрад. Сами знаете, что я думаю о выборе книг в местной библиотеке. — Оба понимающе смеются.

— Арда — изначальный язык нашего племени, — продолжает Видкун категоричным тоном. — На нём говорили охотники на мамонтов, населявшие равнины Катлы тысячи лет назад. Арда имеет явные преимущества в выражении краеугольных понятий мудролюбия: преимущества, коих нет у материковых языков. Арда — наша природа, нынешний ваасский — портовый ублюдок. Материковый выродок, провонявший Граадом. Этот искаженный язык не способен выразить истину. Все предложения в этой нечистой каше в конечном счете обозначают лишь одно: смешение народов. В грядущем столетии наш род вернется к исконному наречию. И тогда для мудролюбия настанет новый век!

— Вы много об этом говорили. Я также прочел ваши заметки на эту тему. Всё это очень интересно, но вам не кажется, что ваш сложившийся образ подрывает более тонкие аспекты вашего учения?

— Что? — глаза Хирда вспыхивают. Глубокие складки на его щеках становятся длиннее, а губы презрительно выпячиваются.

Конрад делает вид, будто не замечает его возмущения, и продолжает:

— Я вижу логику в ваших рассуждениях. Но не кажется ли вам, что людям будет сложно поверить в их научную обоснованность, учитывая, что они принадлежат осужденному насильнику?

— Для нашего народа соитие — это нечто совершенно иное, чем то, чем нас кормит под видом романтики современная социал-порнографическая пропаганда. Вы это знаете, Конрад. Однажды, когда бесполая мораль материковых народов приведет их к вымиранию, вы поймете, о чем я говорю.

— Давайте на минуту представим рядового гражданина…

— Рядовой гражданин отправляет свою дочь в одну школу с гойко и киптами, в эту расовую помойку, с самого детства. Рядовой гражданин

отдает свое дитя на поругание этим рубероидам. Понятно, что может случиться, когда в такую школу попадают четыре девочки.

Конрад замечает, что за слова сорвались с губ философа, но не подает виду.

— Рядовой гражданин — это ваш потенциальный читатель. Рядовой гражданин выбирает, сработает ваше ви́дение или нет. Вы рассуждаете о национальном вопросе! Думаете, ни у кого не возникнет подозрений? Автор — фашист…

— Националист.

— …фашист и серийный насильник, приговоренный к пожизненному заключению в Кронштадте за по меньшей мере четыре убийства, а его книга — смесь историософии, евгеники и оправдания изнасилований!

— Всё это — история. История, Конрад. Вы умный человек, но гомо-сексуальная система образования вас испортила. Вы думаете, что историю вершат магистерские диссертации, и, я не знаю…

— А что, по-вашему, ее вершит? — не отступает интервьюер. — Изнасилования?

Видкун выдергивает страницу из блокнота Гессле, прямо у него перед носом. В кадр врывается охранник в темно-синей форме и бьет соплеменника дубинкой по запястью. Хирд вскрикивает от боли, листок взлетает в воздух. Трехкратный номинант на премию Оскара Цорна, всемирно известный режиссер-документалист жестом останавливает охранника. Тот опускает дубинку, но остается на страже рядом с потирающим запястье заключенным.

— Ручку, — Видкун бросает сердитый взгляд в сторону Гессле.

Зажав письменный прибор в кулаке, заключенный торжествующе смотрит на охранника:

— Эй ты! Дай сюда мой листок.

Дубинка угрожающе поднимается в воздух, но тут Гессле вырывает новый лист и кладет его на стальной стол перед Хирдом.

— Теперь вы видите? Скрещивание. — Тщательно причесанные волосы Видкуна растрепались в схватке, перед глазами болтается одинокая светло-русая прядь. Прижав листок к столу запястьем, чтобы не скользил, Хирд пытается умостить на нём ручку; в его руке она выглядит острой и опасной. Наконец он теряет терпение: — Пожалуйста, освободите мне вторую руку. Я так не могу.

В ответ на просительный взгляд Гессле охранник снимает с пояса связку ключей. Теперь Хирд обращается напрямую к зрителю:

— Тысячи лет назад наши предки прибыли сюда, в земли на краю света. Они приехали на собачьих упряжках через бескрайнюю Серость. Лишь самые стойкие сохранили рассудок во время этого славного перехода. От слабых духом материковых особей они избавлялись,

оставляя их Серости. Наши суровые предки без сомнений отделяли от стада тех, кто лишился разума. И в конце на землю Катлы ступили лишь дети Хо́кона и Гу́друн с чистой, неколебимой душой и несгибаемой волей. За полвека наши прародители истребили в Катле всех мамонтов. Они процветали. — Видкун Хирд торжествующе обводит пространство освобожденной рукой и начинает рисовать на листке крошечные точки.

— Это элементарный закон евгеники, Конрад, элементарный. Чем неблагоприятнее внешние условия, тем сильнее они понуждают человеческую особь к развитию. Эти заснеженные темные просторы… Человек не создан для жизни здесь. Уже для того, чтобы просто здесь выжить, нужно обладать чертами сверхчеловека.

Гессле внимательно слушает его, выжидающе подавшись вперед и заинтересованно кивая.

— Сверхчеловеческую сущность не ограничить рамками морали. Сверхчеловеческое начало — это мудрость плоти. Для него нет запретов, ему всё дозволено. Через кровь, во мраке ночи, из одной зимы в другую, передается оно между поколениями. В вас тоже есть черты сверхчеловека, Конрад.

Конрад кивает. Лицо Видкуна Хирда нездорово краснеет. Это что-то среднее между лихорадочным румянцем и аллергической сыпью.

— Все мы, включая вас, обязаны укреплять в себе это первобытное начало. Подобно тому как хищник укрепляет свои челюсти, пережевывая мясо. Ответственность… На вас лежит ответственность перед потомками. Чтобы им тоже достались большие, сильные челюсти, которыми можно откусить много мяса.

Видкун умолкает и любуется своим творением с гордой улыбкой, которая совсем не идет к его лицу. В камеру еще не видно, что на рисунке, но Гессле поднимается со стула, чтобы взглянуть на листок.

— Удивительное создание. Средняя. Редкое сокровище.

Под жужжание проектора Йеспер достает из папки обернутую в пластик копию рисунка и кладет ее на столик. На бумагу аккуратно нанесено что-то вроде инопланетного созвездия, изящный узор из десятков точек.

Хан в ужасе открывает рот. Агент Международной полиции Тереш Мачеек с ледяным спокойствием делает запись в блокноте.

— Ты не представляешь, Конрад, как я ее трахал. Ты не представляешь… — успевает произнести Видкун Хирд, прежде чем Йеспер торопливо выключает проектор.

Июнь, двадцать лет назад.

В сосновой роще на холме возле пляжа — полумрак и прохлада. Над верхушками сосен палит солнце, но на песок под ними,

пронизанный лабиринтом корней, падают только редкие пятна света, словно на золотистом дне океана. На миг под деревьями становится совсем тихо. Можно за сотню метров услышать, как хрустит вереск под башмаками идущих мальчишек, пока морской бриз не начинает снова шелестеть пологом из сосновых игл. Чуть покачиваются стволы деревьев — лабиринт темно-оранжевых колонн с золотыми прожилками солнца. Под ветвями плывет сладкий запах смолы. Пыльный аромат ромашки, горьковатый и терпкий, наполняет ноздри Тереша.

Вспыхивает спичка, и затяжка украденной у отца «Астры» сметает все запахи; струйка дыма ясно вырисовывается в одиноком луче солнца. Тереш валяется, подложив под голову ветровку. Лежа в солнечном пятне, он тренируется пускать кольца. Всего в нескольких километрах отсюда, в ближайшем поселке — дипломатическая вилла его отца. Благодаря этому дому, удобно расположенному рядом с пляжем, Тереш три недели назад, в начале летних каникул, внезапно стал популярным мальчиком.

Когда шаги остальных уже отчетливо слышны из-за холма, Тереш выдувает маленькое колечко дыма сквозь расползающееся большое кольцо.

— О! Получилось… — кричит он, тем самым разрушая свой шедевр.

— Что? — спрашивает одетый в шорты и матросскую рубашку Йеспер, поднимаясь на вершину. — Что получилось?

— Пустить одно кольцо через другое.

— Ты что, куришь?! — ужасается Йеспер.

— Хочешь? «Астра». Самые крепкие.

— Дай мне одну, Тереш, — кричит Хан, взбираясь на холм вслед за Йеспером. На шее у Хана на кожаном ремешке висит бинокль.

— Держи, — Тереш бросает пачку Хану, который суетливо пытается ее поймать. Высунув язык от напряжения, мальчик все-таки ухитряется не уронить пачку, и подносит ее поближе к очкам.

— Отпад, — дает Хан профессиональную оценку коробке. На ней по небесно-голубому фону бегут белые звезды.

— Дурацкая привычка, — бросает Йеспер и, отвернувшись, начинает изучать растительность на соседнем пригорке.

— Это рубашка у тебя дурацкая, — Тереш лениво приподнимается на локтях и дает Хану прикурить от спички.

Прищурившись и по-капитански приложив ладонь козырьком ко лбу, Йеспер с занятым видом рассматривает лесную подстилку.

— Дурацкая, да? А вот Анни так не считает. Если что, она даже сделала мне *комплимент*. В последний день.

— Да ну?

Йеспер поворачивается к Хану. Тот неумело курит.

— Эй, Хан, помнишь, тогда в гардеробе Анни сказала, что у меня красивая рубашка?

— Ну да. Тереш, она правда так сказала.

— А Ферсен подскочил, как дурак, и за меня ответил Анни, что у нее красивое платье. И еще что-то про ее волосы. Вот была умора!

— Вежливость надо показывать при каждом удобном случае, — с улыбкой изрекает Хан, слегка закашлявшись от дыма.

— Погнали.

В скользящих под деревьями пятнах света трое мальчиков шагают к берегу. Хан неуклюжим щелчком выбрасывает сигарету и начинает крутить бинокль на ремешке. Рюкзак прыгает у него за плечами, когда он ускоряет шаг при спуске. Сбегая по склонам, мальчики перескакивают через кусты вереска; только Йеспер боится за свои белые штаны и степенно шагает с руками в карманах, как на семейной прогулке. По мере того как они приближаются к своему убежищу на обрыве, шум деревьев уступает шуму океана.

На бревенчатом ограждении — знак «угроза обвала»: человечек падает с крутого склона. Перейдя пешеходную дорожку и нырнув в кусты прямо под знаком, Хан объясняет Терешу: «Северное море, хотя и называется морем, в действительности океан: теоретически, в Серости оно переходит в море Игресса. Которое, в свою очередь, омывает берега Граада. Таким образом, Северное море является интеризолярным. То есть, в сущности, океаном. Это вопрос классификации».

Все втроем они уже третью неделю стараются разговаривать между собой как можно более академично. Они хотят произвести впечатление деловых людей, когда осенью вернутся в школу. Йеспер, осторожно пробираясь сквозь кусты вслед за ними, продолжает в том же духе: «В языках Катлы не существовало слов для океана, поэтому здесь всё называется морем».

С высокого обрыва перед ребятами открывается огромный зеленовато-синий водоем. В бледно-голубом небе тают облака, солнце отражается в воде яркой белой полосой. Океанские волны лениво и величественно омывают длинную полосу песка. Шарлоттешель. Ветер на мгновение утихает, и в лицо ударяет поток горячего воздуха. Над цветущим шиповником жужжат насекомые. Пляж изгибается в сторону моря длинной дугой, до самого отеля «Хавсе́нглар» на оконечности полуострова. На песке видны крохотные фигурки людей под красно-белыми полосатыми зонтиками.

Мальчики садятся на лужайке среди кустов шиповника, за которыми скрывается высокий песчаный обрыв. Тереш неоднократно рассуждал, как можно спрыгнуть с этого мягкого обрыва: лететь там метра три, а дальше приземлишься на песчаный склон, уже достаточно пологий, чтобы съехать по нему на пятках. Но Йеспер каждый раз начинал беспокоиться об одежде, а Хан просто пугался.

Вот и сейчас Тереш садится ближе всех к краю; Йеспер тем временем отбирает у Хана бинокль. В выпуклых насекомьих глазах прибора отражается солнце. Изображение людей на пляже внизу, летних северян с их полотенцами и зонтиками, усиливается в темной, прохладной стеклянной сердцевине. Так оно становится различимым для Хана с его очками на +7 слева и +4 справа. Бинокль Хан купил на свои деньги. В Ваасе, в магазине для охотников. Когда Йеспер устает держать бинокль, осматривая пляж, подходит очередь Тереша. Со следами от резиновых окуляров вокруг глаз и потемневшими от долгого прищуривания веснушками, он вынужден констатировать: «Рано, сейчас только десять. Еще не пришли».

Пока Хан и Тереш обсуждают сигареты — в Ваасе табак слабый, граадские крепче; Хан только восторженно кивает и поддакивает— Йеспер, как снайпер, нацеливает бинокль на пляж. В этот раз он не промахнется. Перекрестье останавливается на белом солнечном зонтике, но не находит на нём тех красных цветов, которые ищет. Вертикальные линии переползают через молодые семьи, рушащиеся замки из песка и лежаки с распростертыми телами загорающих, задерживаются на двух светловолосых девочках, а после скользят дальше — не они. Похоже, он забрался слишком далеко. Йеспер переводит фокус ближе. Где-то на отметке в двести метров в его сердце возникает знакомое смутное предчувствие — отсвет далекого созвездия, неизвестной галактики. Он машет друзьям, подавая им сигнал: что-то происходит. Хан и Тереш смотрят вниз, на пляж, прикрыв рукой глаза от солнца.

Йеспер подстраивает фокус цейлевских линз, и бледно-розовый туман перед его глазами превращается в живот. Дыхание подбрасывает объектив от пупка девочки к ее солнечному сплетению, где изогнутая линия ребер поднимается к кольцу, скрепляющему верх ее купальника. Белые ленточки на плечах туго натянуты, под трикотажем приподнимаются в такт дыханию бугорки грудей. Колесико между смотровыми трубками дважды щелкает, и в расширившейся зоне обзора девочка переворачивается со спины на живот на бежевом покрывале. Мелькают пепельные волосы и знакомые круглые щеки под солнцезащитными очками. Анни-Элин Лунд приподнимается на локтях и утыкается в журнал для девочек. Над ее маленькой попкой начинается причудливое созвездие родимых пятен, протянувшееся от крестца к лопаткам.

Ледяной ужас сочится наружу сквозь уплотнители стеклянной кабинки. Трое внутри пытаются сохранить поверхностное натяжение своего рассудка, которое с трудом поддерживали двадцать лет.

Хан передергивает плечами:

— Кто это знает? Кто? За всё это время я не прочел об этом ни слова. Про это нигде не сказано!

Тереш кладет карандаш на стол.

— Такие вещи называются контрольными данными. Их намеренно исключают из списка примет. Даже в официальных документах. Я все эти тридцать папок наизусть помню, и в них об этом ни строчки. А он это знает. Ты только посмотри!

Лицо Йеспера остается спокойным. Для него всё это уже пройденный этап.

— Вот почему этот Йёста пришел ко мне. Чиновники только пожали плечами. А он слышал от кого-то на работе, что я знал девочек. У них там все были в полной растерянности. От Хирда никаких объяснений так и не добились. Да, кстати, я не верю в эту историю. Хоть у Хирда там в принципе и были какие-то мальчики, ему больше по вкусу пышногрудые дочери Гудрун.

— Это точно не он, не сходится по времени! — кричит Хан. — За пять часов до того он был за шестьсот километров оттуда, покупал коленвал и уплотнительные... муфты, или я не знаю что еще, для своей чёртовой машины для изнасилований. — Из-за шума от постройки печально известной машины для изнасилований соседи Видкуна Хирда однажды вызвали полицию, и это стало для него началом конца.

Но всё же Хан поворачивается к агенту Международной полиции и испытующе смотрит ему в глаза:

— Тереш. Ты должен открыть эту папку. Продолжить расследование. Он откуда-то об этом узнал, и это единственная наша зацепка помимо тех писем. Ты должен это сделать.

— Ты не представляешь, насколько всё плохо. Сейчас худшее время, чтобы раскапывать старые дела. Поддержки от Мунди больше нет, все на грани войны. Неизвестно, например, существует ли еще Ораньенрейк. Меня уволят, если я снова в это полезу…

— Нет, Тереш, не может быть, чтобы вообще ничего нельзя было сделать! — сердится Йеспер; угроза мировой войны его не слишком волнует. — Вы ведь этим *занимаетесь*, это ваша работа. Так сделай это!

— Тихо, погоди! Конечно, я возьмусь. Я догадался, в чем дело, еще когда ты пригласил меня на встречу одноклассников. Ты же не думаешь, будто я правда поверил, что тебя одолела ностальгия? Я и так постоянно открываю эту папку, ты сам знаешь, она у меня не закрывается. Будем надеяться, что местная полиция нам не помешает. Конечно, они терпеть не могут международников. Но мало кто удосуживается проверить наши документы для допросов.

Хан хитро улыбается.

— Документы для допросов? Так ты все-таки едешь туда, в Кронштадт?

— Завтра.

— Приятно знать, что ты всё еще крут, Тереш.

Йеспер тоже улыбается, ему теперь неловко за раскрасневшиеся щеки и приказной тон.

— Круче некуда! Рад, что нашел что-то полезное.

Тереш соглашается.

— Очень полезное. Двадцать лет. Обычно через столько времени никакой надежды уже не остается.

— Выходит, надежда есть? — Йеспер понимающе склоняет голову, всё еще слишком большую для его плеч.

— Да. Ты молодец, Йеспер. Отличная работа.

— Счет! — дизайнер интерьеров, который уже два года как отошел от дел, подзывает официанта, щелкая пальцами и указывая на стол. По вечерам ему хуже всего. Но сегодня всё по-другому. Этим вечером Йеспер может позволить себе конфеток. Маленьких дурацких конфеток. За окнами куба наступает ночь, и в ее темноте всё становится возможным. Даже то, что где-то в потайном закоулке этого мира, под вечным льдом озера Восток или в пустыне Эрг, где сгинул без следа Рамут Карзай, или глубоко в Легких Граада — где-то там еще можно их отыскать. Такими, какими они были тогда — детьми. И так снова стать ребенком самому. За облаками у подножия Корпус Мунди — стоит лишь отодвинуть завесу из крохотных капель воды, и сможешь до них дотянуться… Как хорошо, что вы не сдались! Все остальные понемногу о нас забывали, холодные звезды зажигались на ночном небе, темно-синий небосвод кружился над нашими головами, но мы знали, что вы всё еще ищете нас.

5. ZA/UM

Анни-Элин Лунд снимает солнцезащитные очки, и ее ослепляет мимолетная вспышка света. Ее радужки мерцают зеленым, желтым и голубым, дымчатые тени на веках переливаются на свету. Анни быстро крутит головой туда-сюда, словно котенок. Солнечный зайчик прыгает с девичьего журнала на песок, с песка на зонт, и девочка гоняется за ним глазами.

— Что они делают? — спрашивает Тереш, сидя на краю обрыва и болтая ногами.

— Не пойму, Молин тоже там. Сто́ит…

— Это и я так вижу, что стоит, — нетерпеливо перебивает Хан.

— Стоит, и я должен признать, выглядит весьма недурно в этом купальнике в красный горошек. Раздельном, как обычно, и — о-о! У нее еще… ох, чёрт!

Полуулыбка Молин в бинокле превращается в ухмылку, сверкающую хищными зубами. Она поднимает руку, которой прикрывала от солнца глаза, и с вызовом машет ей над головой. Картинка исчезает, когда Йеспер прячет коварные линзы под живот.

— Ложись, всем лежать!

Хан слышит шум собственной крови в ушах, чувствует, как где-то под мышкой тяжело бьется пульс, а в кожу вонзаются колючки шиповника. Тереш, который просто откинулся на спину, смотрит в бледное июньское небо. В вышине парит в восходящем потоке одинокий орлан-белохвост. Кажется, что птица просто висит в воздухе.

— Хан, смотри, орел!

— Какой еще орел — ай! — колючки безжалостно напоминают Хану о себе.

— Не дергайся, кусты трясутся, — шипит из середины Йеспер, лежа животом на бинокле.

— Какая разница, трясутся или нет, нас и так заметили. Посмотри лучше, что они делают!

— Сам смотри. — Йеспер сует Хану бинокль.

Куст опять трясется, когда Хан в своей рубашке с короткими рукавами выбирается оттуда. Мальчик встает на локти и осторожно подползает к краю с биноклем в руке. Укрывшись за пучком травы, чтобы остаться незамеченным, Хан подносит бинокль к глазам. Он торопливо наводится на цветастый белый зонтик и перемещает взгляд к лежащему на песке покрывалу. Там, к его удивлению, сидит только маленькая Май, которая смотрит куда-то перед собой.

По стеклу Хановых очков сползает капля пота. Предчувствуя плохое, он переводит бинокль всё ближе и ближе к подножию обрыва, пока в каких-то ста метрах прямо в его объективы не заглядывает маленький

театральный бинокль. Это Шарлотта, старшая из сестер: она стоит, упершись другой рукой в бедро. Ее каштановые, до плеч, волосы развеваются на ветру. Это прекрасное и ужасающее создание из девятого класса настолько же вне иммигрантской досягаемости Хана, как место в парламенте. И сейчас она так близко, что, даже когда она передает бинокль Молин, ее взгляд упирается прямо в бедные глаза Хана. Глаза, которые он теперь скорее прикрывает, чем усиливает своим биноклем.

— Всё пропало, у них тоже есть бинокль, — объявляет Хан на экстренном совещании.

— Так вот почему они вчера показывали друг другу на этот обрыв — знаю, надо было сразу вам сказать…

— Что за чёрт, Тереш? — злится Йеспер. — Выходит, они знали, а теперь из-за тебя мы все попались!

— Ну, забыл, извини. Я думал — мало ли, вдруг они смотрят на того орла. У него гнездо прямо здесь, у обрыва…

— Засунь этого орла себе в задницу. —Хан, конечно, тут же прыскает со смеху, а Йеспер продолжает: — Ну всё, теперь нам остается только встать и помахать им в ответ. Я не знаю, что им говорить про этот бинокль. Вообще не знаю.

— Есть идея, — Тереш бесстрашно встает, а Хан в ужасе хватает его за штаны. Но вскоре три тонконогие девчонки, хихикающие на пляже внизу, видят, как рядом с Терешем неловко поднимается тощий белокурый паренек, а вслед за ним — пухлый ильмараанец.

— Привет, девчонки! — кричит Тереш. Молин ахает, прикрыв рот рукой, когда эта долговязая фигура солдатиком прыгает с обрыва высотой с четырехэтажный дом.

Следующим утром, двадцать лет спустя.

Кожа вокруг глаз мужчины изрезана морщинами усталости. У висков они уходят вниз, огибая скулы. Под глазами, у переносицы, они сходятся острыми углами, делая его похожим на хищную птицу. Борозды на щеках — жди, волнуйся. Его неопределенного цвета глаза давно сделались непроницаемыми, как стальные шторы кабинетов Международной полиции; никто не может заглянуть за эти шторы, увидеть, что творится внутри. У агента слегка выступающий подбородок, сейчас гладко выбритый, и длинная серая шея; пожухлая от курения кожа выглядит землистой на фоне белой рубашки. Из-под воротничка свисает узкий черный галстук. Дождь к утру закончился, но всё еще холодно и ветрено. Левой рукой агент держит поднятым воротник пальто, в правой у него сигарета.

— Что там, в Кронштадте? — спрашивает молодой офицер из Ваасы, стоя рядом с Терешем на носу крохотного патрульного катера с дымящейся чашкой кофе в руке.

— К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос, — механически произносит Тереш, не сводя глаз с осеннего утреннего горизонта. Стая чаек взлетает из тростника и начинает с криками кружить над холодной водой, когда двигатель катера с ревом заводится. Мазутный дым и химическая радуга на серой, точно олово, воде.

— Кофе? — пытается возобновить разговор молодой человек.

— Нет, спасибо.

Тереш чувствует на лице брызги воды. Это бодрит. В низком сером небе еще не видно солнца: только точки дирижаблей кружат над городом, а у самого горизонта, как призрак, висит огромный стальной силуэт граадского крейсера. *Järnspöken*, железные призраки — так их называют. Здесь не любят эти зловещие корабли. Незваные призраки. Вечно на страже, но от кого? Кто и кому объявил войну? Никто. Грааду с его стальным зонтом не снискать здесь любви, но и Тереш, который в глазах обычного северянина выглядит, говорит и курит, как граадец, недалеко уедет на байках о Земске-батюшке, столетней оккупации и Юго-граадской резне. Да… и даже о Франти́шеке Храбром.

Конечно, он хотел быть таким, как Франтишек Храбрый. Хочет и теперь. Всякий гойко хочет быть таким, как Франтишек. Захватить позиции, восстать, снова поднять стяги времен Зигизму́нта Великого. Удаль, жажда жизни — словно бубенцы летящей тройки!

Где же они теперь?

Одинокое патрульное судно чертит длинную полосу по Северному морю. Катер нещадно трясет на волнах, и вскоре Терешу приходится бросить сигарету, чтобы не вылететь за борт. Он уходит в каюту и, сгорбившись, садится на скамью: если курить нельзя, оставаться снаружи нет смысла. Кроме того, он старается не смотреть на другую сторону города, дальше по извилистой береговой линии — туда, где Шарлоттешель. Боже, но как же хочется! Однажды он приехал сюда из Граада, за четыре тысячи километров, магнитопоездом через Серость, но не позвонил ни Хану, ни Йесперу, а отправился в Шарлоттешель и бродил там, как идиот. А потом поехал назад. Еще неделя в Серости. С Йеспером они всё еще были в ссоре после той истории с рестораном, а просто так тусоваться с Ханом он не видел смысла. Вот так он отметил Зимнее солнцестояние два года назад. Это был его *отпуск*. Штатный психиатр запретил ему выезжать на целый год. Опасно проводить столько времени в Серости.

Придерживая жгут зубами, Мачеек вгоняет иглу стеклянно-металлического шприца в четко очерченную вену на запястье.

И всё же так хочется снова увидеть, как кланяется на ветру тростник. Так хорошо смотреть, как волны спокойно и мирно омывают пляж. Где-то в бесцветной дали виднеется силуэт обрыва. И вода, холодная вода. Капли дождя. Так красиво.

Жилистые руки Тереша нежно гладят черный чемодан у него на коленях.

— *Haadramutkarsai!* — кричит Инаят Хан с края обрыва, и прыгает вниз. Сияет солнце. Под ложечкой щекочет, будто впереди еще сто метров, но падение длится только миг. Песок внезапно бросается ему под ноги. Еще несколько секунд Хан прыгает по нему на пятках, пытаясь затормозить. В зад ему впивается корень, а спину царапают камни — рубашка вылезла из штанов и задралась. Очки слетают с его лица, и конопатый Тереш, ликуя, бросается ловить их внизу. Девочки бегут к его истерзанному телу.

— Сумасшедший! — еще издалека кричит Анни. Это уже повод для радости.

Но только не для Йеспера. Он одиноко стоит наверху, глядя попеременно то на песчаный склон, то на свои белые штаны с матроской.

— Нет, — бурчит он, насупившись, подбирает оставленный Ханом рюкзак и отправляется по длинному пути через лес. Он идет самым быстрым шагом, который еще не был бы неприличной рысью. С усыпанной сосновыми иглами пешеходной дорожки мальчик сворачивает на подвесной мост между двумя холмами, а потом спускается по лестнице на дощатый настил с другой стороны. Дорога к пляжу кажется бесконечной. Он заранее с ужасом представляет всю ерунду, которую наговорит растяпа Хан. И как теперь им подыгрывать, если ни о чем не договорились заранее?

Только через полчаса Йеспер спускается на пляж — и недоуменно разводит руками рядом с пустым покрывалом.

— Извините, пожалуйста! Вы не видели, куда ушли ребята, которые спрыгнули вон оттуда? — указывает он на возвышающийся вдалеке обрыв. За вещами девочек приглядывает какой-то старичок. Йеспер приходит к выводу, что, где бы они ни были, далеко они не ушли. Утомившись на солнцепеке, он садится на покрывало с вытканными цветами. Поразмыслив, снимать ли рубашку — становится ужасно жарко — он всё-таки решает в пользу приличия и, стараясь сохранять *хладнокровие*, укладывается на спину на покрывале. Хладнокровие заключается в безразличной позе с заложенными за голову руками. Больше всего Йеспера сейчас интересуют облака. Он погружен в раздумья. Он размышляет.

А потом его нос улавливает крошечную молекулу ароматического масла. Перед его глазами проносятся образы: ландыши, открытая кожа, пар от дыхания. Йеспер поворачивает голову, и над бежевой равниной пляжного покрывала открывается он: ароматный и чуждый мир девчачьих вещей. Здесь до ужаса аккуратно сложенные белые и розовые платья с бантиками, пояски и еще какие-то непонятные штучки,

изящный браслетик Анни, и — в плетеных пляжных сумках — то, чем обычно питаются девочки. Йеспер не слишком хорошо помнит, что это, но точно знает, что этого немного. Насколько ему известно, девочки вообще не любят есть.

В глупом восхищении он тянет руку к пузырьку, выглядывающему из крохотной сумочки. Флакон с ароматическим маслом сделан в форме граната. Йеспер зачарованно смотрит, как золотистая жидкость переливается за малиново-красными стеклянными гранями. Мир исчезает. Всё еще держа пузырек в руке, другой рукой Йеспер, сам не зная, зачем, украдкой сует в нагрудный карман матроски резиночку для волос. Он снова откидывается на спину и смотрит на солнце сквозь стекло пузырька. Время застывает в малиновом сердце граната — как вдруг, откуда ни возьмись, над Йеспером встают длинные ноги Шарлотты. Крошка Май, сидящая у Тереша на плечах, смотрит Йесперу прямо в глаза: «Анни, зачем он взял твои духи?»

Чары рассеиваются, и синапсы в мозгу у Йеспера тут же вспыхивают электрическими сигналами, не позволяя замешательству проступить на его лице.

— *Revacholiere*, — торжественно произносит он, и с видом знатока добавляет: — *Granate*, номер три. Очень хороший выбор: сильные ноты, натуральные масла; ягоды можжевельника придают более воздушное звучание… Да, отличный выбор, что я могу сказать. Анни, твои?

Йеспер не спеша, с достоинством садится. Хан и Тереш с тревогой поглядывают в сторону девочек — особенно Анни, с улыбкой облизывающей лаймовое мороженое.

— Мои, — немного резко отвечает она, но продолжает уже более учтиво: — У тебя ведь мама занимается парфюмерией, да?

— Ну, сейчас она ее больше ввозит, чем делает. Но у нее есть сертификаты и всё такое. Знаешь, я был на парфюмерной фабрике в Ревашóле и видел, как дистиллируют *Granate*.

— Ты бывал в Ревашоле?! — Даже Шарлотта впечатлилась. В школе для них она — с ее модной одеждой и друзьями-старшеклассниками — что-то вроде богини. И сейчас глаза богини широко раскрыты от удивления. У Йеспера краснеют уши.

— Один раз — мамины коллеги пригласили ее на экскурсию.

Теперь, когда главная опасность позади, Терешу кажется, что Йеспера пора вернуть на землю:

— То-то от тебя цветочками пахнет!

Крошка Май у него на плечах звонко хохочет, что бы он ни сказал. Ему повезло. Тереш никогда не думал, что умеет ладить с малышней, но теперь этот дар и безумный прыжок держат его на плаву уже три четверти часа. От Хана никакого толку. Он пропускает почти все пасы,

которые дает ему Тереш, а если не пропускает — то не бьет по мячу, а только мямлит.

Анни садится на покрывало рядом с красным как свекла Йеспером.

— А по-моему, от Йеспера приятно пахнет. Уж точно не носками и не этой раздевалкой.

— У вас там просто жуть, — мягко говорит Молин.

— Это всё фон Ферсен, — Хан забивает свой первый гол в игре, — Уф-ф… у Ферсена какие-то особые спортивные носки. От них такая вонь, просто ненормальная.

Тереш вздыхает с облегчением. Они надолго застряли в очереди за мороженым. Что Хан, что Тереш даже в спокойной обстановке не бог весть какие собеседники, а план Тереша был в том, чтобы до прихода Йеспера хоронить любые упоминания бинокля под словесной лавиной. К счастью, Май, сидевшая у него на закорках, болтала без умолку и всех смешила.

Теперь же он решает, что с него хватит. Он ссаживает с себя Май и, многозначительно подмигнув Йесперу, как бы невзначай говорит:

— Ты всё забрал? Сигареты? Бинокль?

Но Анни-Элин не ведется на сигареты:

— А что вы там делали с этим биноклем? Мы еще вчера заметили, что там всё время что-то блестит — как зеркальце. Страшно интересно!

— Да так, на птиц смотрели. Там гнездится пара орланов-белохвостов… — едва успевает начать Тереш, как Молин усмехается, показывая острые зубы:

— На **птиц**, значит?

Сидящая рядом с Йеспером Анни хихикает, а злая богиня Шарлотта ехидно замечает:

— Да, такое наблюдение за птицами популярно у джентльменов в это время года.

Йеспер снова заливается краской, но где-то глубоко под веснушками Мачеека поднимает буйную голову Франтишек Храбрый. Пора! И вот он уже рвется вперед, презрев осторожность, к самой манящей, самой невероятной из наград. Так уж ведется у нас, у гойко: всё или ничего.

— *Gołąbeczko moja*,— весь Тереш Мачеек превращается в самую обаятельную из улыбок, — Раз так, то мы видели самых редких пташек.

Как часто для нас, немытых гойко, «всё или ничего» оборачивается ничем. Но не в этот день. В жаркий солнечный день, двадцать лет назад. *Szar-lot-ta!* Ее плечи приподнимаются, ключицы вырисовываются под кожей. Под изгибами бровей, в холодных зеленых глазах, на микросекунду загорается улыбка, свет далекой звезды. Эта улыбка — для Тереша.

Она говорит: «Шанс!»

Как же Тереш счастлив! До чего хорошо всё складывается! Проходят часы, тени растут, белый песок становится сначала желтым, потом оранжевым и полосатым. Девочки набрасывают пляжные покрывала на плечи, маленькая Май зевает и засыпает под полотенцем. Ветер успокаивается и затихает совсем. Королевство. Вдалеке у остановки кружат конки. Слышен стук колес по рельсам, из чьего-то двора доносится музыка. Пляж пустеет, синее небо начинает становиться фиолетовым с одного края. Тереш рассказывает девочкам о дипломатической вилле отца, о планах на лето, о том, что они собираются делать завтра. Тени пляжных кабинок растягиваются и ползут по песку, будто стрелки часов. Длинные облака нависают над водной гладью перистыми животами, небо у горизонта линяет в бирюзовый, пурпурный, прохладный темно-оранжевый. Молин примеряет очки Хана, а Хан надевает большие солнечные очки Молин и ничего в них не видит. Только девчачьи силуэты, от которых кружится голова, мерцают внутри — как огоньки свечей, только темные.

— Принесите сидра! — кричит Анни-Элин из дверей последнего трамвая. Четверка серых лошадей трогается с места, салон трамвая в сумерках светится желтым, и Май в белом платьице с ангельскими крыльями дремлет на коленях у Молин. Волшебная палочка доброй мачехи падает из ее рук на усыпанный песком пол.

Трое мальчишек на остановке смотрят друг на друга, разинув рты, пока трамвай не скрывается за холмом.

Теплое, кисловатое дыхание колышет белую гостиничную простыню возле рта продавца линолеума.

Продавец линолеума. Продавец линолеума. Продавец линолеума. Левой рукой он затягивает у затылка петлю из простыни у себя на шее. Узел тщательно продуман и надежно завязан. Прохладный воздух проникает в номер отеля «Хавсенглар» на двенадцатом этаже сквозь приотворенную балконную дверь. С этого балкона открывается отличный вид на ночной пляж. На застеленном циновкой балконном полу лежит снятый со штатива телескоп защитного цвета. Скаутская модель. На окуляр установлена фотоприставка. Балкон, и только этот балкон, а не соседняя комната и не коридор, потому что там продавцу линолеума уже не нравится…

Потому что только здесь, на этом балконе, он ясно слышит тяжкое дыхание зла.

Вечер, двадцать лет спустя.

У зарешеченного окна комнаты для допросов Видкун Хирд презрительно разглядывает агента Международной полиции. Жалкое зрелище. Хирд одет в свой серый тюремный комбинезон.

На светоотражающей полосе имя «Видкун Хирд» и номер с инициалами. Агент снимает пиджак и небрежно бросает его на подоконник. На его рубашке под мышками пятна пота. Движения рассогласованы. На груди у него свеженапечатанный разовый пропуск с идентификационным кодом.

Гудит вентилятор.

— Э, да ты же **пьян**! — Видкун оглядывается на стоящего у двери охранника. — От него разит водкой… Я так не согласен. Будь добр, уведи меня обратно.

Хирд ухмыляется, слыша обрывки разговора между агентом и охранником.

— Пять минут… десять минут… речь о жизни ребенка…

Охранник закрывает за собой дверь, и в руке у Тереша на мгновение сверкает странной формы ключ.

— *Mat-chee-jekk*, — тянет Видкун. — Так ты гойко! Низшая форма жизни второго порядка, вроде гавриловской собаки. — В этот раз Хирд скован по рукам и ногам; массивные кандалы неудобно сгибают его руки за спиной. Но тем не менее он ухитряется придать своей позе некую царственность.

— Ты соврал. Кто показал тебе рисунок? — Тереш не может сфокусировать взгляд и сердито моргает.

— Ты знаешь, что исследования в области евгеники высоко оценивают смирный нрав гойко?

— Где ты взял рисунок, **чушка**?

— Вашу породу ученые советуют скрещивать с киптами. Получаются идеальные рабочие.

— Заткнись! — Тереш опускает стальные шторы на окнах комнаты для допросов. Рывком. Блестящая металлическая пластина с грохотом разворачивается, и почти сразу же слышится нервное дребезжание ключа в замочной скважине.

— За решетку хочешь, идиот? У нас уважают *Декларацию*. Здесь тебе не граадская анархия.

В комнате за стальными шторами, в стерильном железно-сером свете, Тереш Мачеек встает и раскрывает на столе свой чемоданчик. Весь его объем занимает один железный ящик, на котором белыми буквами написано «ZA/UM».

Глаза Хирда выкатываются от ужаса. В дверь стучат.

— У вас нет разрешения на допрос! У вас должно быть разрешение! Предъявите ваше разрешение!

— Что вы сказали? Не слышу, тут какая-то **чушка** визжит. — Тереш хватает железный ящик и бьет им Хирда по лицу. Кровь густо заливает тюремный комбинезон.

Хирд скулит; из его переносицы, среди красного студня, торчит белая косточка. Он теряет сознание. Из-за двери доносятся

приглушенные угрозы охранника, но хитрый ключ Тереша надежно блокирует замок.

— Я агент Международной полиции Тереш Мачеек, Миро́ва, Граад, у меня есть законное право на допрос, и если вы не прекратите…

Стук на мгновение стихает, и ZA/UM открывается. Всё идет быстро, можно сказать, красиво. Тереш достает из поролонового вкладыша ящика катетеры с болтающимися на концах иглами и желтоватыми патрубками, закрепляет у себя на запястье жуткого вида прибор с гофрированной помпой и затягивает на закованной руке Хирда резиновый жгут. Чуть повозившись, он подсоединяет один из катетеров к аппарату, а затем вкалывает иглу в вену Видкуна. В трубку просачивается маленькая красная капля сверхчеловеческой сущности Хирда.

За стальными шторами по тюремному коридору грохочут тяжелые ботинки. Подкрепление. Мачеек щелкает крышкой прибора у себя на руке. Открывается ряд ампул, заполненных желтой жидкостью: точно зубы курильщика, обнажившиеся в ухмылке. Слабое шипение — и первая ампула, звякнув, встает на место. Помпа на крышке вздрагивает, и аппарат у Мачеека на запястье начинает тихо дышать, как ручная зверушка. Он закачивает желтую жидкость в руку Видкуна Хирда. Заключенный открывает глаза и задыхается от ужаса.

— Знаешь, что это, паскуда? — шипит Тереш сквозь зубы прямо в распухающее лицо Хирда.

Немного смешанной со слюной крови брызгает Мачееку в лицо изо рта Видкуна, когда тот в панике хрипит, закатывая глаза:

— Я солгал. Вы правы. Я… я никогда их не видел, это мой сокамерник…

— Мне плевать, что тебе там кажется.

— …Мне не кажется, говорю вам, у меня был сокамерник, несколько лет назад, Ди́рек…

— Мне плевать, что тебе кажется. Мне нужна твоя правда. — Глаза Тереша выпучены и ужасны. Он срывает жгут с руки Видкуна, и вены, вздувшиеся от раствора мескина и лизергиновой кислоты, на глазах опадают.

Внезапно Видкун так стискивает зубы, что кажется, будто они вот-вот раскрошатся.

— Ты ничего не получишь. Теперь ты ничего от меня не получишь, — озверело рычит он. — Я непобедим!

В дверь с грохотом ударяет таран.

— Мне нравится, что ты так думаешь. Это даже лучше, что ты так думаешь, — тяжело дыша, произносит Тереш и прикручивает к аппарату вторую канюлю. Эта — для него. Тщательно прицелившись, он вонзает иглу в вену на запястье.

Когда первая ампула заканчивается, Тереш делит с Видкуном следующую, лихорадочно бормоча ему в разинутый рот: «Это мясорубка. Ты не представляешь, как я сейчас тебя трахну». Желтая, как моча, жидкость прорывается сквозь гематоэнцефалический барьер Видкуна, и страшное давление изнутри черепа вспучивает его темя, как пузырь. Тереш хватает его за голову и кричит ему в лицо. Его голос доходит до сознания Хирда как белый шум, чистое, оглушающее насилие.

— Я тебя идиотом сделаю, ты понял?!!

Череп Видкуна поддается напору изнутри и лопается в руках агента, раскрываясь, как цветок. Будто бы что-то рождается оттуда. Беспомощно звякая наручниками, Хирд пытается поймать руками то, что лезет наружу из его головы. Кусочки мозга сквозь пальцы выскальзывают на пол. Ему не удержать их, они слишком скользкие, их слишком много.

— Вот она, твоя пизда, вот ты, передо мной, сейчас я тебя вскрою, — хрипло шепчет Тереш, и перед его глазами открывается весь Видкун Хирд. Дергаясь в железных когтях агента, Хирд изо всех сил пытается сказать ему, сказать ему то, что он хочет узнать, сказать это на человеческом языке, но рот его больше не слушается; и всё время, пока Тереш бродит у него в голове, словно тигр по мелководью — всё это время Хирд видит в зеркале его сознания только одно. С этой прохладной поверхности, куда Видкун убегает от кровавой бойни в собственной голове, на него смотрят темно-зеленые глаза Шарлотты Лунд. В глубине зрачков мерцает шанс, который был дан Терешу. Это так красиво и так безумно грустно, что когда Тереш, задыхаясь, вываливается из его головы на стол для допросов, Видкун начинает рыдать.

Впереди сверкает побережье Ваасы, а под ногами — ночная рябь от мчащегося по воде патрульного катера. Вдали, над городом, сияет желтоватый купол светового загрязнения. Они кажутся такими праздничными — эти белые и желтые городские огни, которые Тереш может уместить у себя в кулаке. Снаружи холодно, но он без пальто. Рукава наброшенного пиджака болтаются, а белая рубашка забрызгана кровью Видкуна Хирда. Руки агента скованы наручниками; молодой офицер помогает ему подняться на палубу.

— Что вы там такое натворили? — спрашивает офицер.

«...Я сочиню тебе симфонию», — поет из каюты дребезжащий транзисторный приемник.

— Эй, спасибо, что вытащил меня — вечер просто изумительный!

— Не за что... — усмехается офицер.

— Вот только нельзя ли сделать песню громче?

— Что?

— Погромче! Обещаю, я не выпрыгну за борт!

— Я скорее боюсь, что вы свалитесь за борт, но ладно. — Офицер уходит в каюту, и вскоре на палубу сквозь шум волн и гудение мотора доносится бодрый ритм; певец выводит фальцетом: *«Я сочиню тебе симфонию... чтобы сказать, как ты мне дорога...»* Тереш начинает притопывать в такт. С облегчением, которое приходит к нему только после использования «ZA/UM», он мечтательно произносит:

— Знаешь, я только что раскрыл исчезновение сестер Лунд.

— Что?

— Никогда не слышал? Такое громкое дело!

— Когда это было?

— Давно, ты еще не родился. Но это неважно. Мне сейчас так хорошо. Похоже, я его разгадал!

Тереш смеется. Смех этот горький, но искренний, очень искренний, и ночь над Северным морем смеется ему в ответ.

6. ФРАНТИШЕК ХРАБРЫЙ

Пожалуй, самые печальные случаи исчезновения — это те, что были раскрыты. В те времена, когда Переменная Вера была просто рекой Верой и на ней еще не была построена гидроэлектростанция, в ее воды бросилась звезда оперетты Надя Харнанку́р. Она была в зените славы. И могла бы никогда его не покинуть: одним осенним вечером, после блистательного выступления, Надя просто исчезла, а ее небесное сопрано осталось эхом в залах оперного театра. Был ли прав старик, который видел ее на мосту в вечернем платье — или фанатичный поклонник, утверждавший, что встретил ее через год в Ревашоле? Возможно, доля правды есть в параноидальном бульварном романе популярного автора, где Надя оказывается мескийской шпионкой, нигилисткой и вестницей апокалипсиса. Кто может сказать?

Одно несомненно. Никому не были нужны останки Нади в вечернем платье, показавшиеся из отложений ила под плотиной. Никто не жаждал увидеть ни колонии моллюсков в глазницах, ни мертвую улыбку золотых зубов, ни ошеломленные лица строителей гидроэлектростанции.

Неудачи. Мир соткан из них. История — повесть о неудачах, прогресс — череда неудач. Развитие! провозглашает футурист. Поражение, признает бунтарь. Похмелье! кричит моралист с заднего ряда. Неудачи выводят бунтаря из себя. Серое время, ругается он. Неудача Творца — конец эпохи. Крас Мазов пускает себе пулю в голову, а Абаданаи́з и До́брева выпивают яд на одном из островов Озонна. Ветер сдувает плоть с их костей в песок под пальмами. Кто мог знать? Хорошие люди, соль земли, собрались вместе. Учителя, писатели, трудовые мигранты сидят на корточках в окопах… молодые солдаты сбегают из воинских частей. Какие красивые песни они поют! Они храбрецы, любимые дети Истории — так им кажется; они размахивают белыми знаменами с серебряными оленьими рогами.

И терпят поражение.

Попытки переворотов подавлены. Анархистов сваливают в братские могилы на островах Великого Синего. Коммунисты отброшены с изолы Граад и отступают в самарскую глушь, в бюрократическое деформированное рабочее государство. Исчезновение возлюбленных-революционеров раскрывается тридцать пять лет спустя, когда обнявшиеся скелеты Абаданаиза и Добревой находит на пляже одного из безымянных островов Озонна Эжен, восьмилетний отпрыск крупного банкира Риша Лепо́мма. Он стоит в коротких штанишках, с сачком в руках, и с любопытством смотрит на кости своего прошлого, которые еще цепляются друг за друга. Выцветшие и гладкие. Где начинается один и заканчивается другая? Время перетасовало их, как колоду карт. Позже Риш построит там отель и всемирно известный оздоровительный центр.

Но главной из неудач оказалось не то, что мировая революция Мазова превратилась в бойню, а после потерпела крах, и не то, что кости возлюбленных-революционеров оказались выставлены в фойе салона ароматерапии. Подавив внутренние беспорядки, Граад становится мировой державой, сверхгосударством; его города разрастаются, и даже с орбиты видна сверкающая паутина его метастазов. С карты мира исчезают целые страны. Страны, где у Мазова когда-то было много сторонников. Такие, как Земск. Страны, жителей которых называют уничижительным общим термином «гойко». Так давно, что они уже и сами начали так себя называть.

Терешу Мачееку семь лет. Его отец, дипломат и коллаборационист, еще не привел его в школу в Ваасе. На границе Земска и Юго-Граада вырастает город (косая черта) зона экологической катастрофы: человеческое поселение на предпоследней стадии развития, после мегаполиса и перед некрополем — Полифабрикат. Это чудовище сжирает исторические центры Земска — старую королевскую столицу, сосновые парки Ленки. Приходит лето, и в сумерках подвалов начинают шептать одно имя. Его выкрикивают дети во дворах. Деревья на тихих улицах тревожно шелестят листвой, и граадский милиционер слышит это имя в ее шорохе.

«*Франтишек Храбрый…*»

Самый отважный из гойко. Кинозвезда, революционер. В конце весны народные волнения были жестоко подавлены, и с тех пор уже два месяца о нём никаких вестей. Говорят, он скрывается далеко в тайге, в джикутской резервации, и перенимает тайные знания у жрецов вымирающего коренного народа. Невероятно! У него орлиный прищур и печальный взгляд, его ласковая улыбка — точно рассвет над тайгой. Эту улыбку он бережет для редких минут, когда его суровые, суровые брови не хмурятся от тяжких дум… Его волевое лицо появляется перед смелыми работницами трикотажной фабрики — в запрещенных фильмах, на экране из маек и трусов. Нет, Франтишек Храбрый в Самаре! Ведет переговоры. Он вернется с Народной армией! Не говорите глупостей, Франтишек — далеко в Катле, за Зимней орбитой, в хижине Игнуса Нильсена. Там его никогда не найдут! Вздор! Франтишек Храбрый не прячется! Только вчера его видели в мясном ряду на рынке, в накладной бороде и фартуке мясника, а зовут его теперь Возам Сарк — читай задом наперед!

Но проходят месяцы, новостей нет и нет, и вот наступает осень. Заводская копоть, будто вдовья вуаль, падает на золотые и красные листья. В октябре в Земске начнут ходить совсем другие разговоры. Тихие и стыдливые.

Франтишека Храброго застрелили за мусорной свалкой.

7. МИР СЛОМАН, ВРЕМЯ СОШЛО С РЕЛЬСОВ

Инаят Хан уже час ворочается в своей постели под окном подвала. На улице смеркается, и в комнату проникает белесый свет уличного фонаря. Доверху забитый хламом подвал, в падающем из окна дымчато-голубом луче блестят словно застывшие на месте пылинки. На столах, накрытые тканью, дремлют немые формы предметов — свидетельств исчезновений. На стенах темные квадраты картинных рам, тень от стенда рассеивается на полу. На почетном месте в центре подвала мягко и притягательно поблескивает стеклянная витрина. Армия вещиц на бесчисленных полках замерла в ожидании. Вставай, дорогой коллекционер! Ты так долго лежишь в постели — мы знаем, ты уже не спишь.

Хан шарит рукой в изголовье кровати. Привычными движениями он раскапывает вещи, нащупывая кнопку магнитофона. Свернуться в клубок под одеялом вдруг начинает казаться ему куда лучшей идеей. По мокрому тротуару за окном шаркают ботинки прохожих, идущих домой с работы, и Хан делает отчаянную попытку снова задремать, хотя бы ненадолго. Ну, давай! говорят чудесные игрушки Хана. Послушаем нашу веселую песенку для пробуждения! Атрофированная сердечная мышца Хана начинает болеть даже от мизерного усилия, и заснуть уже не выходит. Рука снова тянется к изголовью, палец ползет по магнитофонным клавишам цвета слоновой кости. Под покрывалами все затаили дыхание от волнения. И вот слышится щелчок, несколько тактов шороха чистой пленки, и вслед за ними плавные гитарные арпеджио и мягкие звуки старомодного электрооргана.

♫ *It's been a long, long,*
long time
How could I ever have lost you…

Из левого канала раздаются громкие звуки ударных и баса.

♫ *…when l loved you?*

Одетый в пижамные штаны Хан садится в постели под звуки барабанов. Выбравшись из простыней, как змея из старой шкуры, он сует ноги в остроносые тапочки, похожие на туфли Маленького Муххи. Небритый подбородок дрожит в последнем зевке, и наконец Хан широко раскрывает свои большие миндалевидные глаза и надевает очки. Он взъерошивает волосы и начинает лениво подпевать. У него красивый голос.

♫ *It took a long, long,*
long time
Now I'm so happy I found you

Мохнатый живот слегка нависает над поясом пижамных штанов; дождавшись бриджа, Хан подыгрывает на невидимых барабанах…

♫ *How I love you*

…и нажимает ногой выключатель. Старые лампочки включаются и выключаются в такт ударным. Нить накаливания секунду гудит, а потом гаснет. Додекаэдр с автографом пропавшего композитора-додекафониста *графа* де Перу́з-Митреси́ из золотого света погружается обратно во тьму. Лампочки загораются снова, и из сумрака выступает название на корешке книги — *Los Desaparecidos*.

♫ *So many tears,*
I was searching
So many tears, I was waiting

В песне наступает кульминация, и Хан бесстыдно подпевает в голос, двигаясь по подвалу, как исполнитель по сцене. Ряды ламп на потолке освещают аккуратно расставленные на столах предметы. Деревянные картотечные шкафчики с алфавитной маркировкой, портрет Нади Харнанкур в овальном медальоне, карту пустыни Эрг с гипотетическим маршрутом, по которому Рамут Карзай ушел к дюнам просить аудиенции у бога. Булавки отмечают места, где на этом пути он мог встретить свою таинственную гибель. Проходя мимо столов, Хан стягивает с них покрывала, и тайна за тайной является его глазам. Вот выстроились в походном порядке золотые и зеленые корабли с резными сераидскими драконами на носах — двенадцать миниатюр размером с ладонь. Ряды весел в темно-синей имитации морской воды с белыми гребнями волн; папирусно-желтые ребристые паруса кораблей гордо расправлены. На палубах стоят люди в тростниковых доспехах, на копьях развеваются вымпелы. Это тысячная экспедиция Гон-Цзы. Три с лишним тысячи лет назад по приказу императора Сафра они отплыли на восток от самарского побережья. Они отправились за персиками, которые должны были даровать императору бессмертие. И так никогда и не вернулись. Два с половиной тысячелетия спустя следы их расселения находят на востоке, на Анисовых островах. Учитывая все обстоятельства, экспедиция Гон-Цзы не могла вернуться обратно. Император был абсолютным монархом, жестоким и кровожадным, а персиков бессмертия не бывает.

Все эти милые сердцу предметы — сувениры, оставленные вещи — имеют отношение и к Хану. И как же от этого больно! Так странно… он никогда до конца не понимал, почему. Но всё же он улыбается, блаженно щурясь — точно большой толстый кот, которого чешут за ухом.

На стенде у письменного стола, в свете настольной лампы с зеленым абажуром — всё о девочках. Газетные вырезки, ворох заметок, а в центре — копии «писем Молин». Графологический анализ показал невозможные 95% совпадения. Письма пришли через полтора года после того последнего дня в Шарлоттешеле. Они были адресованы родителям девочек. «У нас всё хорошо. Мы у одного мужчины, — пишет кто-то, называющий себя Молин. — Мы вас любим».

Хан ставит кофейник на примус, и музыка снова становится тихой и нежной, как вначале. Это его любимое место. Самое любимое на свете. Он мог бы слушать это вечно. С грустной улыбкой он качает головой и прижимает руки к сердцу.

♫ *Now I can see you,*
Feel you
How did I ever misplace you?

Снаружи слышится шорох колес — перед домом остановилась машина. В подвальное окошко начинает постукивать мелкий дождь. Магнитофон делает «щелк», песня заканчивается. У двери висит календарь, на котором уже два месяца не переворачивали страницу. На нём всё еще август, а под числом 28 написано: «Международный день пропавших без вести». Двадцать восьмое августа — это в их честь. Это *тот самый* день.

— Ини, твой друг Йеспер приехал, почисти зубы! — кричит мама Хана сверху, из кухни.

Хан набрасывает поверх пижамных штанов заношенный халат и уходит наверх по подвальной лестнице.

Посреди комнаты в стеклянной витрине стоит *«Харнанкур»*.

Два года тому назад.

Звон хрустальных бокалов. Субботний вечер, ресторан в башне «Телефункена». За окнами панорамного этажа раскинулась Вааса. Припавший к земле призрак. Тьма, снег и огни.

Здесь дорого, но не *безвкусно* дорого. Это было бы неприемлемо: клиенты слишком социально ответственны. Кухня пятизвездочная, а как насчет публики? Высший класс! Смотрите — вот глава Управления связи и его супруга. Вот генеральный директор Фрайбанка ужинает с обворожительной певицей Перни́ллой Лу́ндквист и бизнесменом из Ве́спера. Обворожительная певица ест салат с оливками, гендиректор

хвалит весперскому партнеру омаров. Попробуйте непременно, они здесь потрясающие! А там, рядом с тем бородатым профессором — разве не Конрад Гессле, четырехкратный номинант премии Оскара Цорна? Очень образованный человек… Гендиректор Фрайбанка, конечно, одет в костюм от P. Black. Постойте… А это кто? Да это же тридцатилетний *неудачник*! Неудачник живет у мамочки в подвале. Неудачник одет в ту же голубую рубашку с рюшами, в которой заканчивал школу.

«Мы ненавидим тебя, неудачник!»

«Кто его сюда пустил?»

«Что за жалкое зрелище, у него, должно быть, *свидание*. Бедняжка! Эта женщина уже десять минут ничего ему не говорит… Какая тоска, я бы повесилась!»

«Может, дать ему немного денег? Чуть-чуть, к примеру, десять реалов — вдруг ему станет легче?»

«Фу, мерзкий неудачник, не давай ему ничего, я его *ненавижу*!»

«Он точно не сможет оплатить счет! Конечно, не сможет (истерический смех) — одно вино обойдется реала в четыре, ха-ха-ха!»

«Ненавижу тебя, умри, неудачник, до чего я *ужасно* тебя ненавижу!»

Хан снова начинает потеть и пытается прикрыть руками уши… Помотать головой, моргнуть, что угодно, чтобы прекратить этот шквал насмешек, и вдруг — тишина! Сидящая напротив него брюнетка с острыми чертами лица крутит в пальцах бокал. Скука удушает. Женщина осматривает карусель панорамного этажа, красивую текстуру темно-коричневого стола под руками… И вот, проблеск мысли!

— Очень красивое место. Здесь новый интерьер? Кажется, да… Когда я была здесь последний раз, всё было совсем по-другому.

Глаза Хана проясняются.

— Да-да! Этот дизайн разработал мой друг! Ему нравится такой стиль, простой, минималистичный. Я сейчас плохо помню и могу ошибаться, но, по-моему, он, ну… он его и изобрел. Он довольно известен.

— Де ла Гарди?

— Йеспер. Да.

— Так ты его знаешь? Он такой талантливый!

— О, конечно. Мы с Йеспером дружим очень давно. Познакомились еще до того, как он стал знаменитым. Если честно… — Хан нервно улыбается, — не думаю, что я смог бы забронировать здесь столик. Если бы, ну…

— А! Я так и думала.

— Что думала? — спрашивает Хан, но брюнетка не отвечает ему. Она снова замолкает. Хан окидывает взглядом гостей в зале, которые, кажется, на миг перестали издевательски шептаться. В отдалении, возле столика Конрада Гессле, он видит, как какая-то женщина представляет

документалисту худощавого мужчину со светлыми волосами. Официант тоже замечает блондина и предупредительно спешит подать ему «как обычно» — воду со льдом и лаймом. В темно-сером приталенном костюме и с ломтиком лайма в зубах блондин выглядит очень молодым и каким-то элегантно невыспавшимся. Шик, с которым его простая футболка сочетается с пиджаком, внушает зависть. Он может себе это позволить. На футболке — картинка с обложки культового альбома знаменитого диджея.

— Йеспер! — с неуместным энтузиазмом кричит Хан через столики. Его спутница слегка пугается и вопросительно смотрит в сторону Йеспера и Гессле.

— А вот и он, — с радостным облегчением говорит Хан брюнетке. Он встает, чтобы другу было лучше его видно.

— Йеспер, эй!

Вот так, с пятнами пота в подмышках голубой рубашки с рюшами, он стоит посреди панорамного ресторана в «Телефункене» и видит, как Йеспер возмущенно хмурится, а потом поворачивается к Конраду Гессле и пожимает плечами. Он делает вид, что не знает Хана.

— Ай-я!

Восемнадцать лет назад, в жаркий субботний день, Анни оцарапала о шиповник ногу под короткой юбкой. Рассерженная, она выходит из кустов, и галантный доктор Йеспер тут же бросается к ней.

— Что там? Дай, посмотрю!

Анни чуть приподнимает юбку и беспечно отмахивается:

— А, ничего страшного, дурацкие кусты… О-о! — она замолкает на полуслове, и ее рот становится похож на эту букву. — Как красиво!

— Красиво, — произносит Йеспер, в мыслях всё еще видя голень Анни и поднимающийся край плиссированной теннисной юбки. Хан отодвигает кусты, Шарлотта с Молин выходят на обрыв и раскрывают рты.

— Да, понимаю, почему вы любите здесь сидеть. Такой приятный ветерок… — Бриз треплет каштановые волосы Шарлотты, они падают на глаза. — Ммм… — Девочка щурится и небрежно отбрасывает прядь с лица.

Ветер срывает и поднимает в воздух белые лепестки. Кажется, что Май летит над зарослями в своем крылатом платье. Она рисует в воздухе фигуры палочкой феи-мачехи и чувствует себя самым важным человеком на земле. Май едет на плечах у Тереша, которому нет дела до колючих кустов. Продравшись сквозь них, он сажает Май на лужайку. Тереш весь исцарапан и глупо улыбается. Порыв соленого ветра стихает, и воздух наполняется сиропно-сладким запахом цветов. Гудят

насекомые. Все семеро с трудом умещаются на секретной полянке мальчишек — но так и было задумано.

Во всяком случае, Йеспер очень доволен. Мальчики всю ночь не спали. Предвкушали, строили планы, занимались подготовкой. Можно сказать, время пролетело незаметно. Тереш был против обрыва из-за длинного пути и колючек. Но Йеспер с Ханом всё равно решили, что это место подходит лучше всего. И так оно и оказалось! Пока девочки восхищаются видом, Хан рассказывает им про маячащий на горизонте древний граадский крейсер: класс, вместимость, устойчивость к Серости. Вроде бы Молин еще не начала зевать со скуки. А самое лучшее — несмотря на ветер, погода такая теплая, что Анни решает позагорать.

Молин разворачивает покрывало и ложится рядом со щебечущей Май, бок о бок с Ханом. Хан напрягает память, но, к сожалению, больше не может рассказать ничего интересного о старинных аэростатах. Пускай теперь Йеспер с Терешем поддержат разговор. Он ложится на спину и закрывает глаза.

Оранжевое мерцание солнца, шум моря, шорох перкуссии медленно угасают, и в научно-популярном сне мальчику видится космическая осень высоко на орбите. Вибрации, как всегда. И холод. Безликий, бездонный эпиферий раскинулся за спинами металлических гигантов. Забытые в небе, древние спутники связи калибруются, разворачивая свои ржавые брюшки параллельно земной поверхности. Шарниры катапульт вращаются, детали встают на места; рукотворные валуны кричат, как журавлиная стая, на краю стратосферы, коммуникационные блоки скрежещут в эфир. Фасеточные глаза измерительных приборов смотрят вниз, туда, где южное побережье изолы Катлы цветет в короткой вспышке лета. Суша, как прекрасное видение, дремлет в прохладной колыбели тысячекилометровых дуг и спиралей Серости. Это прошлое, надвигающееся, всепоглощающее. Серость повсюду. Но материя с ее темно-зелеными лесами и белыми пляжами, переливающееся солнечное зеркало Северного моря, архипелаг Вааса и крошечный Шарлоттешель всё еще держатся. И чем меньше остается материи, чем теснее пространство, где она может уместиться — тем волшебнее ее сияние.

Всемером, они лежат полукругом на зеленой траве на вершине обрыва, а внизу волны разбиваются о берег. Наверху, в небе — пушистый, как вата, *vy från ett luftslott*; облачные города отражаются в преломляющих поверхностях Хановых очков. Он открывает глаза.

Шарлотта Лунд, окутанная душистым облаком, одним движением стягивает платье через голову. Взгляду открываются округлости ее тела, гладкая загорелая кожа. Тереш волнуется, видя, какие изящные у нее суставы. Жарко.

Анни лежит на спине, надев солнечные очки как ободок. Она стесняется своих родинок. Йеспер не смеет об этом сказать, но ему очень хотелось бы их увидеть. А Молин тихонько развязывает бантик на поясе, чтобы под платье задувал ветерок. Платье раздувается, как парус.

«Сидр!» — торжественно объявляет голый по пояс Тереш. И действительно, из темноты рюкзака веет подвальным холодом, и на свет появляется сосуд, захваченный прошлой ночью в ходе беспрецедентно сложной операции. Три литра. Капли воды искрятся на стекле, герметичная пробка, чихнув, подается, и над горлышком бутылки поднимается дымок углекислого газа. Яблочный сидр шипит, пузырьки собираются в пену.

Губы девочек пылают, и только маленькая Май пьет свой лимонад с кусочками лимона, недоуменно глядя на старших. Тереш осторожно подносит холодную бутылку к горячей щеке Шарлотты. Отец обнаружит пропажу сидра в следующие выходные — когда захочет предложить его владельцам и кураторам галерей на обеде в честь культурного сотрудничества. Но Терешу плевать. Посмотри, какая она красивая, Шарлотта, и как она счастлива. А отец — интеллектуальный пораженец, «примерный гойко» и пособник узурпаторов. Франтишек Храбрый не стал бы думать о нём.

— Почему ты молчишь? — спрашивет Молин вполголоса, чтобы другие не услышали, и поворачивается на бок, лицом к Хану.

Анни навостряет уши:

— Я не думала, что *ты* — и вдруг такое скажешь. Ну, про носки!

— Да ну тебя, — смеется Молин мягким теплым смехом; Хан чувствует его на своей ушной раковине. — Расскажи что-нибудь… у тебя всегда такие интересные доклады. И по истории, и по естествознанию…

В глубине души Хан вскакивает из-за откидной парты и торжествующе бьет кулаком в воздух.

— Да-да! Та история про персики была очень милой!

— Анни, не перебивай… — хмурится Молин, — постой, какие персики?

— Давай, Хан, расскажи, это было адски круто. Про Ильмараа, этот их флот и императора…

Хан наконец открывает рот.

— Эй, это вообще не *та* изола. Там было про Самару!

— Ну, прости. Я не имел в виду ничего такого, ну, расистского.

— Очень смешно, Йеспер. Ладно… — Хан тоже чуть поворачивается к Молин, аккуратно, чтобы не задеть ее. — Ты тогда болела. — Хан очень хорошо это помнит: он хотел отложить доклад на потом, чтобы выступление не пропало впустую, но учитель не понял тонкости ситуации.

— Персики занимают важное место в мифологии Самары, точнее, Сафра. На Анисовых островах есть не только вишни, но и персики. Они растут там сами по себе, можно насобирать персиков прямо в роще. Культурные абрикосы, персики и нектарины — все они родом из Самары. Даже сейчас много фруктов к нам привозят из СНР, через Серость.

Молин прилежно слушает и кивает.

— Так вот. Давным-давно, когда Катла еще даже не была заселена, император Сафра отправил своего самого прославленного мореплавателя, Гон-Цзы, за персиками, которые дают бессмертие…

Двадцать лет спустя.

City Ваасы погружается в синеву. Одна из улиц Кёнигсмальма, час пик, ярко горят фонари с резьбой в стиле дидридада́. Темно-серый купол неба, а под ним толпа людей в по-северному бесцветной одежде проходит мимо, точно шествие призраков из сказок суру. Тереша мутит — так давно он не курил. Голова тяжелая и болит, никотин давит на глаза, звуки кажутся далекими, искажаются. Он садится на ступеньки перед полицейским участком, подоткнув под зад полы пальто. Изморось падает на опухшее со сна лицо.

Пять минут назад ему бросили в лицо его одежду и отпустили. Последние обрывки сна еще продолжаются. Они отдаются в затылке, кошмар скользит по зыбкой границе сна и яви, превращаясь в пульсирующую головную боль. Он порожден насилием; обычно он просто шепчет: «Опасность» — но иногда он говорит, что он Мужчина. Он пригибает шиповник и смотрит, как они сидят на обрыве. Он всегда там, он хочет разлучить их, но терпеливо ждет. Вот он в сосновом лесу, где Тереш учился пускать дым кольцами, крадется от одного ствола к другому. Он уклоняется от взгляда бинокля на пляже, держит на коленях маленькую Май; Май засыпает, и двери трамвая закрываются. Он всепоглощающ, бездонен; он ни на что не опирается и в любой миг может рухнуть внутрь самого себя. Остались считанные дни. Скоро жизнь закончится. Неправильно и ужасно. Потом, в последнюю ночь на тайном пляже девочек, когда они в головокружительной темноте входят в воду, он подбирается к покрывалам и нюхает их вещи. Мужчина смотрит из-под солнечного зонтика и надкусывает жареный пирожок с мясом. Тереш становится мороженщицей Агнетой, и каждый раз, когда Мужчина проходит мимо окна, видит у него другое лицо — краем глаза. Он надевает личину Видкуна Хирда, взрослого Хана, которого Тереш теперь почему-то боится, а иногда становится отцом Тереша. Потом Терешу будет стыдно, что он видел своих друзей вот так, но он ничего не может с этим поделать.

Медленно, робко он пробирается сквозь толпу, боясь на кого-нибудь наткнуться, кого-нибудь рассердить. Люди в темных одеждах

бредут по улице, на широком перекрестке переключаются светофоры; мотокареты останавливаются, из глушителей вырываются клубы дыма, рычат двигатели. Вместе с колышущейся человеческой массой он идет по пешеходному переходу, и в сумерках над ним сияют рекламные табло, гигантская модель в нижнем белье улыбается высоко на стене универмага. Впереди светится ряд таксофонов. Как только Тереш заходит в будку, на улице начинается настоящий ливень. Вода льется по стеклам, и где-то — в воспоминаниях Видкуна Хирда или в его собственном сне в камере, Тереш не может сказать — чудовище садится на корточки перед расчлененными телами девочек и складывает их вместе, собирая химеру.

— Знаешь… — Под колесами такси хлюпает жидкая грязь, хрустит гравий. Хан смотрит в окно. — Есть одна вещь… которую я так и не рассказал тебе… о себе. — Машина останавливается у двери его дома в Салеме. Брюнетка держит сумочку на коленях; Хан открывает дверцу. — Обычно я не распространяюсь об этом. Это непростая тема. Но, кажется, тебе я могу сказать. На самом деле… — он выходит, наклоняется в салон, — я ведущий мировой эксперт по исчезновениям.

Хан захлопывает за собой дверцу такси, делает три шага через тротуар к крыльцу, вставляет ключ в замок и входит в прихожую деревянного дома. Снаружи доносится урчание двигателя, машина трогается с места. В доме тепло и сумрачно. На кухне варится картофель. «Мама, это было ужасно! — Хан снимает трубку висящего на стене телефона, рядом с которым кнопкой приколот к обоям листок с номерами. — Просто ужасно, не спрашивай!» — Его коричневые пальцы прыгают по клавишам: серия из шестнадцати цифр, интеризолярный звонок за счет вызываемого.

— Господин Амбарцумян, мне дали ваш номер на аукционе.

— Господин Амбарцумян сейчас занят, — отвечает голос секретаря, тихий и далекий.

— Нет, вы не поняли, я звоню насчет «Харнанкура». Мне нужно получить инструкцию к моему дирижаблю. Это очень важно… простите, вы меня слышите? — В трубке шипит, сигнал теряется в Серости. В шуме времени.

Два года спустя.

— Тереш не объявился? — спрашивает Йеспер, едва войдя к Хану в прихожую. В ноздри проникает сладковатый запах бедности. Что это? Какая-то корица? Лежалая сдоба?

— Пока нет. Я сам хотел тебя спросить. Если честно, я уже начинаю волноваться. — Хан, в развевающемся халате, ведет Йеспера прямо в подвал. — Одежду сюда, — указывает он на вешалку над лестницей.

Йесперу неуютно. Тот же странный запах, что и тогда. Как же ему это не нравится. Он предпочел бы жить на улице, он бы лучше сжег весь этот хлам, чем терпеть такую вонь. Ко всему прочему, он боится, что откуда-нибудь ему навстречу вдруг выскочит бедная старая матушка Хана. Но Хан был непреклонен: они встречаются у него дома, он не собирается ехать в город, или у него, или вообще никак. А Йеспер из-за прошлых грехов был не в том положении, чтобы спорить. С тяжелым сердцем он шагает с последней ступеньки в подвал. Но тут перед ним открывается такое зрелище, что его внутренний мальчишка одерживает верх.

— Ух ты!

— Ага. Как сказал бы ты сам — весьма недурно.

— *Сказал бы,* — Йеспер вертит по сторонам своей большой головой. — О! — восклицает он. — Гон-Цзы!

Он касается указательным пальцем фигурки, стоящей на носу головного корабля сафрской флотилии. Крохотный, с кончик пальца, Гон-Цзы с длинными висячими усами, как у самарского дракона, держит вымпел с императорским гербом. В другой руке у фигурки компас размером с булавочную головку — чудо-прибор, который Гон-Цзы, как говорят, изобрел сам.

— Я закончил их собирать год назад. Помнишь, в прошлый раз у меня были готовы только корабли, и те еще не раскрашены. — Хан горделиво стоит посреди комнаты.

— Погоди! А *это* что? — Йеспер указывает на блестящую витрину у него за спиной.

— Это… это алмаз моей короны! Зеница моего ока! Йеспер, это «Харнанкур»!

— Оригинал?! — Йеспер благоговейно подходит к витрине.

— Конечно, нет, не будь наивным. Оригинал стоит больше, чем *ты,* — посмеивается Хан со снисходительностью профессионала. — Это копия. Одна из двух.

Изящный силуэт «Харнанкура» застыл в хрустальной глыбе витрины. Йеспер оглаживает высокий, выше его роста, стеклянный ящик, пытаясь найти, где включается подсветка.

— Вон там, с краю, под подставкой, большой выключатель.

Йеспер щелкает клавишей, и свет зажигается — но не в витрине, а на десяти палубах старинного дирижабля. Макет, подвешенный в воздухе на невидимых нитях, парит в центре витрины, словно лебедь из серебра и лакированного дерева. На панорамной палубе первого класса, за стенами из хрустального стекла, в четырехъярусном зале мерцают миниатюрные люстры. На спиральной лестнице замерли крошечные пассажиры. Он кажется таким легким! Таким хрупким. Серебристые арки на корпусе корабля выгибаются, как паруса, и сходятся к носовой фигуре — гербовому лебедю императрицы Шёсты.

— И ведь они считали, что на этом можно пересечь Серость. Правда, удивительно? Смотри! Это палубы! — Хан так счастлив, что наконец-то может кому-то это показать. — Вот эти корзиночки — открытые палубы! Для прогулок на воздухе! Нет, ты представляешь? Прямо в Серости. Под ручку с дамой. Если честно, я мог бы смотреть на это весь день!

— Я понимаю, почему. Да уж, недурно! Весьма и весьма недурно… — Йеспер обходит витрину и делится своими открытиями с Ханом, как будто тот не ходил мимо нее и не сидел в кресле рядом с макетом каждый день в течение последних двух лет.

— Сядь вон там, оттуда вид особенно хорош, — указывает Хан на кресло. Но Йесперу в кресле не сидится:

— …Погоди, а пропеллеры, они не…

— А теперь не соблаговолишь ли ты вернуться к тому выключателю и нажать его еще раз, — говорит Хан с хитрющей улыбкой. Йеспер запускает пальцы в волосы и раскрывает рот. Большие серебряные винты лебедя, острые как ножи — шесть маневровых по бокам, под брюшком корабля, обращенных к земле под разными углами, и еще два на корме, — начинают вращаться, сначала тихо и медленно, а затем всё быстрее и громче. Лопасти исчезают, сливаясь в полупрозрачные мерцающие диски. Пропеллеры такие большие и так динамично направлены, что Йесперу кажется, что корабль вот-вот взмоет вверх из витрины и улетит, исчезнув из пространства и истории.

На корпусе корабля граадским алфавитом, изящным наклонным шрифтом, написано название: *«Харнанкур»*.

Йеспер откручивает крышку с бутылки с водой, а Хан наливает себе кофе. Они усаживаются в кресла перед витриной. Глядя на корабль, дизайнер чувствует, как в его сердце снова разгорается глупая надежда, которой Хан умеет иногда его заразить. Этот ленивый котяра прихлебывает горячий кофе, всё еще в халате и пижамных штанах, и Йеспер бросает на него долгий удивленный взгляд.

— Сейчас семь вечера, ты что — *спал*?

— Звучит немного уныло, я знаю.

— Что есть, то есть, — мрачно смеется Йеспер и некоторое время смотрит на «Харнанкур». — Интересно, почему он не позвонил? Тереш. Вчера. Я второй вечер места себе не нахожу. Уже весь на нервах.

— У меня всё как обычно. Я по ночам и так не сплю. Такой у меня образ жизни, немножко богемный, — усмехается Хан, — Может, он узнал что-то от Хирда и сразу туда полетел.

— Как думаешь, Хирд, ну, сам ничего…

— …не мог сделать? Пффф! Вряд ли. Это полная фантастика! Ты не представляешь, как эти парни любят врать. Я убил десятерых! Я убил

сто тысяч! Я убил больше, чем Эрно Пастернак! У них всё на цифрах и понтах. Но этот рисунок был…

— Один в один! Я знаю!

— Именно. Должно быть еще что-то.

— Да, что-то еще, — Йеспер встает и снимает свою сумку с вешалки. — Но я не думаю, что Тереш один отправился на охоту. Насколько я понял, у нас уговор. Всё, что касается девочек, мы делаем вместе.

— Так и есть… — соглашается Хан, краем глаза всё еще рассеянно созерцая «Харнанкур». Вдруг к нему на колени приземляется мягкий черный сверток.

— Вот! Одна… м-м… знакомая подарила. Похоже, решила, что я располнел. Или что-то в этом роде. Тебе она больше подойдет.

Хан достает из упаковки новую рубашку Perseus Black.

— Ого, спасибо, дружище! — искренне благодарит он.

— Теперь ты можешь выкинуть то убожество с рюшами.

Гойковские русые волосы Тереша намокли под дождем и кажутся почти черными.

— Простите, вы не разменяете десять реалов? — Он наклоняется к окошку киоска в своем длинном пальто.

Молоденькая продавщица с безразличным видом жует резинку:

— Нет, деньги не меняем.

— Хорошо, дайте самое дешевое, что у вас есть — спички, например — и сдачу мелочью, пожалуйста.

— У нас спичек не бывает, извините. — Нет ничего противнее, чем нудеж девушки-подростка. Девица растягивает нежно-голубую жвачку между ртом и пальцами.

— Чёрт с ним, дайте пачку «Астры»!

— Что?

— «Астру».

— А это что?

— …Леденец, дайте мне вон тот леденец!

Полосатая малиновая карамель стучит о коренные зубы Мачеека. Он бросает монеты в телефонный автомат. В будке сладко пахнет дождем; приятно наблюдать, как ручейки стекают по стеклу. Терешу нравится в будке. Леденец тоже неплох. Хорошо, что в ларьке не оказалось спичек. Зажав трубку между ухом и плечом, он поворачивает диск таксофона. В голове прояснилось. Карамель сладкая, а малина терпкая, как и подобает малине. Чёрт, этого Йеспера вечно нет дома! На полочке под аппаратом лежит раскрытый блокнот с эмблемой Международной полиции над списком номеров. Мокрые от дождя пальцы Тереша оставляют пятна на страницах.

«Х, Х, Халамова, Хан». Диск аппарата снова дребезжит, а за стеклом, в сером сверкании Ваасы, десятки и десятки людей входят в двери универмага и выходят из них. Орел на светящейся эмблеме Фрайбанка парит над банковским зданием, золотой, в ореоле водяных брызг.

— Здравствуйте, могу я услышать Инаята Хана?

— Тереш, ты, что ли? — встревоженно звенит в трубке голос матери Хана.

— Да, это я. Скажите, пожалуйста, Инаят дома?

— Подожди, Тереш, послушай меня. Хватит себя мучить. Знаешь, я тут встретила маму девочек…

— Да, конечно — пожалуйста…

— Мы с ней поговорили…

Да-да, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Если маме Хана захотелось поговорить — пиши пропало.

— Госпожа Хан! Пожалуйста, скажите Инаяту, что я звоню, это срочно. Извините.

— Мама? Кто это? — слышится в трубке голос Хана, — Тереш?

— Нет, это Пернилла Лундквист, одна из ваших многочисленных поклонниц, — язвительно отвечает пожилая женщина. Тереш слышит шаги по подвальной лестнице и шум проносящихся машин. Дверь телефонной будки окатывает водой.

— Тереш!

— Привет, Хан! Где Йеспер? У нас мало времени.

— Здесь, — доносится издали голос Йеспера. — Я здесь. Это Йеспер. — Нет ничего приятнее во время похмелья от ZA/UM, чем живые голоса друзей.

— Срочно в город, в Ловису. Дом престарелых «Хю́мнинг». Посмотрите где-нибудь, не знаю, в телефонной книге. Время посещения закончится в восемь.

— «Хюмнинг», ясно. А что там?

— Дирек Трентмёллер. И еще, я подозреваю… Кексхольмский кружок.

— Тереш, Кексхольмский кружок — страшилка для девочек!

— Хорошо, если так.

— А почему ты решил, что нет? — Йеспер пытается пролезть к трубке. — Хан, спроси, почему он думает, что это не так.

— Почему ты думаешь, что нет?

— Поговорим на месте, ладно?

— Хорошо, мы возьмем такси. Йеспер, у тебя есть деньги на такси?

— Есть.

— Да, мы возьмем такси!

Дальше — только вязкая тяжесть времени, расстояние между точками, маршрут такси: пешеходы в темных одеждах, серое небо

и клубы дыма на мотошоссе. Тереш Мачеек. Поток осенних минут, плавный, как движение на магистрали.

Да, мама Хана встретила мать девочек в приемной врача. И что с того, что это ее четыре дочери? Что она за человек? «Потерять всех своих детей в один день. Ты представляешь себе, что это такое?» Скажите лучше, что эта женщина сделала, чтобы их *найти*? Что это значит — она «обрела покой»? Голос госпожи Хан дребезжит в телефонной трубке: «Если мать, даже мать — и та смирилась, то вы уж точно можете...» Не можем. Видите ли, мы *мнемотуристы*. Мы любим девочек — да, смею сказать — мы любим их больше. И даже сам этот миг, вечерний город, проносящийся за окном такси в этом сломанном мире, где время сошло с рельсов, уже преступление. Его нужно изменить. Исправить. Никакого покоя. Никаких сделок с демонами!

Но прислушайся! Вереница мотокарет скользит за боковым окном, издалека доносятся звуки клаксонов: длинные, растянутые в движении ноты. Ожидание. Час, два часа, три часа, вечер, следующее утро, следующая неделя, зима, весна, год, следующий год, десять, двадцать лет. В потоке времени, будто в облачном небе, рокочет гром. Вот-вот хлынет летний дождь! Как насчет небольшого *мнемотурне*, ребятки? Ну что ты сидишь повесив нос, ты же прирожденный мнемонавт?! Кто-то исследует Серость между изолами, их называют энтропонавтами; другие открывают новые земли, это землепроходцы и мореплаватели — а есть вы! Мнемотуристы! Если вновь подкрадется тоска — сбрось обгоревшую шелуху настоящего и вернись в те чудесные времена!

В воздухе душная преддождевая тяжесть. Береговые ласточки пикируют к воде, ловя насекомых. Йеспер оценивающе следит за ними.

Сначала падает лишь одна тяжелая капля. Никто не обращает внимания. Ведь еще так жарко, и солнце, как белая монетка, сияет между облаков. Сафрские археологи только-только отправились на Анисовые острова в поисках следов экспедиции Гон-Цзы. Но Йеспер знает, что будет дальше. Такие дождевые капли всегда таятся в летних облаках над Катлой. А еще Йеспер знает, в какое время с утра включить радио. «Прогноз погоды на сегодня», — сказал диктор. Всё идет по плану.

Хан, рассказывая Молин историю, еще немного придвигается к ней. Он уже чувствует, как подол ее юбки в горошек щекочет ему ногу. Пока все слушают Хана, Йеспер достает из кустов пляжные зонтики. Он подносит их поближе к девочкам, расстегивает кнопки, и, как только сквозь светящийся облачный покров доносится грохот грома, открывает на обрыве большой пляжный зонт. Анни, которая сидит, скрестив ноги, на траве перед Йеспером, поднимает голову и смеется. Сверкающая от солнца дождевая завеса падает на пляж и обрыв. По сигналу Йеспера открываются еще два зонта: Хан раскрывает свой, не прерывая рассказа,

а Тереш укрывает Шарлотту, которая слушает, подперев щеку рукой, и кокетничающую Май. Май заплетает его отросшие волосы в маленькие торчащие косички. Манёвр выполнен блестяще. В ответ на смех девочек рыцари только сдержанно улыбаются.

— Такой теплый! Потрогай! — Анни протягивает руку из-под зонта к звенящим фортепианным струнам дождя. Ее позвоночник изгибается перед Йеспером. Мальчик что-то бормочет и зачарованно смотрит на галактику на ее выгнутой по-кошачьи спине. Ему хочется протянуть руку и потрогать все звездочки, одну за другой. Пыльный запах дождя проникает глубоко в ноздри. Какое время выдержки у воспоминаний?

— О! — Анни вытягивает шею и крутит головой под дождем. — Вы совсем другие, когда не в школе.

— Ага, — кивает Молин, — такие предусмотрительные!

— Хочешь сказать, теперь мы *взрослее*? — Тереш смотрит на Шарлотту, вопросительно подняв бровь.

— Слушай, я тебя видела всего раз в очереди за обедом, — хихикает девочка, жуя соломинку в бокале с пузырящимся сидром, — я вообще не могу сказать, что поменялось.

— Ну, тогда Тереш был еще мальчик, — поддразнивает Йеспер, — а теперь он… мужчина.

Молин смеется. Места под третьим зонтиком так мало, что ей приходится свернуться клубочком. Венец золотых волос опускается Хану на колени, на пляжный зонтик падает дождь. Девочка запрокидывает голову и смотрит на Хана долгим и странным взглядом искрящихся темно-зеленых глаз. Хан сглатывает. Молин — единственная из девочек, кто не хочет сидра.

— И чем всё кончилось? — ее голос звучит словно бы издалека. — Почему они не вернулись?

— Вот в этом и вопрос. — Хан многозначительно откашливается. — Почему они не вернулись?

Молин вдруг радостно сверкает острыми зубами, смеясь своей догадке:

— Они не захотели отдавать персики этому наглому императору!

— Глупости, — говорит Хан в сердцах. — Персиков бессмертия не бывает!

Шарлотта садится:

— А вдруг, откуда ты знаешь? Думаешь, Гон-Цзы и тысяча его моряков побоялись вернуться, потому что император бы их казнил? Вот если бы я была Гон-Цзы, — Шарлотта смотрит на Май и изображает пальцами драконьи усы, — и нашла бы персики, от которых становишься бессмертным — я бы никому не сказала! Я бы поделилась

ими тайком, только с лучшими друзьями. Мы бы вместе путешествовали по свету тысячу лет. И смотрели, каких чудес напридумывают люди!

— А мне ты дашь бессмертный персик, Лотта? — смотрит крошка Май на старшую сестру.

— Конечно. Но только потом, когда вырастешь.

— А зачем мне расти?

— Чтобы ты не осталась навсегда такой вот маленькой козявкой, а была красивой девушкой, как я, — говорит Шарлотта.

— Нет… — качает головой Тереш, наблюдая, как ужасная Шарлотта гордо вскидывает подбородок, и ее волосы, как кисть, метут ее плечо, — *такой* красивой никто никогда не будет. — Хан и Йеспер молчат, обескураженные такой внезапной сменой стратегии. Шарлотта выдыхает, ее грудная клетка медленно сжимается. И одновременно с этим расширяются капилляры на ее щеках.

Тереш пристально смотрит на нее:

— А как же я? Можно и мне твоих бессмертных персиков?

— Посмотрим, — справившись с волнением, усмехается девочка. — Сперва *ты* должен принести мне кое-что.

— Ты только скажи что.

Краем глаза Хан видит, как Молин заговорщически переглядывается с сестрами. Сейчас что-то произойдет.

Анни просовывает загорелые ноги в теннисную юбку:

— В следующий раз наша очередь, так? И наше место. Не думай, что у нас нет своего тайного места, — сверкает она глазами на Йеспера. — Что вы делаете в субботу?

Мальчики ничего не делают в субботу: «Ничего не делаю, абсолютно ничего, сейчас посмотрю в блокноте — ничего!»

— Нас на неделю отправят в деревню. На грядки, — Анни выгибается, опершись на лопатки, и натягивает юбку на зад, — но в субботу вечером мы можем встретиться на пляже, да?

— Конечно. Да, конечно. Сто процентов, — наперебой отвечают мальчики.

В руке у Шарлотты звякает кошелек. Взгляды девочек снова чертят между мальчиками линии, как в тригонометрии. Дождь перестал, но в воздухе тут и там еще сверкают отдельные капли. Яркое солнце выходит из облаков, и, окруженная его лучами, богиня из девятого класса закрывает руками уши маленькой Май, а потом, прищурясь, смотрит на мальчиков:

— Вот наша часть. Принесите вишневые спиды.

— Что? — разевает рот Йеспер.

— *Крас-ны-е-спи-ды*, — произносит Анни. Ее розовый язык отскакивает от нёба на последнем слоге.

— Это как амфетамин, — поясняет Шарлотта будничным тоном. Ее округлая грудь поднимается и опускается, когда она говорит. — Только как бы… *особенный*. Самый лучший. И мы хотим закинуться с вами вместе.

Тишина.

От нагретых солнцем мокрых кустов шиповника идет пар.

В небе неподвижно висит орлан-белохвост.

— Май ведь останется дома, да?.. — На голове у Тереша всё еще торчат смешные косички. Хан и Йеспер смотрят, как он достает из пачки «Астру», сидя рядом с Шарлоттой.

— Конечно, дурачок!

— Тогда *davai*,— говорит он, — давайте так и сделаем!

Молин улыбается Хану, и в ее глазах сияет безграничная радость. По-деловому, как и положено дочке учительницы, она объясняет ему задание: «В кошельке номер Зиги. Позвони ему, хорошо? Он достанет».

8. ПРОДАВЕЦ ЛИНОЛЕУМА

Продавец линолеума путешествует из города в город. Он приехал продавать линолеум в Норрчёпинг, город на большой замерзшей реке. Маленькие деревянные церкви и узкие улочки. Продавец линолеума восхищался деревянной архитектурой, застывшим спокойствием северной страны. К девяти часам вечера улицы опустели, а в городе начал дуть порывистый ветер. Ветер дул, полы пальто развевались, и снег, густой снег падал на крыши домов. Снег выпал в сердце Продавца линолеума. Оранжевые ряды уличных фонарей. Что за картины вспыхнули в его мозгу в ту ночь. В съемной комнате, под одеялом. Что за истории, что за ожидания. Продавец линолеума любовался двумя братьями в саду рядом с домом делового партнера: лица херувимов, пухлые рты, румяные от мороза щеки. И Ардой, началом горной цепи, где скалы прорезаны фьордами. Кирпично-красными домами у подножия заснеженных гигантов. И ночами, когда окна мигали в темноте, как крошечные глазки, а почерневшие зубы гор скалились в небо. Но их улыбке было не сравниться с улыбкой Продавца линолеума.

Он практиковался. Поджимал подбородок, как гусеница, и задирал верхнюю губу. В зеркале гостиничного номера мужчина превращался в червя. Каково это — явиться вот так в подвал с низким потолком и бетонными стенами? Каково это — увидеть такое? Посмотри-ка, красавица, посмотри на меня.

Фабрика линолеума закрылась, и начались тяжелые времена. Но Продавец линолеума снова встал на ноги. Он завел новые контакты, познакомился с импортерами. А потом открылась новая фабрика линолеума. И где бы он ни был, что бы он ни видел, он всегда хотел увидеть еще больше. Он продавал линолеум, но считал себя фотографом. Для него мир создал свои сокрытые пейзажи, горнила красоты, которые дано увидеть лишь ему одному.

Как ребенок с калейдоскопом, он играл, разбивая фигуры на части. Продавец линолеума поехал продавать линолеум в Граад, в область за Зимней орбитой. Магнитный поезд несся через северное плато. Была ночь, северное сияние над полянами за окном туалета в вагоне-ресторане, черный горный туннель поглотил поезд. А когда Продавец линолеума вышел наружу, в его ладонях не было ничего, кроме дребезжащих осколков стекла. Куда пропала восхитительная цветочная мандала? Она вечно манит и прячется, завлекает — а потом обманывает, безликая тень, соблазнительница. Продавец линолеума не выдержал. Его алчная нервная система вспыхнула. Елинка. В полярном поселке мужчина растирал лицо снегом — но снег только таял от жара его нервов.

Теперь он отдыхает, пытается держать себя в руках. Занимается делами, продает линолеум строительным магазинам, дизайнерским

студиям и розничным торговцам. Коричневый линолеум. Линолеум с цветочным узором. С севера он спускается в Ваасу. Продавая линолеум в Кексхольме — элитном квартале Ловисы — он видит кое-что новое. То, чего он никак не ждал увидеть. Он встречает других продавцов линолеума. Только они не торгуют линолеумом. В парке, где собираются гомо-сексуалы, он беседует с билетным контролером — о Ваасе, чувстве безопасности, школах, свободном воспитании. Шепчутся листья ольхи. Они тоже шепчутся между собой. Черпают новые идеи и знания. Делятся своими историями. Владелец проката инструментов, Подолог…

— Брифинг, — Тереш смотрит на серебряные часы, подарок от коллег из отдела по розыску на десятилетие службы. — Пять минут. — Пальто нараспашку, он идет рядом с Ханом и Йеспером по парку дома престарелых.

— Ладно, ладно, «брифинг», только, пожалуйста, помедленней, — Хан не поспевает за остальными. — Мне нехорошо.

Йеспер торопится.

— Эй, у тебя серьезные проблемы с сердцем. Думаю, все здесь согласны — тебе надо показаться врачу.

— Я согласен, — соглашается Тереш.

За изгородью из штакетника виднеются в сумерках белые оконные рамы. Опавшая листва пружинит под замшевыми туфлями Йеспера. Он смотрит на брызги грязи на носках туфель и сердито взмахивает рукой. Сладко пахнет гнилью. Ожидание нервирует.

— Ваши местные власти могли быть и посговорчивее, — продолжает агент Мачеек. — Дух сотрудничества и международная солидарность оставляют желать лучшего.

Хан старается не отставать:

— Допросил?

— Допросил, да.

— Вчера?

— Нет, сегодня утром. Дело затянулось. Ничего не поделаешь. Вчера весь день висел на телефоне, как, я не знаю, акробат. Звонков сто, наверное. Извините.

Тереш — блестящий лжец. Йеспер ни на миг не сомневается в его словах:

— Ладно, а что сказал Хирд?

— Он их даже не видел.

Заметив, что Хан вздохнул с облегчением, Йеспер подозрительно поднимает бровь. Честно говоря, сам он немного разочарован. Вся эта подготовка. Всё зря. Ох, скорее бы похороны.

— Подождите, это еще не всё, — поднимает палец Тереш. На руках у него черные кожаные перчатки, он улыбается своему жесту. — Хирд

был так любезен, что назвал мне одно имя. Дирек Трентмёллер. Вот кто ему рассказал.

Хан вдруг останавливается и сердито смотрит на Тереша.

— Он что, вот так просто *дал* тебе его имя и выложил всё как есть? *Рассказывай*.

Йеспер не понимает, почему Хан сомневается в умении их друга вести допрос:

— Ну, ты с него, должно быть, семь шкур спустил? В граадском стиле?— Он бросает на Тереша одобрительный взгляд и идет дальше. — Так. Дирек — как? Трентмеллёр?

— Точно. Я проверил. Всё совпадает. Они сидели в одной камере восемнадцать лет назад. Последний год заключения Дирека. Его освободили досрочно. Тут есть одна загвоздка, напомните мне потом, чтобы я рассказал. В общем, так. Они рассказывают друг другу всякие истории из жизни, и как-то раз Хирд выдает одну *особенно* смачную. Дирек не хочет оставаться в долгу. В конце концов, ему тоже есть чем похвастаться. У него есть знакомый… знаете, где? В Кексхольмском кружке!

— Да ладно! Бред! — Хан не впечатлен.

Тереш и ухом не ведет:

— И этот человек из кружка — допустим на минутку, что кружок и правда существует — он там… вроде как главный. Очень плохой парень. И очень опасный. Через несколько лет после исчезновения девочек глава кружка приходит к Диреку и рассказывает, как он вместе со своими друзьями их похитил. Да, кстати: они любовники — Дирек и лидер кружка.

— Очень мило.

— И Дирек не должен никому ничего говорить, иначе его убьют. Вот так. Но Дирек всё равно рассказывает Хирду. И вы не представляете, что…

Хан и Йеспер молча шагают вперед. Никто не задает вопросов. Только Йеспер сдержанно кивает.

— В общем, эта история была… хм… впечатляющей, даже в формате общения Хирда и Дирека. На этого Дирека я тоже кое-что накопал. Что смог найти в кронштадских бумагах. Педераст. Промышлял, в основном, в семье, лапал детей сестры. Но дальше дело не зашло. В конце концов сестра на него заявила. В тюрьме Дирек был паинькой. Говорил пастору, что раскаивается, рассказывал, что его «как будто что-то заставляло это делать», — говоря это, Тереш скептически шевелит пальцами, — и всякую прочую чертовщину.

Тыльная сторона дома престарелых укрыта деревьями. Веранда с белеными деревянными перилами, к задней двери ведет каменное крыльцо. Хрупкая деревянная архитектура, стены выкрашены красным, как в старину. Дом из прошлого Ваасы, как раз такой, чтобы напоминать

обитателям о молодости. Каштаны роняют последние листья на крышу «Хюмнинга».

— Сейчас Диреку, должно быть, уже семьдесят. Или семьдесят пять, считайте сами. И знаете, почему его освободили досрочно?

Хан и Йеспер не знают, почему Дирек Трентмёллер, гомосексуальный любовник главы Кексхольмского кружка педофилов, осужденный за растление несовершеннолетних, был досрочно освобожден из тюрьмы.

— Из-за старческого слабоумия.

— Что? В шестьдесят лет? — Йеспер догадывается, какими проблемами это грозит.

— Примерно так, да.

— И что, он совсем невменяемый?

— Не знаю. Там не было написано, насколько тяжелым было его состояние. Так или иначе, оно ухудшалось. И быстро. Посмотрим.

Хан вслед за остальными поднимается на крыльцо дома престарелых. Они втроем стоят перед деревянной арочной дверью. Тереш звонит в звонок.

— Рисунок… — отдувается Хан, упершись руками в колени. — Откуда у Хирда рисунок Анни?

— Он у них вроде реликвии. Переходит из рук в руки. Если найдем человека, от которого он пришел, у нас будут похороны. Это я вам обещаю. Можно будет наконец-то начать жить,— Тереш снова звонит, в этот раз уже немного раздраженно. — Никто бы не узнал, если бы не Хирд. Глава Кексхольмского… — поймав взгляд Хана, Тереш поправляется: — …лидер гипотетической группировки из Кексхольма показал его Диреку, а Дирек Хирду. Мне кажется, Хирду просто стало любопытно. Захотелось посмотреть, что будет.

Тереш злорадно ухмыляется.

Вааса дремлет в блаженном покое пятидесятых. Зима подходит к концу. Сосульки на карнизах тают, и капель протачивает лунки в наледи на тротуарах. Дни становятся длиннее, и где-то далеко, во дворе одной из школ в центре города, Свен фон Ферсен набрасывается на толстого мальчишку-иммигранта. По-твоему, Молин не обидно слушать такие сплетни? А? Как считаешь? Тереш стоит поодаль, у ворот, и не решается вступиться. Он надеется, что Йеспер не выдержит первым. Отражение.

Продавец линолеума шагает по тротуарам пригорода, его сапоги в соляных разводах от тающего снега. Продавец линолеума не спал всю ночь, его глазам больно от ярких солнечных бликов на льду. Руки трясутся от кофе, голова гудит. Нервы синюшно-красные; пульсирующая эстафета сигналов. Тысячи картин из ночного разговора

распирают Продавца линолеума, он сует руку в карман; в кармане снизу прорезана ножницами дыра. Он ездит кругами на конке и каждый раз выходит на остановке «Фáлу» и ныряет под мост; там он смотрит на ивовый куст и снова садится на трамвай с другой стороны дороги. Продавец линолеума прислоняется головой к окну. Иногда он засыпает, но даже тогда воображение продолжает работать, тень принимает всё более вычурные позы, раздвигает ноги перед Продавцом линолеума. Даже во сне желание его не отпускает. Но Продавец линолеума держит свои нервы в узде. За окном трамвая часы бьют два, в школе заканчивается смена. Челюсти Продавца линолеума дрожат, он не спит. Вагон заполняется детьми. Дома, в гараже, выставлены демонстрационные рулоны линолеума. Сейчас он живет здесь. В Ваасе, в Кексхольме. Он гуляет по улицам Ловисы. Продавец линолеума висит, ухватившись за поручень. Ему хочется свернуться в клубок. Какая-то дама странно на него смотрит. Он видел ее раньше. Она ехала с ним в трамвае. И вчера тоже. Так больше нельзя, пора делать выбор. Следующая остановка — «Фалу», Продавец линолеума выходит. Он сворачивает под мост и смотрит на иву своего вожделения. Ему больше не вытерпеть. На ивовых ветвях тают крошечные льдинки, дыхание Продавца линолеума согревает их. Кап-кап. Солнце сверкает в капле воды, а по ту сторону ивового куста проходят видения. Четыре в ряд. Самая маленькая болтает не переставая. Щебечет, щебечет, щебечет. Это самый прекрасный момент в жизни Продавца линолеума. Он хочет их. Потом он покончит с этим. Он убьет себя и избавит мир от Продавца линолеума. Но сначала — они.

От запаха сердечных капель мутит. Йеспер потирает шею, нервно поправляет галстук в вырезе джемпера. Кажется, будто все эти мази для суставов каким-то образом оказались у него на коже. Непонятно, зачем кому-то так цепляться за жизнь. Белые кружевные занавески подвязаны с двух сторон окна, что-то движется по стенам палаты, притворяющейся комнатой Дирека Трентмёллера. Тени ветвей на цветочном узоре обоев. Иногда мимо с шумом проезжает мотокарета, и в свете фар тени оживают и движутся в сумерках. В желтом свете настольной лампы. Слои цветов и древесных ветвей скользят друг по другу. Смерть — это слово так редко звучит в разговорах друзей, что кажется, будто ее и не существует. Все просто исчезают, уходят.

Потом, когда настанет время, Йеспер выйдет в декабрьский холод. Свет кубического дома остался далеко за спиной, лыжные тропы ведут его к краю города. Там расстилаются покрытые снегом невозделанные поля, и Йеспер идет через них туда, где темнеет стена деревьев. *Zig-zag dröm*, еловые лапы гладят его белое пальто. Темный лес, темная зелень глаз. В холодном воздухе, словно бубенцы, звенят голоса девочек, они

ждут… под вечными льдами, в остававшейся нетронутой миллионы лет экосистеме; глубоко в Легких Граада, куда не должна ступать нога человека. Йеспер никому об этом не расскажет.

Полки в комнате, или, скорее, палате Дирека заставлены всякой дребеденью. На маленькой книжной полочке стоят семейные фото в рамках. Поблескивают стеклом. Йеспер не решается смотреть на эти фотографии. Дочки, племянницы? Эти медсестры когда-нибудь здесь убирают? Над кроватью висит серебристая икона Долорес Деи, а под иконой, сложив на коленях морщинистые руки, сидит Дирек Трентмёллер, укутанный в клетчатый плед. На его шее блестит крошечный серебряный крестик. У изголовья стойка для капельницы.

— Знаете, ребята, моя память… Завтра я вас уже не узнаю. Это лучшее, что со мной случалось. Это благословение — для человека вроде меня. Иногда я просыпаюсь и даже свое имя не могу вспомнить. Не помню, кто я есть. Что уж говорить о таких вещах…

Тереш стоит перед занавесками, заложив руки за спину, и пристально изучает оконные рамы.

— Ну, сейчас вы выглядите довольно неплохо. — Он оборачивается. — Кто показал вам *рисунок*? Спину Анни-Элин Лунд. Кто это был?

— Господи… — Господин Трентмёллер трясет головой, его покрытое печёночными пятнами лицо сразу выглядит усталым.— Я больше не помню такого. Я не помню даже того, что хотел бы помнить. Я сына своего не помню. А вы про такие вещи…

— Вы тратите мое время Дирек, — Тереш присаживается перед стариком и кладет руки ему на колени. Хан с ужасом смотрит, как агент Мачеек буравит взглядом мутные глаза Дирека. — А теперь постарайтесь вспомнить: вы сказали своему сокамернику, Видкуну Хирду — вы же не станете утверждать, что не помните *Видкуна Хирда*? Как такое забудешь? Вы ему сказали… — Тереш берет старика за подбородок и разворачивает его лицом к себе, — вы меня слышите? В тюрьме вы рассказали **Видкуну Хирду**, что знали того, кто похитил сестер Лунд с пляжа в Шарлоттешеле двадцать лет назад. В доказательство вы нарисовали ему родинки одной из девочек. Дирек, рисунок совпадает!

По дряблым щекам господина Трентмёллера катятся слезы.

— Дирек! Эй! Рисунок совпадает!

— Я встречался… Я ходил в парк… Я не помню, я не хочу…

Дирек по-старчески хнычет, но Тереш злится всё сильнее. Его верхняя губа приподнимается, обнажая прокуренные зубы. Дирек отшатывается, словно увидел призрака, но Тереш успевает накрыть кнопку экстренного вызова ладонью:

— Если вы о *проблемах с памятью* — это никак не помешает вам сотрудничать со следствием! У нас теперь есть одна машинка. Как ложечка для мороженого, Дирек. Ей я могу достать всё, что мне нужно, прямо у вас из головы, и вот это…

— Тереш! — Хан встает со стула и берет его за плечо.

— …это будет настоящее благословение!

— Тереш, не начинай!

Йеспер ничего не понимает. Он в замешательстве смотрит, как агент нависает над Диреком, загораживая рукой кнопку вызова. Хан сердито трясет его за плечо:

— Ты знаешь, что это тебя погубит, Тереш, ты сам это знаешь. Нам нужен кто-то в Международной полиции. Нельзя, чтобы тебя уволили. У меня тоже кое-что есть, нам не обязательно…

Тереш успокаивается.

— Ладно. Йеспер, дверь.

Йеспер выглядывает в пустой коридор. Дом престарелых вечером тих, как будто заброшен. Он закрывает дверь. С бешено колотящимся сердцем, дизайнер прислоняется спиной к стене и нервно ерошит светлые волосы. Воздух в комнате кажется густым, и Йеспер видит, как старик трясется на кровати, руками закрывая лицо от Тереша.

— Продавец линолеума, — произносит агент Международной полиции.

Печальные, окруженные морщинами глаза старика округляются, брови ползут вверх.

— Кто?

— Продавец линолеума. Ваш друг. Человек, который это нарисовал. Тот, кто рассказал вам о девочках. Кто это? Кто, Дирек?!

— Он… он просто… — Дирек больше не хнычет. Слезы высыхают на его щеках. Закутанный в плед старик падает на кровать, словно пораженный молнией. — Просто Продавец линолеума, и всё. Так у них было принято. Они называли себя вот так, по профессиям. — С его губ слетает измученный вздох: — Боже, помоги мне…

Внутри тихо, за окном проносится одинокая мотокарета, и по стоящему возле двери Йесперу пробегают тени деревьев. Хан аккуратно оттесняет Тереша в сторону.

— Спасибо, Дирек. Вот видите, всё хорошо. — Он смотрит на старика под пледом своими большими миндалевидными глазами. — Вы нам поможете найти этих девочек, правда?

— Два места, — шепчет Тереш Хану.

— Два места, Дирек. Назовите два места, где бывал этот человек. Где он жил, в каком районе. Вы знаете?

— В Кексхольме, они все были из Кексхольма.

— Очень хорошо. Отлично. А теперь еще одно место. Подумайте, Дирек, подумайте, где еще бывал человек с линолеумом. Помогите нам найти девочек. Куда он ходил?

— Он следил за ними… на пляже. Из гостиницы.

— «Хавсенглар»? — Тереш нервно вышагивает перед окном.

— Пожалуйста, я не помню…

— Есть, — кивает Тереш и делает два шага к двери. — «Хавсенглар». Пошли!

Восемнадцать лет назад. Видкун Хирд сидит за самодельным письменным столом в углу камеры, ко лбу прилипла прядка волос, по-старомодному зачесанных набок — пока эту прическу еще можно назвать «классической». Видкун еще молод. Относительно. Лоб еще не покрылся складками, щеки только начинают обвисать нордическими брылями. На столе лежит кипа рукописных листов. Философия будущего, историческая, евгеническая универсальная теория. Она объясняет все, что происходит в мире; это наследие, которое он оставит человечеству.

«Видкун Хирд: "Видкун Хирд"» — написано на картонной обложке жирными буквами. На стенах две откидные койки, дневной свет проникает в камеру сквозь маленькое оконце под потолком.

На одной из коек лежит Дирек Трентмёллер. Пожилой. И какой-то рассеянный. Он снимает с шеи серебряный крест, мгновение смотрит на него, и вдруг начинает смеяться.

— О! Тебе это понравится! Мне кажется, в этой истории тоже есть кое-что сверхчеловеческое. Приключения, наука, и всё это, без сомнения, за гранью добра и зла.

Просто праздник души! Дирек говорит, а Видкун делает заметки. Деловито кивает. Просит подождать минутку и берет новую баночку чернил. Луч света из окна ползет по полу и забирается на стальную дверь. Темнеет, и Видкун зажигает настольную лампу. Он поднимает исписанный лист перед собой и дует на него.

Славные, славные времена.

Дирек разворачивается посреди камеры и подходит ближе к Видкуну:

— А знаешь, что еще он мне рассказал? Продавец линолеума. Я никогда этого не забуду! Он провел над ними «блестящий хирургический эксперимент». Он «срастил их вместе». Самая младшая умерла. Остальные выжили. Вот такие дела.

Продавец линолеума. Продавец линолеума. Продавец линолеума тянется за туалетной бумагой. Снаружи в номер в «Хавсенгларе» проникает соленый морской воздух — с балкона, где на циновке стоит

телескоп. К телескопу подсоединен специальный фотоаппарат. Продавец линолеума выходит на улицу и бродит по окрестностям.

Он читает расписание у остановочного павильона. Но последний трамвай уже ушел в город. И увез девочек. Тепло летнего вечера наполняет сердце мужчины нежностью. Он снимает сандалии. Он ступает босыми ногами по теплому асфальту. Асфальт светлый и шершавый. Трамвайные рельсы прохладные. Вечерний Шарлоттешель. Мужчина любит его. Он любит девочек. Любит пляж, где всё остальное уже не важно. Он влюблен. Со мной такого никогда не произойдет, думал он в полярном поселке, где в небе змеилось северное сияние. Парочки в оранжереях. Снегопад за стеклом. Это никогда не случится с Продавцом линолеума. Но он любит этот пляж. И этих девочек. Особенно одну. Особенно вот эту. И остальных тоже.

Песок под босыми ступнями. Между пальцами ног. Нагревшийся за день. А потом влажный. Он гуляет вдоль линии прибоя, из садов доносится музыка, вдали между соснами светятся окна домов. Идет дальше, под обрыв, где никто его не увидит. Камни под босыми ногами прохладные и скользкие от воды. Где его обувь? Он не помнит. Он ступает по камням под обрывом, волны плещут ему на брюки со стрелками. В мягком сумраке он опускается на колени и смеется. Шумят сосны. Купаться! Он спускается в воду по камням, и никто не видит, как он счастлив. Его брюки намокли, он поскользнулся и ушиб колено. Ну и что! Вода темная и теплая, а небо усеяно звездами.

— В «Телефункен!», — щелкает пальцами Йеспер. — Это недалеко, и у меня там есть знакомые. Можешь звонить оттуда сколько душе угодно, Тереш. Твори свое волшебство, — он снова поднимает руку: они втроем пытаются поймать такси на единственном шоссе Ловисы. Кареты проносятся мимо и въезжают на эстакаду дальше по дороге. С другой стороны шоссе высится стена деревьев, по вечерам машин немного. — Сейчас полдесятого, мы успеваем.

Хан с трудом нагоняет остальных.

— Не знаю… Чего ради мы так спешим. Давайте сперва всё обсудим.

— Что тут обсуждать, надо звонить и узнавать. Мы еще можем успеть сегодня. — Тереш, как и Йеспер, изнывает от близости цели: он голосует даже тем такси, у которых не горит желтая табличка. — Сколько можно ждать. Тебе самому еще не надоело?

— Правильно. Лично с меня хватит. — Йеспер подпрыгивает на одной ноге. Проезжающая карета обрызгала его грязью.— Если думаете, что меня волнует, какими ужасными, *губительными*, как драматично выразился Хан, приборами ты, Тереш, пользуешься, то мне всё равно. Ты делаешь свою работу, и у тебя нет времени. Три дня — это время, в течение которого шанс найти кого-то живым, особенно ребенка,

с каждым днем уменьшается вдвое, с *каждым днем*. Сто, пятьдесят, двадцать пять процентов, Хан. Что бы ты сделал в такой ситуации?

— Это неважно! Чёрт! — Дождь в нижних слоях атмосферы тихо превращается в осеннюю грязь под ногами. Хан едва успевает увернуться от фонтана грязи из-под колес. — Далось вам это такси, остановка прямо напротив! Йеспер, ты ничего не понимаешь, ты не понимаешь, как это работает! Долбаный мескин… лизергин…

— Есть! Поймал! — Йеспер бежит за такси, тормозящим на обочине, и, оглядываясь, кричит: — И что бы ты без них делал, играл в «хорошего полицейского»?

— Слушайте, хватит уже… — ворчит Тереш, устраиваясь у окна на пахнущем кожей сиденье.

Хан вваливается в салон и пыхтит:

— Йеспер, ты, кажется… ты не понимаешь… всё это… эта дрянь… она *нелегальна*. Во всех странах, подписавших Декларацию… Между прочим, это именно те страны, где у Международной полиции есть эти, ну…

— Полномочия, — заканчивает за него Тереш и говорит в решетку водительской кабины: — «Телефункен».

В салоне на миг становится тихо. Карета срывается с места. Грязь чавкает под колесами. Йеспер пытается найти аргументы, но тут Тереш признаётся:

— Да. Я использовал аппарат на Хирде. Так я решил. Он бы нам никогда — *никогда* — ничего не сказал. Он просто сидел бы и глумился. Он бы два часа рассказывал мне о скрещивании гойко и киптов, вот и всё.

— Тереш, — в голосе Хана слышатся плаксивые нотки, — тебя же уволят!

— Всё под контролем. И знаете что? Я больше не хочу об этом говорить.

Следующий день. Теплый летний дождь искрится в подзорной трубе Продавца линолеума. Картинка вздрагивает, когда он поправляет штатив, а после выравнивается — четкая, ясная. У Продавца линолеума звенит в ушах. Солнце сияет сквозь облака, дождь льется на гостиничный балкон. Мокрая полоса расползлась больше, чем на половину тростниковой циновки. Дождь шелестит по пляжу внизу, но у себя в голове он слышит, как капли весело барабанят по пляжному зонтику. Белому в красный цветочек пляжному зонтику в глазу телескопа. Он почти в километре, на обрыве, но Продавец линолеума протягивает руку под дождь. И трогает. Отойди, толстяк. Продавец линолеума купил в городе женский журнал. На обложке была модно одетая Анн-Маргрет Лунд, женщина-политик. А внутри — фотографии. Анн-Маргрет в своей прекрасной квартире. И рядом с ней, на диване

кофейного цвета, ее четыре дочери. Под фотографией в строчку написаны имена и возраст.

Анни-Элин…

Каких только историй он не придумывал в день, когда впервые их увидел. Ужасные вещи. Всё, что он бы с ними сделал. Продавец линолеума — врач, он доктор. Доктор Продавец линолеума. И он велит им сделать вот так. Пройтись перед ним. И даже это не могло его насытить. Как пылали тогда его ненасытные нервы, эти нервы хотели сожрать их заживо. И как это всё вдруг отступило, когда он оказался здесь. Что за место! Они болтали, сидя на двух противоположных сиденьях трамвая. Прямо у него за спиной. И Продавец линолеума чувствовал запах их светлых, светлых волос. Трамвай покатился по склону, кони перешли на рысь. Пляж сам пришел к нему, а не наоборот. Это они вчетвером привели к нему пляж. Над асфальтом висела пыль, покачивался тростник, и солнце сияло на бледно-голубом небе. Здесь было совсем не так, как на других пляжах, — в Арде или тут же в Ваасе, в Эстермальме, — где обливался потом Продавец линолеума. Где он ерзал среди безобразных, похожих на моржовые туши, тел, преследуя взглядом маленьких моржат. Это было совсем не похоже на бассейн в Елинке, где глаза у Продавца линолеума покраснели от хлорированной воды, и ему пришлось прождать два часа, чтобы выйти из бассейна.

Ветер взъерошил его волосы. Какой простор! Весь мир мог бы уместиться здесь. Дул ветер; он снял номер на последнем этаже отеля, чтобы ветер задувал туда и охлаждал Продавца линолеума.

Он смотрел на них с нежностью, не решаясь спуститься на пляж. Приблизиться к ним. Он сгорел бы дотла, если бы к ним прикоснулся. Он делал фотографии. Фотоны совершали свой путь, тот самый свет, который покрывал загаром спину девочки, отражался от ее родинок и выжигал следы на угольно-черном негативе. Белые точки, как звезды в ночном небе. Выдержка памяти. Он набросил на шею удавку, петлю из простыни, и стал мастурбировать. В последний раз. Простыня дрогнула от его дыхания, и вместе со спермой его тело покинул Продавец линолеума. И исчез.

Память о Продавце линолеума и обо всем, что он видел, тускнеет день ото дня. Капли бьют по зонту, и Анни протягивает руку к дождевым струнам. Проснувшись этим утром, Он уже не помнил Продавца линолеума. В фотосалоне Он увидел семейную фотографию, и маленький моржонок напомнил Ему о нем. Он и после этого еще вспоминал Продавца линолеума, но всё реже и реже. Анни крутит головой под дождем, ее белая коса прыгает по спине. И в телескоп на нее умиленно смотрит один лишь Он.

В тысячах километров, в двадцати годах и двух месяцах от них, по ту сторону Зимней орбиты, стоит в ледяном плену метеорологическое исследовательское судно «Родионов». Сейчас половина двенадцатого полярной ночи. В лучах прожектора перед судном лежит Северный перешеек, ледяная тень. По палубе мечутся люди в тулупах, серебристо-серые воротники подняты до самых меховых шапок. Команда в панике. Там, где тьма словно бы мутнеет, а перспектива бесконечно уходит вдаль — без малейшего ощущения горизонта — начинается Серость. Люди чувствуют и боятся ее, хотя ночью на расстоянии больше ста метров ничего разглядеть невозможно. Антенный блок исследовательского судна шлет в эфир отчаянный сигнал бедствия вместе с показаниями измерительных приборов. Ретрансляционная станция в Катлинской области Граада принимает этот радиосигнал, искаженный чудовищным кривым зеркалом надвигающейся Серости: «*Sector-Oreol-Sector, Sector-Oreol-Sector…*»

Раздается треск, и ледяной покров выгибается к небу под серым потоком; вой шквального ветра — словно повернутая вспять и в десять раз замедленная музыка. Серость — лавина из воспоминаний мира — приближается и погребает под собой материю, неотвратимо и жадно. Ясное ночное небо, звезда за звездой, исчезает за ее катящимся гребнем.

На орбите спутник связи «Икон» наблюдает, как у побережья Катлы Серость одной волной накрывает весь Северный перешеек. Тонет Самарская пустыня, каменистая равнина в Южной Самаре; изола Мунди теряет половину Супрамунди. Серость клубится, свивается кольцами, неспешно копит силы, чтобы восстать против материи. Центры ее циклонов раскрываются бездонными зевами. «Азимут» на краю стратосферы фиксирует изменения. В непосредственной зоне энтропонетической катастрофы уже оказались Лемминкя́йсе, Над-Умайский таежный заповедник на северо-востоке Самары, ирригационная сеть Екоката́а и Северная Земля в Грааде, Семени́нские острова в Великом Синем. Отдаленные, пустынные уголки материального мира. Двадцать девятое сентября в начале семидесятых. Два вечера назад состоялась встреча одноклассников. Сейчас конец света.

А два часа назад в панорамном ресторане «Телефункен» Тереш Мачеек, поставив на столик телефон, потребовал у секретарши из отеля «Хавсенглар» зачитать ему *весь* список гостей за июнь и июль пятьдесят второго года. Стол завален едой. Телефон наполовину скрыт под клешнями омара. Хану очень понравились омары, и Йеспер объясняет ему, как высасывать из клешней мясо вместе с соком.

— Давай, пробуй, — говорит Йеспер и жестом показывает официанту, что тарелки из-под закусок можно унести. Сегодня они

ужинают как Йеспер. И за счет Йеспера. А Йеспер любит хорошо поесть. Он не перебивается с риса на макароны.

Хан обсасывает клешню:

— Ну, не знаю, понятно, что это вкуснее, но к рису и макаронам можно еще добавить *пельмени*...

Йеспер отпивает воды со льдом.

— Тереш, я могу взять Кексхольм на себя. Я проектировал там квартиру для одного педиатра, а он знает застройщика. Думаю, у него должен быть доступ к — как это называется...

— Реестр жильцов,— говорит Тереш. Его плечо ноет от напряжения. Правда, юго-граадское красное здесь такое хорошее, что просто грех не выпить. Потом он снова кладет трубку на плечо. Один раз секретарша уже бросила трубку. Тогда Тереш позвонил в администрацию и попросил передать: «Смерть четырех маленьких девочек будет на вашей совести». Это подействовало. Хан держит перед ним, рядом с бокалом вина, раскрытую записную книжку: на волнистых от записей страницах — больше двух тысяч имен.

— Осталась половина, всего две тысячи.— Его голова трещит от Ларсов, гудит от Бергов, Оке мелькают перед глазами, словно огни поезда.

— Окей,— Йеспер разворачивает салфетку, сложенную в идеальный конус, и вытирает рот, — сейчас половина двенадцатого. У нас полтора часа, потом ресторан закроется. Я могу выторговать два с половиной. Так. Пожалуй, я возьму реестр жильцов. Официант приносит к столику еще один телефон. Остальные гости со сдержанным любопытством наблюдают, как ужинает эта троица. Худощавый гойко второй час подряд монотонно проговаривает имена и записывает их в книжку. Полный смуглокожий мужчина в черной рубашке Perseus Black с двойной застежкой на воротничке приподнимает очки, разламывает клешню омара, а потом машет рукой даме в шляпке за столом напротив. Записная книжка, которую он держал, тут же закрывается, и Тереш путается в страницах.

— Тьфу ты, Хан, у тебя работа проще некуда. Давай ты ей займешься!

— Тереш, ради бога, давай возьмем вот этот блокнот.

— Нет. Всё должно быть в этой книжке.

— Да что в ней такого особенного?

— Дирек Трентмёллер,— произносит Тереш прежним механическим голосом. А потом смотрит на Хана, широко раскрыв глаза:— Дирек Трентмёллер! Алло! Вы уверены? А какие-нибудь заметки о нём есть?

— Отпуск.

— А еще что-нибудь?

— Продавец линолеума, — устало отвечает секретарша на другом конце телефонной линии.

— Дирек, чёрт его дери, Трентмёллер, семнадцатое – двадцать четвертое июня. Продавец линолеума.

Йеспер бьет кулаком по столу, который сам спроектировал пять лет назад.

Хан кладет клешню омара на тарелку:

— А вот теперь настало время ZA/UM.

Диреку Трентмёллеру снится Продавец линолеума. Всё, что видел Продавец линолеума, кружится перед его глазами, словно однородная масса из плоти и тьмы. Иногда он просыпается. И не может уснуть. Потом вихрь из плоти и тьмы возвращается, Дирек засыпает. Во сне Дирека Продавец линолеума — его любовник. Другой человек. Сквозь разбухающее бесформенное воспоминание доносится щелчок. Скрип деревянного окна. Дребезжание стекол в рамах. Потом глухой стук, и Дирек просыпается.

Смерть. Должно быть, это смерть. Темно-коричневые цветы на обоях. Тени от веток шевелятся, а шторы развеваются на ветру. Да, всё так, как всегда представлял себе Дирек. Длинная худая фигура снимает серое в елочку пальто перед открытым окном. Там кто-то еще! Толстая смерть в шапке слезает с подоконника на пол и шепчет: «Окей, я внутри. Посмотри, всё ли чисто».

Длинная смерть подходит к кровати и отключает кнопку вызова. Толстая смерть зажигает настольную лампу и, подойдя к Диреку, ласково проводит рукой по его волосам. Эти большие темно-карие глаза кажутся знакомыми.

— Дирек. Не волнуйтесь. Нам кое-что от вас нужно. Мы хотим, чтобы вы кое-что вспомнили, и для этого мы сделаем вам укол. Это не больно. Это будет как сон.

Дирек слышит щелчок чемоданного замка, и длинная смерть зажимает ему рот рукой в кожаной перчатке. Пахнет чем-то странным, всё расплывается, добрые темно-карие глаза смотрят на него.

— А если он и правда не помнит? Как тогда это сработает?

— Увидим.

Дирек Трентмёллер открывается перед Терешем. И вот уже Тереш становится кошмаром на границе яви и сна. Тигром, бредущим по кромке воды. Он всегда рядом, всегда настороже. И всюду, где бы ни оказался Дирек, тигр крадется за ним, принюхивается и находит Продавца линолеума. Он преследует его в Норрчёпинге, городе в ардских фьордах, на магнитном поезде, в полярном поселке Елинка, и в каждом темном закоулке, куда заходит Продавец линолеума, сияют

фосфорным светом его глаза. Он прячется в подвале с низким потолком и бетонными стенами, где Продавец линолеума корчит рожи племяннице. Когда тот наконец добирается до Ваасы, тигр ждет его на магнитовокзале, вылизывает лапы, сидя в конце платформы — там, куда не достает свет фонарей. Тигр шелестит ольховником в парке, и Продавец линолеума вздрагивает от страха. Когда он прогуливается по улицам Ловисы весенним утром, с дырой, прорезанной ножницами в кармане брюк, перед ним вдруг открывается сердце тигра. Там, внутри, он видит школьный двор, дерущихся мальчишек.

Когда Продавец линолеума приезжает в Шарлоттешель, Тереш парит над ним в восходящем потоке, он хищная птица, он наблюдает. У него орлиные глаза, он видит всё. И вот в одну из ночей он видит, как Продавец линолеума исчезает в гостиничном номере на верхнем этаже «Хавсенглара». Половины тех, кто был там, больше нет. День за днем Продавец линолеума забывает о своем существовании. Пока, наконец, не остается только дряхлый, слабоумный Дирек Трентмёллер.

«Линолеум, линолеум, линолеум… — бормочет он, — а есть вообще такое слово, "линолеум"?» — Странное, странное чувство потери. Но это не из-за линолеума. Продавец линолеума оплакивает себя, иногда вспоминает себя и представляет себе жизнь, в которой он не исчезал. Он рассказывает непристойности и читает мемуары Видкуна Хирда. Предается привычным фантазиям. Дирек Трентмёллер тоскует совсем о другом.

Двадцать девятое августа двадцать лет назад, ему нехорошо. Случилось страшное, он не мог уснуть всю ночь, утренняя газета осталась лежать на полу в ванной. Четыре дочери министра образования пропали без вести. Дирек Трентмёллер не может дышать, его мир сломался, время сошло с рельсов. В свете красной лампы фотограф-любитель рассматривает фотографии, сделанные с гостиничного балкона. У него трясутся руки; он мог бы поклясться, что *они* там были. Он в этом уверен. Но на бельевой веревке на прищепках висят фотоснимки, и на каждом из них — *horror vacui*. Ничто.

На фотобумаге, плавающей в ванночке с проявителем, проступают контуры обрыва. Бледное летнее небо. Но *их* там нет.

Хан и Йеспер волокут к такси Тереша, который то приходит в себя, то снова отключается. Его ботинки скребут по земле, его трясет. Голос Йеспера искажается, будто в кривом зеркале. Йеспер… Все-таки Йеспер — отличный парень.

— Тереш, Тереш! Не спи. Что нам с тобой делать?

— Он этого не делал. Это был не он.

— Окей, а с тобой нам что делать, отвезти в больницу? Тереш!

Голос Тереша еле слышен:

— Что теперь делать?

— Не знаю, ты скажи! Везти тебя в больницу, или отоспишься?

Тереш пытается встать на ноги.

— Нет, вы не поняли. Это тупик. Простите… Я не знаю, что делать дальше.

Хан придерживает голову Тереша, когда они вдвоем усаживают его в такси.

— Погоди, тигр. Сперва ты проспишься. Дальше буду действовать я. У меня есть план.

Тереш теряет сознание. Всё исчезает.

9. БОЖЕСТВЕННЫЙ И СТРАШНЫЙ АРОМАТ

Что за божественный и страшный, загадочный аромат витал тогда в воздухе? Меня зовут Амбро́зиус Сен-Миро́, суру говорят «Амброзиус Пюхя-ми́ра», а граадцы называют меня Святами́ром. *«Diduška?»* — спрашивают они с распахнутыми от обожания глазами, но я отвечаю им: «Нет. Я вам не *diduška*». Я Амброзио Санта-Мира в Меске, Амвросиос Агиами́ра у кипаридов, я амброзия, святой мир. Ты избрал меня, наделил меня властью над твоей жизнью, твоими взглядами, шкафчиком, где ты хранишь свои мысли. Те, что будешь обдумывать перед сном и на следующее утро, у окна в общественном транспорте. Но то, что делаю я, больше не подлежит обсуждению, здесь не нужны аргументы, нет стороны, которую можно бы было принять. Время сомнений прошло.

Я могу явиться когда угодно, и мой приход знаменует смену эпох. Это огромное счастье — жить в одно время со мной. Я непогрешим, и ты теперь тоже. Твое решение может быть правильным или ошибочным. Мое решение — это то, чему суждено быть. Во времена, когда идея Бога еще казалась вам интересной, я был Пием Перикарна́сским; я был Эрно Пастернаком, когда вы хотели, чтобы вас предали и принесли в жертву. Я заставлял вас петь мне пастернакалии. Славословия моей жестокости и моей бессмысленной войне. Потому что вы хотели меня ненавидеть. Я был Франконегро; вы были националистами, вы хотели мировой валюты с черными банкнотами и милитаризма. Вы хотели работать на заводах и служить Богу. И архитектуры в средневеково-индустриальном стиле, чтобы жить под бетонными сводами. Я был женщиной, Долорес Деи, когда вам казалось, что вам нужна мать, идеальная мать. У меня была красивая грудь, я была молода, и вы тоже, вы хотели влюбиться в меня, и я позволила вам это. Вы хотели гуманизма, новых надежд, заботы о ближнем. Я отдала вас в школу и научила языкам. Вы устали от меня, и я умерла. Вы захотели мир, в котором меня бы не было. И я стал для вас светочем Солой, равнодушной девочкой, которая сидела сложа руки и смотрела, как вы совершаете перевороты. «Ах, так, ну тогда делайте что хотите, ошибайтесь и ничему не учитесь», — думала я.

Я был обывателем. Я путешествовал из страны в страну, посещал одну *insel* за другой и знакомил вас с моими идеями. И куда бы я ни пришел, я заражал вас упадничеством и нигилизмом. Я рассказывал по радио, что всё в мире неправильно и неважно, всё *egal*, *pohui*, какая разница? Президенты, короли, принцы и шейхи — все боялись меня и не хотели пускать меня в свои *suzerainty*. Меня не хотели видеть ни в издательствах, ни на киноэкранах, ни на ток-шоу. Но потом я начал раздавать автографы в книжных магазинах, и вот тогда они поняли! Я собирал толпы. Я выступал по радио, и рейтинги росли. Я был

невероятно популярен. И я благодарю тебя за то, что ты сделал меня счастливым. Они пригласили меня к себе на ток-шоу, и я показал, на какие мысли способен человек. Смотри, как прав ты можешь быть. И как остроумен к тому же: слушая меня, ты смеялся не переставая. Ты позвал к радиоле всю семью, и вы все вместе услышали, какие вы на самом деле особенные: «Я тоже мог бы завести себе *girlfriend*-супермодель, — сказал я, — но я выбрал одиночество. Это было бы по-обывательски. Дорогая супермодель, я, конечно, мог бы провести с тобой ночь. Мы бы славно повеселились, ты бы вся онемела от кокаина, как подушка, а я бы спринцовкой заливал молоко тебе в зад и смотрел, как оно вытекает наружу. Конечно, я думал об этом. Однако это уже был бы не *я*. Это противоречило бы всему, во что я верю».

Но это просто шоу. Ты выбрал меня не за это. Я был единственным, кто спросил: что за божественный и страшный аромат витал тогда в воздухе? Я не настолько слаб и высокомерен, чтобы *сказать* тебе, что это было. Я не стану притворяться, будто знаю, что для тебя — ужас и красота. Это тайна твоего сердца. Но так и быть — я дам тебе заглянуть в конец истории. Я разберу этот мир на части, срывая с него слой за слоем. На сей раз это не пустые слова, не фигура речи: это *realpolitik*. Я пойду в атаку. На Ревашоль, на Граад, и дальше. Этому не будет конца. Я буду открывать фронт за фронтом. И когда все, кто не присоединился ко мне, будут мертвы, а Серость поглотит весь мир — милости прошу! Вот терминалы, где можно прекратить свою жизнь. Ты можешь уйти, когда и как захочешь, это не имеет значения. Я эвакуирую весь мир. Мы будем жить в прошлом. Ты снова окажешься там — у поликлиники, на скамейке в парке! Вы снова вместе, стоите у парадной и разговариваете, и снова идет дождь. Вот твои друзья идут через площадь в заснеженном городе, и у них так же подняты воротники. Все, что осталось от этого мира — воспоминания, энтропонетическая катастрофа.

Ты никогда не мог сказать наверняка, что же это было. Даже когда твой взгляд был обращен вовнутрь, прямо к тебе в голову — ты не мог этого сказать. Призрачное, оно ускользало во все те давно исчезнувшие места, в необратимость. Я дам его тебе прямо в руки, оно будет благоухать в твоих ладонях, божественно и страшно, и ты наконец-то сможешь прижаться к нему лицом. Серость налилась цветами, они сочатся из прорех; я открываю жалюзи, и на промежуточных частотах проявляются, вселяя ужас, все утраченные краски прошлого. Всё возвращается.

Это то, к чему ведет нигилизм. Это уже не то, что *могло бы* быть, или чего могло бы не быть. Это то, что есть.

Весь мир — непосредственная зона энтропонетической катастрофы.

10. ДОБРОЙ НОЧИ, АННИ

Когда Йеспер возвращается в свой загородный дом, свет внутри не горит. Он проходит в гостиную, не включая свет, его глаза привыкают, очертания мебели понемногу выступают из темноты. Он даже не разувается. Дома тихо и чисто, огромное, в половину комнаты, окно недавно вымыто. Спальное место Тереша тоже прибрали. Тазик для рвоты исчез, паркет блестит. Грязь с зимних ботинок Йеспера впитывается в ковер из овечьей шерсти. Йеспер подходит к книжному стеллажу, который отгораживает спальный уголок от гостиной, и останавливается. Он смотрит на пакеты из бутиков: *Ozonne*, *En Provence*, *Tea Shop*. Пахнет зеленым чаем. На вешалке рядом со стеллажом висит крохотное серебристое платье. Ткань искрится в темноте.

Вытянув руки перед собой, мужчина проскальзывает за занавески в спальню. Тусклый ночной свет из углового окна падает на кровать. В постели, разметав по черной подушке светлые волосы, спит *girlfriend* Йеспера, фотомодель Анита. По телу девушки, выглядывающему из-под одеяла, бежит тень, ребра изгибаются; на ее груди — единственное родимое пятно. Йеспер наблюдает, как вздымается грудь девушки. Он пытается вспомнить. Четыре года. Они вместе уже четыре года. Сколько ей сейчас, девятнадцать? Йесперу тридцать четыре.

— Эй, просыпайся!

Девушка хнычет сквозь сон, как ребенок. Йеспер дует ей в ухо, прядь светлых волос рассыпается от его дыхания:

— Анни, у-уу, просыпайся, Йеспер пришел!

— М-мм… Йеспер, давай спать, — девушка подтягивает край одеяла под подбородок. — Здесь так хорошо, свежо…

— Слушай, я не могу, мне надо идти.

— Идти… опять? Куда?

— Просыпайся, поговорим. Хочешь, сделаю тебе чаю или еще что-нибудь?

— Я привезла тебе чай, видел? — модель смешанного ваасско-оранского происхождения потягивается, суставы скользят под одеялом, черные волны-тени катятся по его морской глади.

— Да, я видел, большое спасибо — ты очень заботлива.

Девушка сонно канючит, растянутые гласные — длинные, как ее ноги:

— Поговорим завтра, Йеспер, давай спать…

— Я же сказал: я не могу завтра, я ухожу. Йеспер смотрит ей в глаза. Тишина. Коротко шелестят часы с перекидными цифрами. За окном воет ветер.

Наконец девушка недовольно фыркает:

— Фу, опять в лес со своими друзьями, я тебя даже толком не видела. Побудем завтра вместе. Я же не просто приехала, а к тебе.

— Нет, ты не поняла, я ухожу *сегодня*.

— Сегодня? А который час?

Белые пластинки с цифрами тихо щелкают.

— Два часа ночи! Куда ты собрался? Ты такой странный в последнее время! — девушка приподнимается на локтях, ее рот встревоженно сжимается. — Я приехала к тебе, если бы не ты, я бы вообще никуда не поехала.

— Мне очень жаль. Правда. И еще — прости, что беспокою, но не могла бы ты на минутку встать с кровати, мне нужно ее подвинуть.

— Что у тебя там?

— Вещи.

Девушка стоит на холодном полу. Потирая одну ногу о другую, она растерянно наблюдает, как Йеспер двигает кровать. Ножки скрипят по полу, модель смешанного ваасско-оранского происхождения держит одеяло на плечах, будто мантию. Она очень красива, но это больше не имеет значения.

— Что ты собрался делать?

В ответ раздается стук по половицам: Йеспер встает на колени.

— Исчезнуть.

Крышка тайника поднимается, и Йеспер достает из него плотно набитый белоснежный чемодан.

— А когда ты вернешься после того, как исчезнешь?

— Мне кажется, лучший ответ, который я мог бы дать, звучал бы несколько цинично. Так что, пожалуй, ничего не буду говорить. — Стрекочет застежка-молния, и Йеспер вытаскивает из чемодана, из отделения для бумаг, пачку документов.

Девушка злится. Есть Йесперы, которые ей нравятся: Йеспер домашний, готовящий чай, Йеспер деловой, Йеспер, неловко проявляющий симпатию, — но такой Йеспер ей не нравится совсем.

— Пожалуйста, не говори со мной как с идиоткой, ты не на интервью для «Новостей культуры»!

— Хорошо, — Йеспер нервно скручивает бумаги в трубочку. — Помнишь, я тебе рассказывал про сестер Лунд? Что я их знал, что они пропали, и так далее.

— Это у моих родителей? — брови девушки всё еще подозрительно насуплены, но рот смягчается от воспоминаний. — Ты так напился!

— Видишь, вот поэтому я и не пью, — смущенно смеется Йеспер. Но ведь меня обязательно надо было уговорить.

— Ты был такой смешной!

— Смешной, — с горечью произносит Йеспер, — вот как. Окей. Я был смешной. Так или иначе, я иду их искать.

— Кого?

— Корнелиуса Гурди. Как ты думаешь, кого?

Великолепный костяк изламывается в коленях: привалившись спиной к стене, модель садится на пол. «Но ты же говорил, что это бессмысленно! Ты сам сказал, что с этим покончено. Или ты сам не помнишь, что говорил?

Йеспер похлопывает свернутыми бумагами по ладони и делает несколько задумчивых шагов по комнате, как бы советуясь с другим Йеспером — тем, что напился в летнем домике родителей Аниты. Очень неуместный инцидент. Очень неуместный Йеспер. Но всё же он в тысячу раз умнее и в тысячу раз лучше, чем этот бесполезный организм. Он ерошит свои светлые волосы бумажным свитком и говорит:

— Надежда есть.

— Йеспер…

— Пойми, я *должен,* — Йеспер вкладывает документы на недвижимость в сложенные на груди руки девушки. — Пожалуйста, останься здесь, забирай мой дом и живи. Квартиры в центре города продай, обе. Чем быстрее, тем лучше. Завтра утром цены начнут падать. Первым делом беги к моему брокеру, прямо с утра. Вот его номер…

Плечи девушки вздрагивают, но не слышно ни звука, только ветер скулит за окном. Йеспер опускается на корточки перед своей моделью, полы его зимнего пальто касаются паркета. Он кладет руку на плечо девушки.

— Слушай, я приготовлю чай, хорошо?

Часы с перекидными цифрами щелкают: «02:30». На полу дымящиеся чашки, квадратная сахарница с кубиками коричневого сахара и специальной ложечкой, чтобы их брать. Наливать чай в темноте непросто, но заставить себя включить свет еще тяжелее. «02:45».

— Я не понимаю. Что всё это значит? — спрашивает девушка после долгого молчания, сделав глоток чая.

— Ну а сама ты как думаешь?

— И всё это время ты держал здесь этот чемодан — девушка указывает пальцем на чемодан посреди комнаты, — как будто меня вообще никогда не было.

— Я собрал его задолго до тебя.

— И что, я должна была тебя переубедить?

— Ну, ты могла бы попытаться.

— Попытаться? Знаешь, что я про это думаю? — Модель рассерженно ставит чашку на пол. — Я думаю, эта история про сестер Лунд — полная чушь. Ты просто педофил.

Подлый удар. Потрясенный взгляд Йеспера незабываем. Девушка сама ужасается силе своих слов. На минуту, и только на эту минуту она сожалеет о них.

— Окей.

Не дожидаясь, пока она договорит, мужчина встает. Он берет чемодан и спокойно выходит за занавески. Гнев снова одолевает Аниту, и модель, голая и разъяренная, бросается вслед за Йеспером в гостиную.

— Можешь засунуть свой кубик себе в задницу! Я не собираюсь сидеть в этой занюханной Катле!

Пачка белых листов разлетается из ее рук по темной комнате, один за другим они приземляются на деревянный стол с исключительно красивой фактурой, на выложенный в елочку паркет. Йеспер даже не оборачивается, только останавливается и склоняет голову:

— А что ты собираешься делать? Поехать в Граад работать на заводе боеприпасов?

— Ты убожество! Ты и эти твои *девчонки*, всё это просто жалко. А ведь меня предупреждали! Я всё знала, еще до того раза у родителей! Все это знают! Но мне тогда было всего пятнадцать, я была такая дура… — Анита опирается рукой на кухонную стойку, чтобы отдышаться. — Анни — то, Анни — сё. Меня зовут не Анни!

Йеспер чувствует, как его руки холодеют. Слово «ненормальный» всплывает и начинает вертеться в его голове. Он вспоминает себя и юную модель, как они обнимаются, десятки и сотни раз подряд: «Доброй ночи, Анни. Доброй ночи, Анни. Доброй ночи». Такое счастье. Он засыпает, ветви деревьев тихонько стучатся в окно, как второй шанс. К чему грустить? Всё так, как ты мечтал!

Модель убегает обратно в спальню и кричит оттуда во внезапном приступе злости: *«Доброй ночи, Анни!»*

Человеческий мозг по своей природе добросовестен. Поначалу он отказывается считать возможным такое кошмарное совпадение. Но чем яснее разница между тем, что говорит разум и тем, что издевательски выкрикивает голос из комнаты, тем больше замедляется дыхание Йеспера. Как будто его тело вот-вот отключится, не выдержав стыда. Он поднимает бумаги с пола, лист за листом, и разглаживает их на колене. Он подбирает слова, еще не зная точно, против кого он хочет их направить. Скорее, против всего мира. Он возвращается в спальню, кладет бумаги на прикроватный столик и достает свой ужасный козырь.

— Ну и что ты намерена делать, вернуться в Ревашоль? Это сейчас не *лучшая* идея. Видишь ли, его больше нет.

Девушка сидит на кровати и в детском гневе натягивает вечернее платье, еще не понимая, о чем идет речь.

— *Этого города* больше нет, — повторяет Йеспер, и девушка в ужасе поднимается на ноги.

— В смысле?

— Ты знаешь, что с ними нет связи уже пять дней?

— Не знаю! Связи с кем?

— С Ревашолем. Его разбомбили. Совсем. Но ты ведь не любишь читать газеты!

— Ты же **шутишь**, правда?

Ослепленный жаждой мести, Йеспер еще не понимает, что делает не так. А когда понимает, уже слишком поздно. Девушка в панике хватает ртом воздух, ее руки трясутся. Ногти клацают по кнопкам, и в темноте загорается желтым шкала радиоприемника. Колесико крутится под пальцами, эфир завывает и хрипит в динамиках, пока стрелка на шкале скользит по коротковолновым частотам. Смешанные в кучу иностранные каналы профессионально тревожным тоном пересказывают новости. Космополитический разум модели выхватывает из них только ужасные отрывки: «мескийский агрессор», «Сен-Миро», «Ревашоль», «атомное оружие» и «половина населения». Девушка дрожит так сильно, что Йесперу становится страшно за ее здоровье. Кажется, что этот тонкий механизм вот-вот развалится на части. Наконец, радиоведущая из Ваасы наносит ей последний удар. Девушка оседает на пол, когда сквозь предоставленный Министерством иностранных дел список пассажиров прорывается дикторский голос, — такой, каким говорят только о реальных событиях: «…известная певица Пернилла Лундквист записывает свой третий студийный альбом…»

Большие глаза Аниты, широко распахнутые от ужаса, темнеют в полумраке комнаты. Она рыдает:

— Боже! Моя сестра! Там моя сестра!

— Соболезную, — произносит Йеспер.

— Ты точно знаешь? Откуда они знают?! Почему они ничего не **делают**?

— Не знаю. — Йеспер подхватывает чемодан.

Девушка дышит, как загнанная лошадь. Ее рот искривляется в чудовищном черном крике. Этот рот угрожает поглотить весь мир. Возможно, это и происходит, потому что дальше Йеспер не помнит ничего. В вакууме крика вихрем кружится слепяще-белый снег, бетон комнаты отзывается пронзительным эхом: «Не уходи!» С синяками от ногтей на запястье, Йеспер захлопывает за собой дверь и выходит во двор. Снаружи метель. Холодно, свищет ветер, но его кожа горит. Набрав горсть снега, он растирает им лицо. На краю двора, в устье тоннеля из елей, стоит черная мотокарета. Из освещенного салона выходит Тереш Мачеек и машет ему рукой. Йеспер в развевающемся на ветру пальто и с белым чемоданом в руке идет к нему через двор. Впереди пронизанный снегом ветер раскачивает ели, *zig-zag dröm*. И мир вдруг становится таким простым, как будто из него разом исчезли все смыслы. Он больше ничего не сто́ит. Йеспер улыбается.

В такси тепло. Машина качается, когда он падает на сиденье рядом с Ханом. Тереш закрывает дверь и наклоняется к нему.

— Как всё прошло?

— Ну, скажем так, не очень хорошо, — отвечает Йеспер, ненадолго взяв себя в руки. — Едем.

Ночь на понедельник, семь дней назад.

Город в окне такси взрывается огнями, как дискотека, Тереш дрожит и бредит. Йеспер крепко держит его:

— Слушай, у него, кажется, судороги. Плохо дело. Нужно везти его в больницу.

— Тереш, ты меня слышишь? — кричит Хан, склонившись над другом. — Сейчас мы отвезем тебя в больницу.

— Нет!— Тереш хватает Хана за куртку. — Пожалуйста! — Хан и Йеспер растерянно переглядываются и пожимают плечами. Лицо Тереша покрыто каплями пота. — Обещай мне! Поклянись, что ты меня не сдашь! — его подбородок вздрагивает; вдруг глаза у него стекленеют, а тело делается твердым, как деревяшка.

— Что за чёрт? — Йеспер встряхивает Тереша, подносит руку ему ко рту. — Дышит. Слушай, не знаю, может, правда, не повезем?

— Ладно, не повезем. И куда его, к тебе?

Йеспер тяжело вздыхает.

— Ох-х… Ну, значит, ко мне. Только вот что. Послезавтра из Ревашоля приедет моя девушка — думаешь, она нормально к этому отнесется?

Хан угрюмо мотает головой:

— Я-то откуда знаю. У тебя есть какой-нибудь знакомый частный врач?

— Частный, Хан? Если не работать в клинике, лицензии не получишь!

— Да, но я думал, может, *ты* кого-нибудь знаешь…

— Я знаю обычного врача, Хан. Обычный подойдет?

— Подойдет, подойдет, не ругайся.

Такси мчится по ночной Ваасе. Тем временем Тереш становится Продавцом линолеума, Видкуном Хирдом, Диреком Трентмёллером, а потом снова Терешем Мачееком. Но иногда ему кажется, что его самого больше нет. Буйство красок Ваасы расплывается черными чернилами медузы, аквариум темнеет. Самый черный из черных — костюм Тереша. Он из листвы деревьев, из шелеста слякоти под колесами, из неба над городом. Тереш одергивает манжеты, поправляет галстук. Он торжественен, он вежлив. Костюм пахнет химчисткой, и вот, как зонты под кладбищенскими березами, перед ним открываются похороны. Те, которых так ждали, так боялись; и все уже там! Вот мать девочек, элегантные скорбные морщинки под траурной вуалью из черного

кружева. Бумагопромышленник Карл Лунд держит зонт над ее головой. Листья берез дрожат под августовским дождем.

На похороны пришли и Хан, и Йеспер. Даже матушка Хана пришла, и весь класс тоже здесь. Теперь все они гораздо старше. Большинства из них Тереш не узнаёт, но вот это, наверное, Си́кстен, а это малыш О́лле. Фон Ферсен что-то говорит своему подпевале. А вот и Зиги! Самый плохой мальчик в школе, как всегда, в черной кожаной куртке. А у Йеспера единственный белый зонт. Тереш идет между группами скорбящих; все тихонько беседуют, сочувственно похлопывают друг друга по плечам. Когда Тереш проходит мимо, они почтительно кивают ему. И девочки тоже там, под грудами цветов, в мягкой, пушистой земле. Теперь они — черепа, наборы фаланг, позвонков, реберных дуг, изогнутых ключиц, уложенные рядами, как реликвии. Ничего не потеряно, всё на месте, заботливо сохранено. В отчетах всё ясно, как в учебнике, это судебно-медицинский *magnum opus*, его будут изучать в Академии. Вот россыпь зубов: маленькие молочные зубки Май, жемчужины Анни, злые острые клыки Молин — всё на месте, всё совпадает: каждая пломбочка, скол от падения с велосипеда на коренном зубе Анни. И Шарлоттина улыбка кинозвезды. Так хочется взять себе несколько штук! Просто, на память. Как бы они щелкнули в ладони — словно драгоценные четки! Но нельзя. Это было бы непрофессионально.

Приходит врач и ставит капельницу с физраствором. Понедельник. Ночь на вторник. Тереш понемногу приходит в себя; холодно, на поминках всё серое и серебристо-зеленое. Рядом с заиндевевшими кустами аронии — накрытый стол, старомодный резной хрусталь с фруктовыми мотивами. Тишина. Только в кустах что-то шипит, будто радио. Очнувшись, Тереш понимает, что это было. Известие о разрушении Северного перешейка взбудоражило общественность, но у него нет ни малейшего желания в это вникать. Тереш просит Йеспера переключить на радио «Классика». Говорят, радио «Классика» будет передавать музыку мертвых белокожих людей в париках, даже когда всему миру настанет конец. Играет Перуз-Митреси; какая прекрасная музыка — будто шум океана, м-мм… *grave*. Все танцуют, медленно, и чем больше Тереш думает об этом, тем яснее ему становится, что похорон не будет. Расследование зашло в тупик. К утру вторника он уже готов признать, что они никогда не узнают, что случилось с сестрами Лунд.

Каблуки оставляют вмятины на коврике такси. Девушка закидывает ногу на ногу: ногти покрыты кораллово-красным лаком, туфли от Сержа Ван Дейка перехвачены ремешками телесного цвета. На пересечении ремешков сверкает гроздь драгоценных камней. Можно ли назвать это элегантным? Конечно, если бы это были какие-то

безвкусные стразы на обуви из универмага, это было бы совсем не *comme il faut*! Но эти туфли от Сержа Ван Дейка — те, на которые мы смотрим прямо сейчас — стоят десять тысяч реалов. Одна на пятьсот реалов дороже: за счет ремонта. Один бриллиант укатился в водосток в ревашольской Дельте — что за головокружительная ночь! К тому же, сам Серж Ван Дейк сказал, что следует различать элегантность и снобизм. А поскольку Серж — автор этих туфель… выводы делайте сами. «Керсфа́лль, 130, пожалуйста. Кажется, это где-то за городом?»

Ступни 37 размера, а что за подъемы! Словно изящные аркады Запада… Подолог из Кексхольмского кружка дал бы им девять с половиной запертых подвалов по десятиподвальной шкале.

Звонит переносной телефон, щелкает, открываясь, крышка. Но мы всё еще смотрим на «Ван Дейки» за десять тысяч, на то, как вспыхивают драгоценные камни, когда нога покачивается в такт играющему в такси Факкенгаффу. Мы не можем на них наглядеться. «Алло! Береника, дорогая! Озонн! Так здорово! Всегда хотела там побывать! Нет, ненадолго. На пару недель».

Дверь такси закрывается. «Спасибо». Тринадцатисантиметровые каблуки цокают по дорожке в сумерках; здесь всегда или сумерки, или темнота, куда делся день? Белые голени сверкают, обрамляя вид на бетонный куб на фоне елей. Внутри куба горит свет. Лишайник на деревьях искрится, лужи покрыты тонким ледком: заморозки, предвестники октябрьских бурь. Туфли встают перед дверью, рядом с ними опускается чемодан. Щебечет дверной звонок. Ноги Йесперовой *girlfriend* бесконечны. Наш взгляд ползет по ним, и кажется, что до края ее расклешенного пальто никогда не добраться. Под выпуклостью ягодиц мескийский воздушный флот апокалипсиса, черный, как тавот, появляется на горизонте Ревашоля. В столице моды, где-то на уровне коленей Аниты, уже смотрят в небо из-под руки и спрашивают: что это за зловещий черный дым над океаном, будто грозовые тучи?

— Открыто — кричит Йеспер из-за двери. Девушка входит, и гостиная встречает ее запахом пота. Табачный пот: очень много пота и табака. Йеспер идет к ней навстречу с другого конца комнаты, где сидел на полу под окном. Там, на матрасе, лежит какой-то незнакомый парень, из-под одеяла торчит всклокоченная русая голова. Дизайнер берет у нее чемоданы и знакомит ее с толстым парнем, сидящим рядом с потным парнем. Иммигрант неловко улыбается, протягивая руку; ладонь у него теплая и тоже потная.

— Анита, — представляется девушка.

— Я Инаят, но все называют меня «Хан». Ты тоже можешь звать меня Ханом. А это, — указывает он на тело под одеялом, — мой напарник Тереш Мачеек. Как видишь, ему нездоровится.

Хан считает, что неплохо справился. Могло пойти и хуже: «*Да ладно?!* Йеспер, почему ты не сказал, что встречаешься с настоящей моделью? Ничего себе! Если бы я встречался с Анитой Лундквист, я бы всем рассказал. А можно мне автограф, а Пернилла Лундквист — это же твоя сестра, тогда дай номер Перниллы, покажи сиськи! Йеспер, скажи ей, пусть покажет сиськи!»

Хан портит непринужденное начало беседы, рассмеявшись всем этим «сиськам» у себя в голове. Теперь он невольно начинает разглядывать их под просторной туникой девушки. «Сиськи, сиськи, сиськи модели, сиськи известной модели», — думает он и хихикает всё громче. Он даже не замечает, что девушка уже второй раз спрашивает про Тереша.

— Бедняжка, а что с ним?

— Пищевое отравление, — Йеспер берет девушку за руку и уводит ее в спальню переодеваться.

Хан решает проявить такт и кричит от дверей:

— Ну ладно, тогда увидимся завтра!

— Уже уходишь? Погоди, я вызову тебе такси!

— Не надо такси, я лучше прогуляюсь.

— Пока! — дружелюбно кричит девушка.

Хан спускается к остановке по лесной дорожке, покрытой хрустящим от холода мхом, а девушка в это время надевает штаны на кровати. Ее тунику в богемном стиле украшает трафаретный портрет Сержа Ван Дейка в революционной двухцветной палитре: серой с бирюзовым. Что? Нет, не претенциозно! Ван Дейк тоже своего рода революционер. Он *fashion*-революционер. Мазов мира моды. Только он не отправляет буржуа на поселение в тайгу на северо-восточной окраине Граада, а, ну, продает им одежду.

— Йеспер, а кто это?

— В смысле?

— Ты никогда мне не рассказывал ни о каком Хане. И о том, о втором?

— Это Тереш. Так, бывшие одноклассники, друзья по средней школе. У нас недавно была встреча. Встреча выпускников. Разве я тебе не говорил?

— Нет.

— Странно.

— Да, странно.

— Ну, мы просто решили вспомнить старые времена. Слушай, Тереш приехал из Граада. Возможно, он останется еще на несколько дней. Ты ведь не будешь против?

— Вовсе нет, — отвечает девушка, но ее гложет дурное предчувствие. Она сверлит спину Йеспера подозрительным взглядом,

когда он идет заваривать чай. Прием был холодным. Всего один рассеянный поцелуй. Раздосадованная, она бродит по спальне, но вдруг замечает среди книг на прикроватном столике футляр для кольца. О, сюрприз! Это на вечер? Коробочка лежит как раз на таком расстоянии, чтобы Йеспер мог дотянуться до нее с кровати. Неужели? Вряд ли, но все-таки стоит узнать заранее. Да просто любопытно, наконец! Настроение сразу улучшилось. Черная бархатная коробочка, крошечная коробочка. Девушка открывает коробку: щёлк!

На Ваасу опускается ночь. В центре города, в Кёнигсмальме, через перекресток бежит лисенок. Дыхание зверушки окрашивает воздух в синий цвет, она шевелит ушами. Улица тиха и пустынна, ажурные балконы домов выстроились в ряд, желтые огни светофоров мигают в зеркалах окон. Ночной северный мегаполис — это световая инсталляция: красиво, современно, только посетителей мало. Здание королевского архитектурного музея в стиле дидридада возвышается над рекой; в лучах фасадной подсветки оно сияет, словно сделанное из золота. Внизу, в темноте, движется вода — в ледяной глазури, будто водка из морозильника. Над ней выгибаются мосты с жемчужными нитями фонарей на спинах. Жужжат спицы — одинокий велосипедист едет домой; в воздухе витает запах разлуки. Наверху, гудя, выключаются для экономии электричества рекламные щиты по углам универмага. Над рядами таксофонов улыбается в последний раз и исчезает гигантская модель в нижнем белье. Анита Лундквист. «Деточка, прикройся, — сказал бы ей председатель Президиума Сапурмат Кнежинский, — ты же простынешь». По крыльцу полицейского участка взбегают два агента Международной полиции. «Тереш Мачеек! Где Тереш Мачеек? Вы задержали его четыре дня назад!» — Спрашивающий — сотрудник отдела внутренних расследований. Он ангел смерти.

«Тереш — как? Мачеек?» — Дежурный офицер ждет ответа у аппарата. — «Никого с таким именем у нас не было».

Асфальт блестит. В Салеме ночные заморозки, лужи подернуты льдом. Деревянные домики, сутулясь, теснятся вдоль тротуаров, эхо шагов одинокого пешехода разносится по улице. И где-то там, в подвале, Инаят Хан щелкает подсветкой «Харнанкура». Комната погружается во тьму, когда воздушный корабль — единственный источник света — гаснет. Каждый раз, когда он освещается снова, из темноты появляется лицо Хана. Цепочки огней на палубах корабля отражаются в толстых стеклах его диаматериалистских очков. Его посещает идея — вспышка из тех, что можно увидеть, лишь когда все остальные огни погаснут. Хан ждал этого два года. Он обрезает растяжки, берет дирижабль, как младенца, из его стеклянной колыбели, и танцует с ним на руках.

Опустевшая витрина стоит посреди комнаты. На другой стороне дороги, во дворе манежа, остывают нити накаливания в прожекторах; вагоны конок исчезают во мраке. Лошади спят рядами в своих стойлах.

Мимо проплывают улицы пригорода, беленые ограды палисадников. Издалека доносится лай собак, окна светятся в темноте, а на пустой веранде стоит деревянная садовая мебель. Кто там шуршит в кустах крыжовника? Тянет ночным холодом, страх перед будущим прокрадывается в сны нуклеарной семьи, и там, где кончается Ловиса и начинается хвойный лес, выбирается из постели Йеспер де ла Гарди. Анита уснула рассерженной, и Йесперу неспокойно. Но не из-за этого. Йеспер не может найти свою драгоценную резиночку. Он крадется по спальне в трусах, осматривает прикроватный столик, стеллаж, потом набрасывает халат и проходит за занавески в гостиную. Стеклянная стена блестит в темноте, на полу — минное поле из молочных пакетов, носков и превращенных в пепельницы кружек: рак-отшельник по имени Тереш Мачеек обживает свою новую раковину.

Агент лежит, прижавшись носом к стеклу. Йеспер ставит рядом с ним чашку чая. Пахнет мятой.

— Эй! Проснись! Давай, я не знаю, поговорим, что ли.

— Ладно, только я буду курить в комнате.

Губы шевелятся, слышится смех, проходит час за часом, и вот за окном уже начинает синеть. Кружки с окурками и чайные чашки медленно выступают из темноты.

За стеклами кафе «Кино» тоже синеет утро. Среда. Снаружи, в Эстермальме, суетятся ранние пташки, урчит подметальная машина, в почтовые ящики падают утренние газеты. На дороге появляются первые кареты, машинист соскребает наледь с ветрового стекла.

В кафе пьет кофе и ест яичницу усатый *копирайтер* лет тридцати или чуть меньше. Вдруг он поперхивается кофе и, кашляя, убегает в туалет. На столе остается раскрытая утренняя газета. В колонке для рекламы — фотокопия письма, написанного почерком Молин Лунд. «У нас всё хорошо. Мы у одного мужчины, нам здесь нравится. Мы вас любим». Под фотокопией телефон Инаята Хана и объявление, гласящее: «Дорогой друг, еще не поздно. Если у вас есть информация об этом письме, если вы отправили его или знаете что-то (что угодно) ранее неизвестное об исчезновении сестер Лунд, пожалуйста, позвоните по этому номеру».

— Мне, пожалуйста, блок «Астры» с ментолом — погодите, а «Радар» уже пришел?

— Нет. Уж простите, господин Ульви — эвакуация! Новых товаров больше не привозят, не знаю, сколько еще смогу здесь торговать.

— Ну, тогда дайте три блока «Астры», — говорит молодой человек с курчавыми каштановыми волосами. — А вон то вино из черной смородины, сколько в нём градусов?

— Сейчас-сейчас, посмотрим, — продавец сельского магазина берет запыленную бутылку с полки с алкоголем. — Ух-х! Двадцать три, чистый спирт, наверное.

— Отлично, а еще есть?

— Здесь две бутылки.

— Давайте обе. И вот эту водку, «Конечная станция», литровую — это же выдержанная в Серости?

— А то как же! А если бы и нет — то сама бы уже настоялась: вон она, Серость, уже за покосом!

— Так, еще пачку спичек — пачку, не коробок. А эти свечи — это всё, что есть? Ах да! Я еще возьму земляничный ликер, в прошлый раз забыл. Вон те две бутылки.

— Тот, второй — малиновый, земляничный закончился.

— Ну, значит, возьму его. А вообще, давайте сюда всё, что осталось алкогольного, раз уж всё равно закрываетесь. И еще копченой колбасы.

— **Весь** алкоголь?

— Да, и полпалки копченой колбасы.

Кудрявый молодой человек едет на велосипеде через поселок Ло́хду в Лемминкяйсе, в непосредственной зоне энтропонетической катастрофы. В прицепе звякают пыльные бутылки, подпертые блоками сигарет. И завернутой в бумагу половиной палки «докторской» копченой колбасы. Фонари вдоль сельской дороги сверкают в утренних сумерках, словно бриллианты.

11. ИЗИ-ЧИЛЬ

Начало пятидесятых, на детской площадке в Ловисе молодая мама наблюдает за четырехлетним сыном. Середина лета, тополя роняют хлопья пуха, в небе сияет солнце, а мама волнуется. Другие дети носятся по игровому домику, мальчишки вопят и дергают девочек за косички. Подвесной мост в домике гудит, когда детишки бегут по его доскам. Внизу, на деревянном бортике большой песочницы, девочки и мальчики вместе строят город. Белокурая девочка водит вокруг башни крошечную модельку аэростата, а два мальчика роют туннель, один с одной, второй с другой стороны песочного хребта. Туннель сходится посередине, и мальчики радостно смеются. Девочке становится скучно, она начинает хныкать, остальные девочки подходят узнать, что случилось.

Только маленький Ульв сидит далеко в стороне, на другом краю песочницы. И если кто-то спросит у него про единственный домик, который он построил на своем необъятном участке, Ульв ничего не ответит. Он просто будет рассеянно смотреть вдаль и улыбаться своей загадочной детской улыбкой. Как будто бы он… слишком крут для этого. Он слишком крутой парень, чтобы рассказывать про свой дом всяким соплякам. Вскоре дети устают от высокомерных манер Ульви и оставляют его в покое. Молодая мама не понимает, почему ее ребенок не интересуется компанией. Даже с родителями Ульв не обменивается больше, чем десятью словами за раз. Он говорит, но только сам с собой, когда остается один. Иногда мать слушает его из другой комнаты и не может понять, что не так с ее мальчиком.

Вдалеке по улице идет парад, доносятся звуки бас-барабана: унц-унц… Ульв сидит в гордом одиночестве в углу песочницы и качает кудрявой головой взад-вперед в ритме музыки. Можно подумать, что он просто…

…*чилит*.

Среда, день, лес возле дома Йеспера. В этот раз Хан идет впереди, а остальные стараются не отставать. Хан под сильным кофеиновым допингом, он не спал всю ночь. До утра он щелкал подсветкой «Харнанкура», делал кофе и междугородные звонки и слушал грустные песни, пока мама не попросила быть потише. Хан размахивает руками, когда говорит, его оранжевая ветровка расстегнута, а за спиной развевается бирюзово-оранжево-фиолетовый, в цветах флага Ильмараа, полосатый шарф. Мама связала его Хану на Зимнее солнцестояние, а шапку с помпоном — на прошлый день рождения. Она тоже в цветах Ильмараа. Это комплект.

Лесная дорога вьется среди холмов, по обе стороны от нее высятся сосны. Трое в ряд — Йеспер в правой колее, Тереш в левой и Хан посередине на травянистом гребне между ними — друзья спускаются

по дороге с припорошенного снегом песчаного пригорка. Сероватый узор сухой травы хрустит под ботинками. В воздухе кружат редкие снежинки, увядшая осенняя природа сверкает инеем.

Хан вдыхает свежий воздух. Пахнет прелыми лишайниками. Он хлопает в ладоши; на руках у него варежки на резинке, продетой сквозь рукава.

— Я никогда не верил в криминальное решение, и вы это знаете. Каждый шаг вперед — это шаг вперед, и в этом смысле, конечно, гоняться за продавцами линолеума тоже полезно, но… Тереш, иногда мне кажется, что ты собираешь этих парней, как я собираю памятные вещи, понимаешь? Не то чтобы я хотел сказать, что это плохо…

Тереш выдувает большие кольца дыма и пускает сквозь них маленькие астровые колечки, которые тут же рассеивает ветерок.

— Не спорю: ты прав. Ты собираешь эти вещи, потому что думаешь, что это поможет тебе выяснить что-нибудь о девочках. Я собираю свой зоопарк по той же причине.

— А ты что собираешь, Йеспер? — спрашивает Хан.

— Ничего я не собираю, ненормальные. Но всё равно хорошо, когда у мужчины есть хобби. Что будем делать теперь?

— По идее, надо провести обыск у Трентмёллера дома, опросить родствеников… — загибает Тереш пальцы в кожаной перчатке.

— А как это понять — что ты видел, что он этого не делал? — лесная дорога изгибается, светло-коричневые, похожие на волосы, пряди сухой травы стелятся по колее и шелестят под ногами Йеспера. — Или ты в этом не уверен?

— В психоделическом балаганчике доктора Перепия Попкорнасского вообще ни в чем нельзя быть уверенным, — перебивает гиперактивный Хан и оборачивается. Вернувшись на несколько шагов назад, он объясняет за Тереша: — Поэтому информация, полученная с помощью ZA/UM, не учитывается в суде: это галлюцинация, понимаешь? Она бесполезна сама по себе, реальность должна *соответствовать*. Должны быть какие-то свидетели, улики. А иначе в этом никакого смысла!

— Ну, с тем, что в этом не было никакого смысла, я не согласен, — Тереш выбрасывает окурок под деревья, от сигареты отскакивает оранжевая искра, — но насчет Перепия Попкорнасского ты прав: тут смешаны реальность и фантазии субъекта. Мне показалось, что это было связано с каким-то… аспектом его личности. Который потом перестал существовать, или… Нужно будет обратиться в местную полицию, чтобы они это расследовали — когда у нас будет время.

— Но сейчас, как у вас говорят, *basta*? — спрашивает Хан.

— Пока — да, *basta*.

— Очень хорошо, потому что — давайте будем честными! Кто из вас хотел бы найти их где-нибудь в канаве? Ну правда. Это ведь не самоцель, это не так важно!

Хан делает паузу, с лукавой улыбкой дожидаясь ответов, и Тереш поднимает руку:

— Я. Я хотел бы. И это самоцель. Ты ведь знаешь, что такое «завершенность»? Слышал о таком понятии?

Йеспер всё еще с презрением думает о Перепии Попкорнасском и его синтезаторном пиликанье — самоудовлетворении переоцененного футуриста.

— У тебя есть что-то получше? *Tempus rev*? И в этот раз всё сделаем как надо?

— Хорошо бы. Сказать по правде, я бы не отказался.

— Ну же, Хан, будь благоразумен, — Тереш поджигает новую сигарету, в холодном воздухе пахнет спичечной серой. — Время уходит, с Ревашолем больше нет связи, с Оксидентом тоже. Полмира встало на дыбы. Если начнется война, все расследования будут приостановлены, документы, улики, люди могут пропасть. Надо действовать быстро, довести всё до конца, пока не поздно.

Три маленькие фигурки пересекают заросшие бурьяном поля, балансируют на мостках из бревен, и лед дрейфует под их ногами вниз по течению ручья, перепрыгивают через поваленные стволы в сумерках лесного туннеля, движутся гуськом по белеющим лугам. Хан пролезает под колючей проволокой, а Йеспер и Тереш ее перепрыгивают. Изгороди остаются позади, лес редеет, песчаная борозда дороги, будто маленький канал, вьется в берегах из древесных корней. В вершинах деревьев уже шумит морской бриз, в воздухе чувствуется близость водного простора.

— Мы столько времени делали по-вашему, и ничего не вышло. Теперь давайте попробуем по-моему, — возражает Хан, говоря больше руками, чем ртом.

— Ладно, насчет того, что мы зашли в тупик, ты прав, — признает Тереш. — Но давай ты сперва расскажешь, что там у тебя за план, и мы подумаем. Если решим, что из этого что-то выйдет — хорошо, попробуем по-твоему. Если нет, придется сделать перерыв.

— Ты не понимаешь, — разводит руками Хан, — если вы откажетесь, то мы никогда ничего не узнаем. Других зацепок не осталось. Я не хочу допустить даже возможности, что вы откажетесь. Как насчет небольшой поездки? На консультацию к специалисту? Я связался с ним заранее, так что теперь всё должно пройти быстро.

— Что значит, «зацепок не осталось»? — не понимает Йеспер. — А письма Молин? Кто-то должен был их послать: почерк совпал, а он в этом возрасте еще формируется. Если пишущему пятнадцать лет,

почерк может не совпадать на 100% с тем, что был у него в тринадцать. 95% — это очень многообещающе, я читал об этом. Верно, Тереш?

— Да-да, всё это верно, — вмешивается Хан. — Но знаешь что? У меня есть идея, как со всем этим разобраться. Только не надо откладывать на потом. Надо действовать, *немедленно*!

— В каком смысле?

— Я дал объявление в газеты.

Тереш плетется позади; в своем пальто в елочку в стиле пятидесятых он выглядит типичнейшим гойко. Его рот задумчиво приоткрыт.

— А вот это, пожалуй, неплохая идея — когда ты подал объявление?

— Подал позавчера, сегодня должно было выйти. Йеспер, я и твой номер оставил — на случай, если меня не будет дома.

— И что ты там написал?

— «Если у кого-то есть какая-то информация, пожалуйста, поделитесь, вам ничего не угрожает, вы еще можете их спасти!», что еще?!

— Такие методы бывают действеннее, чем можно предположить, — разъясняет Тереш Йесперу. — Особенно с такими давними событиями. Но всё равно придется месяцами закидывать удочки в разных местах — если не годами. Хан, куда ты его отправил?

— В «Да́генс» и в «Капиталист». Это всё, на что у меня хватило денег. Кстати, вы оба должны мне по пятерке. Еще понадобятся деньги на консультанта, которого я предлагаю. И на дорогу к нему. Надо взять с собой хотя бы тысячу: его услуги дорого стоят, он очень востребованный специалист. Я так долго готовился, читал о нем…

Йеспера это начинает раздражать. Во-первых, он совершенно не хочет куда-то ехать, во-вторых, он догадывается, чьи деньги имеются в виду. Хан живет на страховые выплаты по смерти отца, погибшего на мазутной буровой платформе, а Терешу, если он не откроет официальное расследование, никаких расходов не оплатят.

— Эй, выкладывай, что еще за консультант?

Три силуэта приближаются к обрыву. Перед ними, за высохшим лугом, открывается морской простор. На жухлой траве лежат белые пятна снега, одинокая извилистая сосна зябнет на ветру. Когда они добираются до берега, уже начинает смеркаться. Шум воды всё громче. Йеспер рукой стягивает вместе края воротника. Он часто проходит эти шесть километров до берега в одиночку. Отсюда видно то, что все они жаждут увидеть: вдали, на другой стороне залива, за снежным туманом синеет береговая линия Шарлоттешеля.

Хан опирается на бревенчатое ограждение и смотрит вниз. Огромные валы разбиваются о каменную стену; волна запрокидывается назад, и ее белый гребень разлетается на миллионы пенных хлопьев. Капли воды оседают на очках, размывая картинку. Йеспер присматривается к осенней волне, которая приходит раз в год, и у него

рождается четкий план. Исчезнуть. Девочке скажу, что пойду с мальчиками, мальчикам тоже что-нибудь совру. Он оценивает ветер.

— **Изи-чиль**,— говорит Хан, — пора спросить о девочках у него.

Йеспер смеется, но Тереш остается серьезным.

— Погоди! Он определил местонахождение скелетов Абаданаиза и Добревой с точностью до километра, — аргументирует Хан. — Что еще? Два года назад по его подсказке на Корпус Мунди отправили экспедицию — на поиски Корнелиуса Гурди. Хребет, который он им указал, теперь уже ушел в Серость, но там нашли посуду Гурди и остатки его лагеря. Через пятьсот лет! Изи-чиль живет в Лемминкяйсе, в усадьбе в лесу, и мы отправимся туда.

Над свинцово-серым морем идет снег, температура около нуля, ветер в заливе до десяти метров в секунду; через пару недель океан вздуется от штормов, родившихся в Западной Катле, у самого края Серости. Двухнедельное окно, идеальные условия. Йеспер уже представляет, как в десяти километрах, у пляжа Шарлоттешель, огромная масса воды дробится на волны. Волны плавно движутся перед его глазами, ровные и непрерывные, точно складные мысли.

— Окей, — говорит Йеспер, — только у меня конференция. По дизайну. С четверга по субботу. И, кстати, ехать в Лемминкяйсе сейчас — не лучшая идея. Или, может, вы не в курсе?

Маленькому Ульву девять лет; в Оранье зарождается современная танцевальная музыка. Йохан Хауэр, Ри́твельд и Арно Ван Эйк крутят пластинки в университетских залах; в Веспере, в Виде́рунте, открывается первая в мире дискотека «Das Baum»; на аркадной площади Мессины летним вечером, после самого грандиозного *сета* в истории человечества, экзальтированная толпа объявляет Тео Ван Кока новым светочем. За спиной у Ульва ранец, он идет из школы. Он учится в четвертом классе, он сидит один за задней партой, потому что Ульви всё равно, что говорит учитель. Ульви не интересуют ни математика, ни естествознание. Глупые девчонки не интересуют Ульви, Ульви интересует только одна вещь в этом мире. Разинув рот, он останавливается напротив магазина «Фонотека» в Вестермальме, у дверей, в которые входят и выходят любители музыки. Играет Тео Ван Кок, кома-ремикс старой увертюры, и любители музыки смотрят, замерев с пленками в руках, как маленький Ульв танцует под висящими над входом динамиками, словно одержимый злым духом. По щекам Ульви катятся слезы, весь мир для него исчезает. Все смеются, с восторгом глядя, как мальчик кружится и подпрыгивает, раскачивается, машет руками и выкрикивает: «Вау, вот это да!» Он вскидывает руки и ноги, хлопает ладонями по капоту припаркованной мотокареты и никак не может понять: «Отчего **так хорошо**?! Разве может быть так хорошо!!!»

Из магазина выходит продавец в модной спортивной куртке: из серого хаоса потерянных вещей, где кома охватывает всю историю человечества, перед Ульви возникает молодой мужчина и протягивает ему пленку формата стерео-8. На коробке написано: «Тео Ван Кок/*Граф* де Перуз-Митреси». Это первый и последний раз в жизни Ульви, когда живой человек для него что-то значил.

Крутятся хромированные диски на колесах мотокареты, снег шуршит под колесными цепями, но Инаята Хана там нет, ему тринадцать, и он спускается с крыльца дипломатической виллы в яблоневый сад. Темно, стрекочут сверчки. Изи-чиль ставит в проигрыватель пленку формата стерео-8, два пластиковых круга начинают вращаться. Идет *soundcheck*, но июньская ночь тиха, этой музыки там не слышно. Она играет через двадцать лет и далеко-далеко от Инаята Хана. Воздух в саду наполнен запахами; словно дух места, он выходит из-под деревьев навстречу мальчику, трется о его ноги и пахнет раннеспелыми суйслепами. Хан ступает босиком по мокрой от росы траве. Остальные спят внутри, на втором этаже, но он не спал. В половине восьмого утра они втроем вышли работать на стройку. Тело Хана болит от тяжелой работы, а душа неспокойна. Концы не желают сходиться с концами. Дилер Зиги по телефону потребовал баснословную сумму. Триста реалов. Йеспер отнес букинисту свое собрание приключенческих романов о Человеке из Хьельмдалля — после долгих уговоров. Хан продал бинокль.

В шестнадцати камерах сгорания в сердце машины детонирует топливо; стекла в окнах усадьбы далеко в Лемминкяйсе сотрясаются в ритме басов. *Check, check...* Но Инаята Хана там нет. В траву у его ног падает суйслеп. Маленький Инаят обтирает яблоко о рукав и садится на скамейку. Он запускает зубы в плод и чувствует, как сладкая боль пронзает его сердце — так, что становится трудно дышать. Это ощущение ускользающей возможности, которое нарастает в течение дня и дает о себе знать к вечеру. «Расскажи что-нибудь... у тебя всегда такие интересные доклады. И по истории, и по естествознанию...» Темно-зеленые глаза, бесконечно добрые и очень заинтересованные. Ты уверен, Хан? Ну же, будь благоразумным: ни к чему унижаться вот так, без всякого толку.

Из-под капота идет пар, там бежит приводной ремень мотора; магнитная лента скользит по считывателю. Но под яблонями в саду царит тишина. Инаят Хан не особо верит в Бога. Говорят, что Бога когда-то, больше трех тысяч лет назад, выдумал человек по имени Пий родом из Ильмараа. Может, это и так. Но сейчас Хан бросает огрызок яблока в кусты, складывает руки и молится.

«Пожалуйста, сделай так, чтобы я тоже нравился Молин. Боже, пожалуйста, сделай так, чтобы я ей *взаправду* нравился, по-настоящему, а не просто… ну, ты же бог. Обещаю — я больше никогда не буду думать про тебя, будто тебя придумал какой-то Пий Перикарнасский. Я обещаю, что буду верить, что ты существовал с начала времен и начертил небо и землю… золотым циркулем?.. Или я не знаю чем. Боже, прости, пожалуйста, что я вот так тебе докучаю — но мне правда будет очень трудно верить, что ты есть, если окажется, что я не нравлюсь Молин Лунд».

Хан смотрит на небо. Темнота в его сердце кружится, и в ней зажигается звезда за звездой. Любовь, будто гладкошерстная кошка, свернулась в клубок у него в животе. Любовь для него — это страх потери.

Задние фонари кареты окрашивают снег кроваво-красным, из глушителя с рокотом вырывается дым. Обвязанные цепями шины вгрызаются в снег, двигатель взревывает. Переключение передач. Тон повышается. Ускорение вжимает шофера-лихача в спинку сиденья. У сидящего в кабине молодого человека на голове гоночные очки; его руки словно приросли к рычагам. Неосвещенная горная дорога отражается в покрытых изморозью стеклах и исчезает под колесами.

Над зоной энтрокатастрофы Лемминкяйсе метет снег. Темные горные хребты пронзают горизонт заснеженными вершинами, скалят зубы, точно Продавец линолеума. На дне долины раскинулись поляны и еловые леса, а по серпантину на склоне горы со скоростью сто пятьдесят километров в час мчится черная мотокарета.

«Чёрт, *страшно*-то как!» — кричит Хан. Тереш кивает; прохладный воздух салона наполняют мазутные пары — кислый химический запах. Агент смотрит в окно: в снегопаде проносятся мимо столбы ограждения, а внизу в долине виден белый лесной массив с чернеющими прогалинами. Хан подскакивает поближе к Терешу на противоположном сиденье. Он вытряхивает на язык из бутылки последнюю каплю ароматизированного ягодного вина. Машина поворачивает, и Хана кидает об стенку салона. «Кончилось», — показывает он Терешу пустую бутылку. Но тут же у Хана в руке появляется новое ягодное. Крышка с хрустом откручивается, «сахар: 25%» скрипит на зубах. Далеко на другой стороне долины, на противоположном склоне, в темноте мерцают огни. Все остальные машины по-прежнему едут им навстречу, от места энтропонетической катастрофы — так же, как и вечером среды. Тогда Хан и агент Мачеек выехали из Ваасы с сумасшедшим мотогонщиком Кенни — просто Кенни: «Как тебя зовут?» — *«Kenni»*. — «Кенни, а дальше как?» —*«Väin Kenni»*.*

---

*Просто Кенни.

— *Kato, entroponeettisen romahduksen vyöhyke! Ei voi olla, kuusetkin rupee taivaaseen ajautumaan, saa-ta-na, ihan kuin ne sanoi, se kyllä täytyy nähdä! Ja talot myös!** — кричит Кенни с водительского места сквозь рев двигателя.

— Всё хорошо? — кричит Хан в ответ. Его, в отличие от Тереша, всё еще слегка тревожит, что машину трясет, а стрелка спидометра, тускло светящегося желтым в сумраке кабины, подползает к ста семидесяти.

— *Hienosti menee, ihan hienosti, en huolehdi ollenkaan!***

— А дорога, что с дорогой?

— *Että mikä, tiekö? Ei, hyvin on, en huolehdi ollenkaan,**** — Кенни не хочет *huolehdi*. Кенни хочет ароматизированного ягодного вина, а когда Хан замечает, что Кенни, наверное, не стоит пить, раз он ведет машину, Кенни говорит ему: — *Älä huolehdi,* окей*? Mä oon puolet tiet juonu jo, muuten mä nukahtaisin. Se auttaa mua keskittymään, kato!*****

Дорога вьется всё выше по склону холма, среди елей. Чтобы не вылететь с нее, Кенни пускает машину в дрифт на поворотах. Хан начинает чувствовать себя более-менее безопасно, только когда мотокарета сворачивает с серпантина и ныряет вглубь леса. Под колесными цепями шуршит снег, рокочет двигатель, стекла в окнах стали круглыми от снега, налипшего в углах. За иллюминаторами проносится неровная черная стена леса. Внезапно Кенни прижимает машину к левой обочине, и Хана отбрасывает на прежнее место. Карета пролетает мимо выкрашенного в красный фургона «Граад Телеком». Съемочная группа информационного агентства машет Хану в свои снежные иллюминаторы, Хан машет в ответ.

Последние два дня он только и делал, что пил с Терешем в такси: шофер отказывается останавливаться без необходимости, Кенни хочет побить рекорд. У него на руке секундомер. И всё это время они наблюдали, как все другие машины едут в противоположном направлении. В двухстах километрах от Ваасы их карета проехала мимо огромной пробки на встречной полосе. Население окраин едет в города, к родственникам. Из трескотни радио стало понятно, что такая паника царит повсюду в Катле. В Арде все на всякий случай съезжаются в Норрчёпинг, где есть магнитовокзал. И в Елинке, рядом с разрушенным Северным перешейком, билеты тоже распроданы на два месяца вперед. Или так, или никак — если не хочешь идти пешком через Полярное плато.

---

*Ага, зона энтропонетического бедствия! Представляете, там ёлки улетают прямо в небо, будь я проклят, это надо видеть! И домá тоже!

**Все хорошо, просто отлично, волноваться не о чем.

***Что, дорога? В полном порядке, волноваться не о чем.

****Не волнуйся, окей? Я уже выпил немного, чтобы не уснуть. Мне так легче сосредоточиться!

Равнины в боковом окне постепенно сменились холмами, на горизонте заскользили в тумане китовые спины с еловыми лесами на горбах. Поздно ночью мотодорога вышла на магистраль, но поток машин на встречной полосе не поредел — только дорога спустилась с эстакады и пошла среди полей, и снега стало больше: поля вокруг были уже совсем белыми. Хан крепко уснул, прислонившись головой к боковому окну, а перед их каретой с одной стороны сияло в темноте алмазное море фар, а с другой — лежало зловеще пустое шоссе.

Одинокая пара красных задних фонарей быстро скользила вперед, к Лемминкяйсе. В эту сторону ехали только армейские мотоколонны и машины иностранных новостных агентств с радиоантеннами на крышах. Когда Хан открыл глаза, было уже утро, и за стеклом проплывала опустевшая деревня суру. От столба к столбу волнами тянулись электропровода, а под ними по пустой улице ехала на велосипеде деревенская девушка. На ней были куртка и длинная юбка. Девушка смотрела Хану прямо в глаза, катафоты на спицах колес отражали свет. Вааса осталась в тысяче пятистах километрах позади, и еще тысячу пятьсот предстояло проехать. Кенни ехал тихо, и в салоне было слышно, как ломается под колесами лед на лужах. Девушка помахала рукой и свернула на объездную дорогу на краю села. Сумрак под деревьями поглотил ее; только задний фонарь велосипеда вспыхивал в ритме динамо-машины. В лесу, в коридоре из деревьев, уже падал снег. И они поехали дальше — Инаят Хан и Тереш Мачеек — с самым чокнутым парнем в таксопарке Кенни, просто Кенни. Несколько часов друзья сидели молча и просто смотрели, как в сумерках движется мимо Сурума́а. Вдалеке мерцали холодные звезды уличных фонарей, на крышах домов лежал растрескавшийся этернит. Чем ближе к вечеру, тем гуще становился снег. На горизонте показались темные зубцы гор, деревни попадались всё реже и реже, и Тереш предложил открыть еще бутылку ароматизированного ягодного вина.

«А то будет совсем тоскливо».

Впереди, в небе над окутанными сумраком горами, они часто видели военные аэростаты. Однажды железный бриг пронесся прямо над мостом, поймав их в луч прожектора; поток воздуха от его винтов едва не опрокинул карету. Но потом корабль ушел. Только лучи его прожекторов еще скользили по темному лесу. Это называется эвакуацией.

На обочине, рядом со светящимися буквами «ЛЕММИНКЯЙСЕ», сиротливо стояла пустая будка контрольно-пропускного пункта. Дорогу пересекали бетонные заграждения военного образца; Кенни подтянул цепи на колесах и объехал заграждения, сделав крюк на половину поля. Вместе с пропускным пунктом позади осталась невидимая Зимняя орбита, откуда всегда приходила зима. Через некоторое время асфальт кончился; по заснеженным гравийным дорогам им навстречу ехали

в санях деревенские семьи. Детям досталась большая привилегия — своими глазами увидеть, как Серость поднимается к небу прямо за силосными башнями. Лошади протащили мимо сани, и семья, сидевшая в них на горе скарба, помахала руками смешному темнокожему толстяку в диаматериалистских очках.

— Так странно: они все нам машут, — говорит Хан, и фургон «Граад Телеком» остается далеко позади, в вихре снега из-под колес машины Кенни. Глубоко в темном лесу уже не светится ни фар, ни фонарей гужевых повозок. На хуторах, в комбинатских поселках, в закрытых деревенских магазинах теперь остались только те, кто решил остаться. В темноте наверху колышется Серость.

— *Kuuletko sen?* — спрашивает Кенни из кабины. — *Harmaa… se on nyt varmasti harmaa! Mua vähän huolestuttaa*.*

Тереш и Хан прислушиваются. И действительно, к шуму метели добавился новый звук: зловещее потрескивание, низкий шипящий рокот. Словно волна разбивается о берег — медленно-медленно… Для Хана это звучит как начало песни. Он слышал ее во сне.

— Я больше не в КоМиле, меня уволили, — кричит пьяный Тереш, сложив ладони рупором.

— Что? — Хан не сразу понимает, что ему сказали: шум его загипнотизировал. Он чувствует, как волоски на теле встают дыбом, а по коже бегут мурашки, как будто он только что снял свитер в холодной комнате.

— Меня уволили из Международной полиции!

— Я знаю! — кричит Хан, протягивая Терешу бутылку вина. — Ты всю дорогу показывал жетон какого-то Со́мерсета Ульриха!

— Откуда ты знаешь? — Запах алкоголя изо рта Тереша наполняет промерзший салон.

— Тебя на всех пропускных пунктах называли то господином Ульрихом, то агентом Ульрихом, то Сомерсетом Ульрихом.

— Это пропавший агент, я взял его документы. Есть и другие, — Тереш делает глоток, его губы окрашиваются красным, липкая жидкость проливается из бутылки на воротник рубашки. — Документы, я имею в виду. И пропавшие агенты тоже. В Кронштадте я еще был Мачееком — надо было оставить ложный след. С «Ульрихом» я собираюсь доехать до Лемминкяйсе и скинуть его там — пусть ищут сколько хотят!

— Ты что, в розыске?

— Ага, разве я тебе не говорил? У одного парня от этой штуки случился сердечный приступ!

---

*Слышите? Серость… Это и правда Серость! Что-то я как-то волнуюсь.

— От ZA/UM?

— От него са́мого, — говорит Тереш, а впереди мотогонщик Кенни смотрит, как черная масса деревьев медленно уплывает в небо. Земля трещит и скрежещет, когда из нее с корнем вырывает ели. Дерево кричит, промерзший камень стонет, как в кресле дантиста. Облако раскрошенного известняка медленно поднимается в воздух, и в темноте далеко наверху погружаются в Серость первые деревья.

Два года тому назад.

Во сне Хан слышит телефонный звонок. Холодный и незнакомый звук, ложное пробуждение. Он открывает глаза в подвале родительского дома и встает с кровати, в пижамных штанах и тапочках. Он чувствует неладное, но всё равно идет. Подвал выглядит странно, как во сне, вещи не на месте. Надя Харнанкур жутко улыбается в своем медальоне; у Гон-Цзы в руке вместо компаса персик бессмертия, а на нём прорастает плесень.

На столе посреди комнаты блестит пустая стеклянная витрина. Хан боится смотреть в ее сторону: в ее пустоте есть что-то, чего он не помнит. Что-то неправильное. Телефон снова звонит — звук будто бы идет сквозь темноту квартиры, из коридора наверху.

Хан поднимается по лестнице в спящий коридор; на стене звонит телефон. Хан протягивает руку, ему страшно. Его ладонь потеет на пластике трубки, что-то не позволяет ему ее взять. Но он должен, это важно, важна любая зацепка. Вот он снимает трубку с рычага, и коридор наполняется шипящим треском Серости. От него начинает болеть ухо.

— Алло? — говорит Хан.

Но ответа нет.

— Алло, кто это? Пожалуйста, скажи, кто ты!— повторяет он, и с каждым разом его голос становится всё жалобнее, а треск всё громче и громче — пока наконец совсем не оглушает Хана, сместив давление во внутреннем ухе. Остается лишь странная вибрация, идущая откуда-то изнутри. Тишина волнами проходит сквозь мышцы и кости. Холодно.

— Пожалуйста, — из-под очков Хана текут слезы. — Скажи мне, кто ты…

— Ты знаешь, кто я.

У вибрации детский голос, и он говорит ужасные вещи. Хан дрожит, забившись в угол коридора с трубкой в руке.

— Это не ты, это не ты! — рыдает он. Наяву, его тело сотрясается от того, что происходит в его уме. Хан просыпается в слезах у себя в постели. В ухе гудит, явь кажется продолжением сна, только макет дирижабля снова в витрине, Надя больше не улыбается, а у Гон-Цзы в руке компас.

На крышке витрины — тарелка с подсохшими мамиными бутербродами с сыром и остывший кофе. И конверт: утренняя доставка из Граада по магнитной почте. На конверте в графе «отправитель» написано «Сарьян Амбарцумян», а внутри лежит ключ, золотой и немыслимо сложный.

Осталось два года.

12. ЗИГИ

Девятнадцать лет назад, поздняя осень. Сейчас 8:15, и Хан опаздывает в школу. Он спешит в центр города, в Кёнигсмальм. Дорожная разметка отсвечивает белым в утренних сумерках, густо падает мокрый снег. Мальчик с ранцем за спиной бежит через переулок; ревет гудок, и мимо проносится мотофургон. Он едва не сбивает Хана. Снежная каша залепляет глаза, тает на щеках и шерстяной шапке. Хан взбегает на школьное крыльцо, но вдруг что-то заставляет его замереть на месте. На углу школы завхоз и уборщица вдвоем оттирают с фасада большую красную букву Э. Буква — высотой в рост уборщицы. Полицейский, качая головой, смотрит на стену, где огромная надпись гласит: «ВЕСЬ МИР — НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ЗОНА ЭНТРОПОНЕТИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ».

Это мальчик Зиги.

Зиги — самый плохой мальчик в школе. Зиги такой плохой, что некоторые даже скажут, что Зиги — *чересчур* плохой мальчик. «Он в десятом классе, только знаешь что? Его к нам перевели из другой школы, у Сикстена там друг, и он говорит, что к ним Зиги тоже перевели из другой школы. Угадай, в какой класс он там ходил! Ага! Тоже в десятый. Точно, зуб даю. И знаешь что еще? В той школе, в которую он ходил перед этим… там он тоже был в десятом классе!» Мать Зиги, цветущая уроженка Ваасы, служит в Министерстве образования и дружит с матерью сестер Лунд. Поэтому ее сын посещает престижную школу в центре города, хотя дважды оставался на второй год. Дома у него целые пачки тетрадей в клетку с чертежами всевозможных осадных машин, городских стен и траекторий, но Зиги не хочет, чтобы ты об этом знал.

Отец Зиги — нигилист, гойко и пьяница. Зиги этим очень гордится: «Мой отец? Ну, он нигилист… гойко… пьяница…» Полное имя Зиги — Зигизмунт Берг. Тереш однажды встретил его в туалете для мальчиков, вскинул левый кулак и сказал: «Франтишек Храбрый!» Зиги ничего не ответил. Зиги помочился. Псс-ссс. Потом Зиги пошел к выходу, и у самой двери вдруг остановился. Замки на его кожаной куртке звякнули.

— Эй, мелкий, слушай сюда!

— Что?

— Засунь своего Франтишека Храброго себе в задницу.

Зиги — нигилист и коммунист. Когда надо. Слово «буржуазия» выскакивает из его рта легко и ловко, как лезвие у ножа-бабочки: «буржуазия», «буржуа», «буржуазное искусство», «мелкобуржуазные взгляды», «ты буржуа», «твои буржуазные родители», «ты из буржуазной семьи», «потому, что твои родители буржуа», «всё

потому, что, ты, Анна, буржуа» (да, еще Зиги называет учителей по именам), «буржуазная цыпа», «буржуазный щенок», «педерастия — буржуазная болезнь, педерасты — буржуа». Зиги начитанный мальчик, он знает много красивых названий для буржуазии: «буржуй», «плутократ», *petit-bourgeois*, «мещанин», «средний класс», «бюргер», «кулак», «рантье», «латифундист»…

Его влияние огромно. Девочка с косичками, ученица четвертого класса, приходит домой и спрашивает: «Папа, почему социал-демократия такая слабая?»

— Где ты такое услышала?

— Зиги говорит, что социал-демократия слаба, а коммунизм силен. Папа, почему у нас не коммунизм?

Но прежде всего Зиги — нигилист. Он читает диамат, называет животных автоматонами, он фанат бихевиоризма, Серости и мескийского светоча-нигилиста Амброзиуса Сен-Миро. «Если бы в вас было хоть немного смелости, хоть чуть-чуть, вы бы тоже пошли за Сен-Миро». В докладе о своей родной стране Зиги рассказывает о государственном перевороте. О том, как она перестала быть страной Зиги. У Зиги нет родины. Учитель географии отправил его к директору. Зиги остановился в дверях, звякнув замками на куртке. «Увидимся в Серости», — сказал он и чиркнул указательным пальцем по горлу. Поскольку энтропонетику в школах еще не изучали, на переменах многие собирались вокруг Зиги, и по коридору эхом разносилась его полуправда:

— Серость состоит из прошлого, — говорил он. — Там хранятся все пропавшие вещи — перепутанные, печальные, заброшенные. Серость — это воспоминания мира о мире. Она сметает всё на своем пути и в конце концов поглотит всю материю. Это называется «энтропонетический коллапс».

— А когда он наступит, Зиги?

— Да, Зиги, когда?

— Еще при твоей жизни, малыш Олле. По крайней мере, я на это надеюсь. История пожирает настоящее, материальный мир исчезает, *desaparecido*… Поэтому нашему поколению нет смысла ходить в школу, будущего не будет. Когда вырастешь, не заводи детей, как твои отсталые буржуазные родители. Ты просто увидишь, как они умрут, вот и всё. Мира осталось совсем немного, гораздо меньше, чем Серости! Скоро все изолы исчезнут — сотни и тысячи квадратных километров суши утонут в Серости, пойдут на дно, как корабли. В-вууух… — Зиги изображает руками тонущий корабль, замки на кожаной куртке звенят, дети ахают. — Не грусти, Олле, это будет звездный час человечества.

Зиги курит. В школьном туалете, в раздевалке. У Зиги есть своя *sprechgesang*-группа, и завуч по внеклассной работе совершил большую

ошибку, позволив им выступить на день Зимнего солнцестояния. *Sprechgesang* Зиги — будто пулемет. Четыреста пуль в минуту…

Hook:

Покури!
В раздевалке, в сортире, в столовке,
abraq adabra, и мир исчезает, как дым.

1st verse:

Еще одно стремное утро, поганая погода,
день еще не начался, а жить уже неохота.
Если тебе кажется, что мир тебя ненавидит,
зайди за угол и подбери окурок — мама не увидит.
Покури, именно это сейчас тебе нужно,
одна хорошая затяжка согреет и тело, и душу.

Hook:

Abraq adabra, за школой, под лестницей, на остановке,
abraq adabra, и дым исчезает, как мир.

И так далее. В январе Зиги исключили из школы. Но причиной были не его сомнительные тексты. Либеральная ваасская система образования пятидесятых годов рассматривала такое творчество как естественную часть взросления. Дело в том, что Зиги продавал наркотики. Затем он и пришел в эту школу. В те времена никто не ждал подобного, и Зиги это прекрасно понимал. Он действовал безбоязненно, прямо в классе, открыто и громко рассказывая о сделках, раздавая образцы, пожиная плоды наивности Ваасы, как Видкун Хирд или Продавец линолеума. Он и сам употреблял — приходил на занятия под кайфом; он был анахронизмом, на двадцать лет впереди своего времени. Зигизмунт Берг был паршивой овцой.

Когда полиция наконец выследила Зиги, он эмигрировал в Граад, к отцу. И исчез с радаров. Через несколько лет его обугленное тело нашли в печи для мусора, в котельной одного особенно унылого панельного дома.

13. ХИМИЧЕСКАЯ СВАДЬБА

Белокурая прядь лезет в глаза, брови насуплены от бьющего в лицо солнца — маленький Йеспер де ла Гарди стоит посреди транспортного узла своего чувства времени. Всё сходится в этой точке, и из нее всё исходит. Ради этого случая он надел белый матросский костюм; в руках он нервно теребит шапочку с темно-синей каймой. Йесперу тринадцать, в кармане штанов у него открывалка для бутылок, носовой платок с инициалами и двадцать четыре таблетки спидов, а на скамейке рядом с ним лежит букет лилий. Все, что было, ведет сюда, к остановке конки в Шарлоттешеле, и все, что будет, берет свое начало здесь. Сейчас первое июля пятьдесят второго года, Йеспер стоит на краю летнего вечера под эффектной белой аркой остановочного павильона в стиле *фанк!*. Ему страшно, он будто слышит стук вагонетки из парка развлечений, которая медленно поднимает его на вершину с самого прошлого воскресенья. И так было всю эту неделю: подъем, предчувствие поворота. А после — падения, нервы напряжены до предела. Приходит первый трамвай, но девочек там нет. Мальчик чувствует странное облегчение — как три года назад, когда он оказался слишком мал для аттракциона «Стальные горы» в ревашольском парке развлечений. Он едва избежал опасности. Но вот и следующий трамвай высаживает на остановке своих пассажиров, а девочек среди них по-прежнему нет. Ощущение в животе перевертывается вверх ногами, становясь разочарованием. Что, если они не приедут? Сейчас полдевятого, они должны были быть здесь час назад. «Чтобы кататься на "Стальных горах", ты должен дорасти до этой отметки, мальчик». Йеспер приподнимается на носках и для подстраховки отхлебывает пива. Он знает, что пить пиво — ужасная идея: оно воняет хмелем.

«Это ужасная идея, Тереш. Пиво воняет, чики терпеть не могут пиво!» — Но после недели работы на стройке, трехсот реалов, отданных самому плохому мальчику в школе Зиги за таинственные таблетки… после покупки батареек для проигрывателя, цветов и бог знает чего еще, он не мог не согласиться с Терешем. Тот сказал: «Мы остались без гроша, Йеспер, и *насухую*… насухую мы не пойдем». Так они стояли перед пивным ларьком, и услужливый бродяга уже облизывал губы, предвкушая долю от выпивки за помощь в покупке. Продавец осуждающе смотрел на трех беспутных мальчишек, а мальчишки наблюдали, как пенный напиток льется из цистерны в картонные стаканы.

— Как моча, — прокомментировал Йеспер.

Хан, держа свои поллитра обеими смуглыми руками, наблюдал, как Йеспер барабанит пальцами по полям матросской шапочки.

— Заткнись и пей, у тебя руки трясутся.

— М-мм… а ты уже выпил, да? — сладким голоском ответил Йеспер, нюхая свой стакан. — Мы тут стараемся выглядеть прилично, а от тебя такой шикарный аромат **ссанья**!

Чувствительный к шуткам Хан тут же фыркнул и облился вонючим пивом.

Сейчас Хан стоит у остановки, нервно ощупывая себя и пиная через дорогу мелкие камешки. Иногда камешек попадает в кого-нибудь из отдыхающих, и тот бросает на мальчика сердитый взгляд с другой стороны дороги. Хан извиняется и машет на морском ветру подолом рубашки, на которой всё еще сохнет пивное пятно.

— Что, воняет? Йеспер, можешь понюхать?

— Ага, еще как воняет, и пятно тоже видно. Посмотри там, когда следующий трамвай.

— В девять, еще двадцать минут.

— Я тебя просил не *сказать*, а пойти и посмотреть!

Спровадив Хана, Йеспер быстро выпивает свое пиво и выбрасывает стакан. Не долетев самую малость, картонный стаканчик отскакивает от края урны. «Гадство!»

Тереш, конопатый, как чёрт, после работы на стройке под жарким солнцем, дергает коленями и выделывает па ногами в высоких кирзовых ботинках. За спиной у него висит на кожаных лямках переносной проигрыватель. Вытисненная на кремовом пластике залихватская надпись гласит: «Моно». Аппарат огромен и весит, как куча кирпичей. В руке Тереш подбрасывает увесистые батарейки.

— Ну что, уже захмелел? — спрашивает он у Йеспера. — Я — да.

Йеспер захмелел, но не сильно.

— Вот и хорошо, мы пьем для храбрости, а не чтобы нализаться. Нужно просто сгладить углы, — говорит Тереш. Похоже, он единственный, кого не выбило из колеи часовое опоздание. Мы — серые оборванцы-гойко — проскочили в пьяном угаре и геноцид, и Юго-граадскую резню… Пока у нас есть вонючее пойло из хмеля и солода или плодово-ягодное вино, нас ничем не испугать.

Хан забирает со скамейки свой пучок хризантем, мальчики садятся в ряд и сидят, притопывая по асфальту и прихлопывая в ладоши. Не в лад и не в такт. Из-за холма доносится скрип рельсов, и Тереш в ужасе сжимает в руках свой букет из семи красных роз. Цокот копыт приближается, лошади уже показались на склоне, и видно, как блестит серебряная кокарда у водителя на фуражке. У Тереша весь хмель как рукой сняло; он нервно мнет серебряную обертку букета. Он не мелочился: семь красных роз, всё серьезно. Купить бы еще коробку конфет, такую красивую, с золотой тисненой надписью, как на обложках граадских романов, да карманы уже опустели. В окне трамвая мелькает что-то белое, и краем глаза Тереш видит, как Йеспер поднимается

со скамейки. Пускай Йеспер выделывается своими лилиями, а Хан возится с хризантемами! Розы, красные, семь штук: вот это — шик! *Róże i bomboniera, bardzo wykwintnie, Tereesz Machejek!*

Двери вагона со стальным лязгом распахиваются, и мальчик даже не замечает, как шипы вонзаются в его судорожно стиснутые ладони. Ожидание запомнилось во всех подробностях, но само событие оказалось так ужасно, что этот момент полностью исчез за завесой волнения. Что-то случилось, он что-то сделал. Девочки втроем выходят из вагона, с подножки на асфальт ступают длинные ноги в гольфах; боже, как жестоко — нарядиться вот так! Юбка трепещет на ветру — такой небрежный шик, будто это самый обычный день. Шарлотта встает перед Терешем, непринужденно положив руку на бедро, но Тереш не понимает намека и совершает ошибку — он обнимает девочку. Его руки обхватывают ее, огромный букет повисает за ее спиной, прижатый к платью, с цветов осыпается золотая пыль — ой-ёй, разве это *wykwintnie*? Он почти касается лицом шеи девочки, чувствует ее незнакомый запах. Они смотрят друг на друга — Тереш и богиня из девятого класса — и Тереш, с дурацкой улыбкой во всё красно-коричневое лицо, говорит ей: «Привет!»

— Ну, и тебе привет! — отвечает Шарлотта с грубоватым шармом. Как ни в чем не бывало. Девочка берет у него цветы, и они все вместе уходят под сосны, куда не достает вечернее солнце. Темно и тихо, и никто не знает, что сказать.

Снаружи, во дворе усадьбы Изи-чиля, Кенни выводит мотокарету на стартовую позицию. Тяжелые звуки выхлопа сливаются с шумом деревьев в отдалении, у края Серости. Ее давящая близость ощущается даже в большом доме, за выложенными камнем стенами. Свет фар со двора пробивается сквозь запыленное окно и падает на растрескавшийся каменный пол в передней старого помещичьего дома. На оконном стекле блестит улыбающаяся рожица, нарисованная пальцем в пыли.

На стук в дверь никто не вышел, замок был призывно открыт, а в прихожей на стене висели фонарики. С этими фонариками в руках Тереш Мачеек, бывший сотрудник Международной полиции, и Инаят Хан, *дезапаретист* из подвала, теперь идут через лабиринт темных комнат. Лучи фонарей скользят по рядам садовых инструментов, частям разобранной тележки, нагромождению старой мебели. Хан протискивается между штабелями черепицы, а долговязый Тереш идет впереди почти согнувшись, чтобы не задевать низкий потолок. Еще одна нежилая каморка. Боковая дверь ведет в просторную кухню с закопченным потолком, пахнущую известкой и плесенью. Фонарик

освещает батарею бутылок и что-то похожее на кусок колбасы. Время от времени Хан безуспешно пытается дозваться хозяина.

— Ты уверен, что мы приехали куда надо?

Хан в этом твердо уверен, а Терешу кажется, что в хаосе далеких, приглушенных звуков катастрофы он слышит звон бубенцов. Звон приближается, то появляясь, то исчезая, как мираж. Но он идет не снаружи, где под землей скрипят корни деревьев, а в небе с треском полощутся электропровода. Он звучит где-то здесь, в доме без электричества. Тереш садится на связку макулатуры и изучает комнату в пыльном конусе света. Он всё еще немного пьян после ягодного вина, но темнота отрезвляет. На все четыре стороны открываются обложенные разным хламом двери. Ему кажется, что сквозь звон он слышит низкое гудение электрогенератора, идущее откуда-то из самой глубины дома, и он решает пойти на звук. Скрипнув застрявшей дверью, он входит в просторный зал с низким потолком.

Выключив фонарик, Тереш опасливо ступает на покоробившийся дощатый пол. Внутри холодно. Сквозь плесень пробивается резкий запах бензина. У самых ботинок черным змеиным клубком сплетаются провода и, извиваясь, уходят в темноту в дальнем углу зала. Там ритмично мигают зеленые и желтые огоньки. Зал тускло освещен свечами: они мерцают на подвешенных к потолку тележных колесах, проливая на пол желтоватый свет; в окнах чернеет тьма. Тереш стоит в пятне света и слышит, как вокруг него кружит звук бубенцов, ледяной и чужой. Вдоль оштукатуренных стен громоздится расставленная на помостах аппаратура. Хан останавливается у двери и проводит пальцами по рельефной надписи «Моно».

— Тереш, — шепчет он, — «Моно»! А тут написано «Герц». — Под его пальцами еле заметно подрагивают зарубки высоких частот. — Это же…

— …Дискотека, — кивает Тереш. — Это дискотека.

Три четверти века тому назад на острова Озонна опустилась непроглядная ночь. Всё серое, темно-серое, и под пасмурным небом черные волны омывают пляжный песок. Сабли пальмовых листьев покачиваются над головами возлюбленных-революционеров. Попытки переворота подавлены, всё пошло прахом, всё кончено. Добрева открывает свои анархистские глаза в темном макияже. В уголке ее рта, пузырясь, подсыхает потёк яда. Абаданаиз гладит ее по голове, на зубах у него хрустят осколки ампулы. «Ты слышишь?» — говорит он, а над водой в кромешной тьме стрекочет завораживающий ритм бубенцов. Внутрь черно-белого мира начинает понемногу просачиваться цвет.

— Давай танцевать! — по-девчачьи взвизгивает Добрева. Она поднимается и идет. Абаданаиз следует за ней в волны, и черная вода плещется вокруг его лодыжек.

— Ты это слышишь? — спрашивает Тереш Хана.

— Как будто бы что-то звенит, да?

— Ага, — Тереш снимает свечу с гвоздя на ободе колеса и указывает ей в полутемное пространство комнаты. Осторожно ступая по половицам, они с благоговением проходят в дальний конец зала. Шаг за шагом из темноты появляется микшерный пульт с рядами слайдеров, монолитные динамики, возвышающиеся до самого потолка по обе стороны от него, и, наконец, сидящий за ним молодой человек в модной спортивной куртке. Складная дужка наушников прижимает его кудрявые волосы к голове. Подбородок Ульва вздрагивает в одном ритме со звуками, но глаза у него закрыты, лицо застыло от напряжения.

— Господин Ульв? — почти беззвучно шепчет Хан. — Простите, не…

— *Шшш…* — молодой человек прикладывает палец к губам. По-прежнему не открывая глаз, он так сильно хмурит брови, что кажется, будто из-под его век расходится взрывная волна.

— *Пожалуйста… не портите… мое интро*, — произносит Изи-чиль, так, будто изнутри на его зубы, как на плотину, давит огромная река, превосходящий человеческие силы груз восторга, предназначенный ему одному. Он указывает пальцем на микшерный пульт, где десятки и десятки слайдеров мучительно медленно сдвигаются вверх.

— *Это самое важное… место*.

Хан аккуратно кладет конверт на студийный монитор, туда, куда указывает подрагивающая в такт рука Изи-чиля. Тереш, отступает, пятясь — медленно, будто на складе взрывчатки. Он успевает прочесть имена девочек на конверте. Благодаря полицейской выучке он замечает, что их на самом деле два: под конвертом девочек прячется еще один. Но что написано на нем, Тереш не видит. Он ничего не говорит, а когда они вместе с Ханом на цыпочках идут к выходу, звон бубенцов вокруг становится громче, чем звуки энтропонетической катастрофы за стенами дома, и Тереш замечает, что одно приходит в странную гармонию с другим. Тереш и Хан пересекают минные поля из рухляди. Звук у них за спиной разрастается, точно взрыв, замедленный ружейный выстрел, совсем как тогда, восемьдесят лет назад. Крас Мазов стоит в дверях своего кабинета, черно-белый, как в хронике. Из его рта поднимается пороховой дым, а снаружи, в саду перед Дворцом Государственного Собрания, бушует толпа контрреволюционеров. Но Крас Мазов больше не слышит вероломного голоса этого мира: в зеркалах его кабинета звенит *интро*.

«Ну, что там с конференцией по дизайну? Ӧре Окерлу́нд говорил, что не видит в войне ничего плохого. Помнишь Оре? Когда-то я сделал ошибку, посадив его рядом с собой на фотосессии для дизайнерского журнала. Теперь все думают, что он тоже сделал что-то интересное.

Включая его самого. Он считает, что война в наше время — это своего рода хэппенинг, медиа-эксперимент. Нет, я не могу совсем исключить такой вариант: может быть и так. Он *предпочел бы* называть это "сдвигом парадигмы". — Йеспер расхаживает по номеру на последнем этаже "Хавсенглара" и репетирует сам с собой: — Знаешь, после того как он ушел из бюро… он совсем заблудился в этой жизни. Он ведет колонку музыкальных обзоров в "Дагенс". А сам давно оглох от кокаина! Серьезно, такое бывает, у него уже два раза было прободение носовой перегородки. Вы бы его видели! Просто ужас. Нос, как у свиньи. Как он пишет рецензии на музыку, если он глухой? Он не слушает ее сам, а просто читает иностранных обзорщиков. Его система оценок снимает один балл для *рока*, а *диско* накидывает, как сказал бы ты, Хан, два сверху».

Йеспер останавливается у кровати и благосклонно кивает бежевому столику в форме куба: «Что я делал в Лемминкяйсе? Да так, ничего, встречался с ребятами, это был полный сюр, но в целом недурно, мне понравилось. Ёлки, снег, конец света. Что, милая? Зачем мы вообще туда поехали? Ну, смотри. Там живет один специалист. Его зовут Ульв, и он устраивает вечеринки для самого себя. Такие, как он — редкость. Обычно людям, чтобы зажечь, нужен кто-то еще. Иначе неинтересно. А Ульв не такой. Ему никого не надо, ему хорошо и так. Потому его и называют *Изи-чиль*. Вот представь: вечером берешь себе выпить, ставишь пластинки, танцуешь, болтаешь сам с собой. Вроде как я сейчас. Только круче. Утром нормальные люди идут на работу, а ты еще *чилишь*». — Йеспер отдергивает занавески с оборками; снаружи за балконным окном темное пасмурное небо. На балконе видны влажные следы от капель.

«Что? Ах да… Ну, это всегда так. Так вот, он говорит с умершими. Да, именно так — разговаривает с мертвыми. Они приходят, когда он ставит им Ван Эйка и старого Ритвельда. Вот почему он такой одиночка. Нет, зайка, Факкенгаффа он терпеть не может. — Щелкает дверная ручка, и Йеспер ступает на застеленный циновкой балкон. — Он связывается с ними через Серость. Что бы это ни значило. В общем, ты понимаешь, почему это нас так зацепило. Эта идея. Да, это из-за тех девочек. Точно, ха-ха-ха!» — Именно отсюда Дирек Трентмёллер наблюдал за ними в тот день. Странно. Он бы не сказал, что здесь как-то особенно *жутко*. Самый обычный гостиничный номер. Слишком много морских пейзажей на стенах, циновки в коридоре отвратительны, а обои… ну, лучше, чем ничего. В остальном всё тип-топ, элегантность пятидесятых. Йеспер смотрит с балкона вниз. Там мокнет под дождем Шарлоттешель, осенняя волна омывает пляж. Балкон высоко, под самым небом, на двенадцатом этаже. Йеспер стоит там один. Он разводит руками: «Не будь наивной, конечно же, *нет*. Но шоу было впечатляющим. В их деле, в колдовстве, шоу — это самое главное.

Относись к ним как к артистам. Ну что? Куда пойдем ужинать? Нет-нет, я *правда* не хочу больше об этом говорить».

Прежде, чем уйти, Йеспер ненадолго останавливается в самом центре номера 1212 в отеле «Хавсенглар» Обивка дивана зеленая, как мох, шторы с оборками кажутся абрикосово-кремовыми в мягком свете торшера. Нет, он сосвем не против такого. Кругом равномерно серый мир, а в середине дремлет уютный женственный шик комнаты. Воплощение мещанской мечты. Йеспер стоит с распростертыми руками, словно ожидая, что что-то произойдет. Он с вызывающим видом делает несколько шагов и замирает, уронив руки вдоль тела. На кубе прикроватного столика поблескивает шкала радиоприемника, тикают часы, шторы перед распахнутой балконной дверью раздуваются, как парус.

«*Пожалуйста*», — говорит Йеспер и смотрит на комнату, на ее чистые стены и высокий потолок. Но ничего не происходит. И перед тем как выйти и отправиться на пляж, дизайнер разочарованно бросает комнате: «Пошлятина».

Йеспер уверенным шагом идет по мокрому песку. Камыши шуршат на холодном ветру поздней осени. Обрыв, где они любили сидеть мальчишками, теперь совсем заросший, синеет вдалеке за завесой водяных брызг. Тонкая белая доска для серфинга, будто меч, вонзается в осеннее небо. Йеспер поднимает свою красавицу над головой. Он бросает презрительный взгляд на виндсерферов в воде. Два часа мокнешь в гидрокостюме, чтобы в итоге влезть на какую-нибудь захудалую волну вместе с десятью такими же слабаками. Нет, у Йеспера есть свое особое место. Он уже чувствует, где-то глубоко в груди, как там вздымаются волны, дожидаясь его.

Юбка белеет в полумраке под соснами, развеваясь вокруг тонких ног четырнадцатилетней девочки. Мальчики идут вперед, следуя за знаменем Шарлоттиной юбки. Сколько еще до конца пути? Они никогда раньше не были в этой части соснового леса, где песчаные дорожки исчезают в темной зелени черничных кустов. Давно остались позади знакомые места, подвесные мосты и дорога к обрыву. Они идут в сумерках, в тишине, лишь изредка прерываемой разговором. Тени тянутся всё дальше по холмам, и стена деревьев впереди понемногу расступается.

Перед ними открывается поле, волнующееся под соленым морским ветром. Низко над полем висит солнце цвета красного апельсина. Море дикой руты шелестит, когда его рассекают одетые в гольфы ноги Шарлотты. Шесть длинных, похожих на стрелки, теней скользят по полю, девочки бегут налегке, а мальчики торопятся вслед за ними. Неужели это еще Шарлоттешель — поле, по краям которого встает колышущийся на ветру тростник? Там, где светло-коричневая сухая

трава сменяется мелким белым песком, Молин останавливается и сбрасывает туфли. Стоя рядом с Ханом, она вдыхает морской воздух всей затянутой в платье грудью. У горизонта в голубом зеркале воды горит второе солнце, разбитое на части мелкой рябью, будто взрывом. Над водой тянутся рваные ряды похожих на кляксы облаков, почти черных против света. Все шестеро стоят среди камышей, приставив ладони к глазам, и тростниковые гиганты кланяются им, благоговейно воздев руки.

Анни в шортах плюхается на песок, и Тереш угрюмо ставит переносной проигрыватель в камыши рядом с ней. В тишине прибытия мальчик вытягивает антенну и включает коротковолновый приемник, настроенный на популярную молодежную станцию. Из динамиков раздается гитарный поп, совершенно не подходящий настроению Тереша. Девочка не обняла его в ответ. Какой она была неподвижной, Шарлотта, как прямо стояла на каблуках своих босоножек. Он больше не смеет смотреть на нее: ему кажется, что в тот миг что-то сломалось. Кажется, так и случилось, кажется, что-то разрушено навсегда. Это напоминает о Юго-граадской резне. Рано или поздно хмель выветривается, и на свет выходит наша неказистая природа. В конце концов, мы всего лишь гойко — с бурыми, как картофельная кожура, волосами и глазами непонятного цвета. А Молин, свежий северный цветок, весело щелкает пальцами на фоне заката и спрашивает Хана: «Ну что, *принесли*?»

«Принесли!» — поспешно отвечает за него Йеспер. Он смотрит, как девочки расцветают, когда он выуживает из глубины кармана бумажный пакет. Молин расстилает покрывало, а Анни достает из сумки шесть искрящихся бутылок с водой. Она выкладывает бутылки в ряд на песке, а Шарлотта объясняет, что после таблеток очень хочется пить и что потом нужно будет сходить на пляж и набрать еще воды. Но ничего страшного, это будет отличным приключением для смелой пары, которая решит пойти. При этом слове мальчиков пробирает дрожь от волнения. Пара!

Только Терешу всё равно. Тереш по-прежнему думает о геноциде.

Шестеро в круг, девочки напротив мальчиков, они сидят на покрывалах, а Шарлотта вытряхивает таблетки из бумажного пакета себе на ладонь. Пакетик хрустит. Носы сдвигаются ближе, и все смотрят, как в ее руке сверкают двадцать четыре малиново-красных бриллианта. Девочка пересыпает драгоценные камни из руки в руку, пухлые красные колесики весело подпрыгивают. Одно отскакивает в сторону, Шарлотта взвизгивает, а Молин подбирает таблетку, как безделушку. С упреком глядя на старшую сестру, она старательно обдувает с таблетки песок, а после проходится по ее поверхности пальцем, будто машинкой

для шлифовки. Хан видит, как губы девочки становятся красными, как вишни. Цвета красных спидов.

— Эй, будь человеком, скажи уже, что это за *штука*! — наконец выпаливает Тереш — в сумерках, на детской площадке, где позвякивает замками своей кожаной куртки дилер Зиги.

Сейчас вчерашний вечер, парень с сальными черными волосами ходит взад-вперед по качелям. Раскинув руки для равновесия, он переставляет ноги в джинсах по балке качелей, одну перед другой. Он начинает говорить:

— Вы, наверное, слышали, что наркотики — это напрасная трата здоровья? — Другой конец качелей ударяет в землю, когда юнец проходит середину. — Побег от *реальности*, бессмысленная блажь, и прочее? — Это риторический вопрос, и Зиги отвечает на него сам: — Всё это чистая правда. Кокос делает тебя мудаком, шмаль — идиотом… Держитесь подальше от этой дряни, она притупляет разум и, честно сказать, опасна для незрелого организма. Она того не стоит. — Зиги спрыгивает с качелей, песок разлетается из-под его кед. — Но только не данный препарат! Те, кто делают такие обобщения, просто не пробовали… — он выдергивает из заднего кармана бумажный пакетик и трясет им у Тереша перед носом, — …самарский амф! Вы даже не представляете, как вам повезло! Я сегодня непозволительно щедр! Сам не знаю, зачем я его продаю. Не лучше ли приберечь его для себя? — Черные глаза Зиги блестят в сумерках. — Этот стафф такой новый, что у него даже еще нет названия! Девчонки называют его красными или вишневыми спидами, парни говорят «самарский амф». Это потому, что он из Самарской Народной Республики. Всё хорошее в этом мире делается в Самарской Народной Республике. Его возят к нам через Серость. Первый в мире наркотик для регулярного применения, придуманный коммунистами! У них его принимают энтропонавты в Серости, чтобы ничего не бояться! Но что, если закинуться им для кайфа? Это очень новаторски, очень прогрессивно. «Летучий Коммунист»! Так его называют в Грааде. Но лично я… Знаете, как я его называю? — Тени под скулами Зиги, его черные брови и складки в уголках глаз придают ему злодейский вид.

— Ну? — спрашивает Тереш.

— *Химическая свадьба*, — отвечает Зиги. — Я называю его «химическая свадьба».

Маленький Инаят Хан, поджав ноги, сидит напротив Молин и смотрит, как девочка, ни раздумывая ни секунды, закидывает таблетки в рот, будто леденцы. Скрипит, отвинчиваясь, крышка бутылки, и Молин утирает воду с губ.

— Ну, — бодро спрашивает она, — чего сидим? Давайте прямо сейчас, а то они подействуют только через сорок пять минут. Ждать замучаешься.

— Ты выпила две?! — ужасается Шарлотта. — С ума сошла!

— А что такое? — бурчит Тереш, и Хан чувствует укол страха за своего друга, конопатого философа-абсурдиста. Всё еще думая про Юго-граадскую резню, Тереш хрустит своими таблетками. Он не запивает, приторно-сладкие от сахарина химикалии шипят у него во рту, но Тереша это не особо беспокоит. — Я тоже взял две. «Летучий коммунист!», — говорит он, глотает и раскидывает руки, как крылья.

— Эй, хватит! — кричит Шарлотта, а Анни шипит:

— Две — это много, начинать надо с половинки. Что нам теперь с вами делать? Скорую вызывать?

— Не надо, — усмехается Молин. В прошлый раз я сразу съела целую, и было очень хорошо. Наверное, теперь будет вдвое лучше. А ты как думаешь, Тереш?

— Я читал про ограбления банков, к которым готовились хуже, чем мы к этому вечеру, — вдруг, к собственному удивлению, вмешивается в разговор Хан. — Вот, газовые фонари на случай, если станет темно, — он сердито вытаскивает из конфискованного у Тереша рюкзака три фонаря. — И запас воды! — Канистра с водой гудит, приземлившись на песок. — Зиги сказал, что под этой штукой — я, если честно, так и не понял, как она называется — в общем, под ней всё становится мерзким на вкус. У нас всё уже и так идет… не знаю, странно.

— Ну да, — Шарлотта поднимает малиново-красную таблетку, держа ее двумя пальцами. Она смотрит на Хана, чьи внезапно открывшиеся лидерские качества немного сбили ее с толку, и выжидательно произносит: — *Skål*?

— *Skål*, — отвечает Хан, и Йеспер смотрит, как его друг-ботаник и Шарлотта чокаются бутылками с водой. Только Анни, которая лежит напротив него, всё еще катает свою таблетку на ладони.

— Ну что? — опустив подбородок на руки, девочка бросает взгляд на Йеспера. — *Skål*?

Йеспер рассеянно смотрит поверх ее головы: на ее зад в шортах с разрезами по бокам, согнутые в коленях ноги, ступни, на которых небрежно болтаются шлепанцы. Девочка улыбается; она не глотает таблетку сразу, а держит на заостренном языке, давая ей подтаять от слюны.

— Они сладкие, такие сладкие, что даже противно, но мне очень нравится. Наверное, это только потому, что я знаю, как хорошо от них бывает. Если бы ты знал, тебе бы тоже понравилось, — девочка смотрит на Йеспера, а Йеспер смотрит вдаль через ее ноги. На остывающий солнечный взрыв над водой. Внезапный порыв ветра шуршит

камышами, все замолкают и прислушиваются. Мальчик сует колесико в рот и представляет, как сахарин искрится на языке. Поколебавшись еще секунду, он глотает таблетку. Страх подкатывает к горлу, кислая среда желудка реагирует, бездумно разлагая малиново-красный бриллиант. Стабилизаторы и красители шипят. Волны плавно, как во сне, набегают на пляж, кричат чайки; для этого сумрачного мира мальчик в белой матросской шапочке теперь всего лишь пассажир: он во власти полусинтетики. Йеспер вверил ей себя — последним из шестерых, но по доброй воле. Как и все остальные. Он еще не знает об этом, но его неразвитый метаболизм уже разносит по телу микроскопические хлопья углерода, кислорода и водорода; в нём оседает нехарактерная комбинация элементарных частиц. От него здесь больше ничего не зависит, всё зависит от них. У них свой план, и до его осуществления осталось сорок пять минут. Они встраиваются в него, формируют новые модели поведения, захватывают контроль — тихое оружие тайной войны.

Но это едва заметное психофармакологическое дуновение не сравнится с бурей, которая обрушилась на цветок тринадцатилетнего тела Молин Лунд. Запрокинув голову, Хан смотрит, как девочка поднимается на ноги и расплетает свою светлую косу. Волосы развеваются на ветру. Молин кладет руки на живот, словно гордая будущая мать. Под ее платьем в белый горошек обмен веществ переходит в форсированный режим. Она уже чувствует, как утренняя тошнота клубится в ее пищеварительном тракте, когда по розовым, пронизанным жилками лепесткам внутренних стенок растекаются фенилэтиламины. Амфетамины последнего поколения, *non plus ultra*! Ее тело хочет избавиться от хитростью проникшего внутрь диверсанта, но она храбро удерживает его в себе. Она тоже хитра: нарочно ничего не ела целый день; а еще она красива, очень красива.

На глянцевой обложке журнала для девочек, как костяшки на счетах, выстроились в ряд двенадцать бриллиантов. Вначале их было двадцать четыре. Одну взяла Шарлотта, одну взяла Анни, одну — Йеспер, и еще одну — Хан. Тереш взял две. Давайте посчитаем. Прямо сейчас, пока ветер треплет волосы Молин и она чувствует, как всё это — ее никем не узнанный секрет — уже переливается через гематоэнцефалический барьер. Поднимается апокалиптический шторм из серотонина. Ну что тут скажешь: у Молин Лунд хищные кошачьи зубы, мягкое округлое тело, у нее чистые пятерки в табеле за восьмой класс, и она очень любит, когда ей хорошо.

Все вшестером они садятся в ряд, положив руки на колени, и молчат. Они ждут, линия горизонта становится темно-золотой, и солнце под прерывистой сине-зеленой полосой облаков касается краем воды. Молин отмечает его положение большим пальцем, как

остаток времени на песочных часах. Солнце под пальцем опускается всё ниже, и, с каждым мгновением небо у девочки за спиной становится всё более темного синего цвета. На нём загорается звезда за звездой, и в тишине можно услышать, как песок шипит под отступающими волнами, словно пузырьки в лимонаде.

Йеспер стоит на пляже, где, кроме него, нет ни души. Двадцать лет лежат у него за спиной, а перед ним встают океанские волны. Правой рукой он придерживает белое лезвие поставленного хвостом на песок серфборда, левая рука лежит на бедре. Как обычно по такому случаю, Йеспер оделся в черное. На нём полный гидрокостюм со шлемом. Его светло-голубые глаза глядят из отверстия маски, как у киношного грабителя, сквозь прорезь для рта видны покрасневшие от холода губы. Этот пустынный пляж приветствует Йеспера каждый год. Береговая линия меняет форму, островки, как живые, переползают с места на место, но профиль дна всегда остается прежним. Йеспер пробирается сквозь тростник и медленно входит в океан. Десятиградусная вода Северного моря крепко сжимает его сквозь гидрокостюм, с каждым шагом всё выше и выше. Даже сквозь холодостойкую неопреновую кожу костюма тело отдает свое тепло воде. Это происходит медленно, незаметно. Через три четверти часа наступит переохлаждение.

Волны обхватывают его за талию; волны поднимаются перед ним в темно-серых сумерках. Йеспер ложится животом на доску и начинает грести. Вода плещется о доску, волны разбиваются об нее, когда Йеспер взбирается на них. Чем дальше он заплывает, тем выше они становятся, и вот он уже не может переплыть через гребень волны. Прежде, чем вздувающийся горб успевает его поднять, Йеспер вдавливает острый нос доски под воду и ныряет. Переохлажденная ледяная вода ударяет ему в лицо, поток обвивается вокруг него, затягивая в подводный вихрь. Вода жжет глаза, как расплавленный металл. Угольно-черный силуэт Йеспера скользит над бездонной водной могилой и толкает светящуюся белую полоску серфборда в темноту.

— А как от них бывает? На что это похоже? — наконец спрашивает Тереш, и пока Шарлотта, наперебой с Анни, объясняет мальчикам про обострение всех чувств и ощущение блаженства, которое трудно передать словами, всё это понемногу надвигается на них, будто антициклон в темнеющем небе. Хана наполняет странная отрешенность от происходящего. Он моргает глазами за толстыми стеклами очков, размеренно дышит и ощущает себя, свое грузное тело, свои жировые складки и свое лихорадочно бьющееся сердце так, будто всё это больше не часть его самого. Молин благосклонно придвигается ближе к Хану, и они отделяются от компании.

Здесь так хорошо и спокойно — в тихом мирке Хана, полосатом, как линия горизонта. Сейчас она похожа на триколор Ильмараа — броское сочетание красок, которое вспоминается девочке при взгляде на Хана, — и кажется, что всё вечернее небо, остывая, становится им. Молин говорит об этом мальчику, и заодно предупреждает, что сегодня будет еще много таких откровений. Потом, когда *подействует*.

— Очень хорошо, — качает головой Хан, всё больше приближаясь к новому себе: такому, каким его делает промышленно изготовленный эмпатоген. На эту ночь и на всю оставшуюся жизнь. Если вдруг понадобится, он вернется сюда, где всё в порядке. Всё под контролем. — Да, кстати, вот эти цвета, цвета вечернего неба. Бирюзовый, фиолетовый и оранжевый. На флаге они такие яркие оттого, что в Ильмараа нет красок подходящего оттенка. Они там просто не встречаются в природе. Вся беда в этом, а еще в безумно ярком солнце, под которым всё выцветает. Может показаться, что у ильмараанцев дурной вкус. Но на самом деле это из-за почв и солнца. Они и рады бы использовать спокойные цвета, но не могут.

Молин кивает.

— Знаешь, мне иногда просто нечего ответить. Особенно в таких разговорах. Я ничего не понимаю в красках, но мне правда нравится, как ты рассказываешь. Так что не обижайся, что я молчу, ладно?

— Не надо оправдываться. Я и так знаю, что всё это интересно: и краски в Ильмараа, и старинные аэростаты, и даже йога, про которую я рассказывал, когда тебя провожал. Мне не надо об этом говорить. — Они смеются, тихо, будто скрывая свои шутки от остальных. В конце концов Хан замолкает и снова поворачивается к океану, задрав подбородок: — А можешь рассказать, как это? Что ты чувствуешь? Ну, когда поймаешь кайф.

— Я не знаю, как так выходит, но у моего настроения появляется цвет, — объясняет Молин, и Хан с достоинством кивает. — Я бы сказала, что оно черное. Очень темное. Это очень приятная темнота.

Хан снова кивает. Ему понемногу начинает нравиться это только что открывшееся ему ощущение. Ему хочется, чтобы весь мир рассказал ему всё. Обо всём. И Хан сдержанно кивнул бы в ответ, выразив свою скромную признательность. Признательность Инаята Хана. Это не шутка. Он чувствует, как потеют ладони, немеют руки. Молин говорит, что так и должно быть. Это совершенно нормально. Это значит, что уже скоро. Скоро начнется.

Хан вдруг с горячей заботой смотрит на это создание рядом с собой, и создание смотрит на Хана в ответ — от всего сердца желая ему добра. Девочка чуть заметно дрожит, она стискивает зубы и комкает покрывало в потных ладонях. За темно-зелеными глазами Молин Лунд вспыхивают чудесные мысли, перенастраивается ветвящаяся синаптическая сеть ее серотонинергических нейронов. Отменяется

установленный порядок, ужасное явление, которое зовется первородным грехом, сменой настроения, способностью к обратному захвату серотонина. Этот химический цикл, который изо дня в день дразнит Молин Лунд своими скупо отмеренными сладостями — в школе с утра и за домашней работой вечером, — теперь больше не работает. И, будто этого мало, нейроны перекачивают излишки с противоестественной щедростью. Девочка вся пропитана сладким соком этих черных, как тушь, перезрелых гроздьев, чистым жидким кайфом. Гитарная поп-музыка пятидесятых из переносного проигрывателя становится то тише, то громче. Транспортные белки заняты перекачкой удовольствия — в таких количествах, что ни тело, ни разум не успевают отреагировать как следует.

— Мне страшно, — вдруг говорит Молин. — Что-то не так, в прошлый раз было совсем по-другому. Я сейчас слышу тебя, а всё остальное просто крутится вокруг. Кажется… я не знаю, что мне кажется. — Дыхание девочки заметно учащается. Она поворачивается спиной к старшей сестре и тихо говорит через плечо: — Жарко. Лотта, помоги мне снять платье, пожалуйста.

— Что, уже?! — Шарлотта бросает взгляд на часы, другой рукой расстегивая молнию на платье Молин. — Еще целых пятнадцать минут. Конечно, может, в этот раз подействовало раньше…

Голос Молин слабый, прерывистый:

— Голова кружится, ничего не вижу… — Она поднимает руки.

— Это ничего, — спокойно произносит Хан, не теряя самообладания. Чем сложнее ситуация, тем невозмутимее он становится. Он всё так же медленно моргает, вдыхает и выдыхает. Морской воздух наполнен прохладой, а перед глазами лежит подернутый рябью океан, такой бескрайний и безмятежный. — Если у тебя кружится голова, надо закрыть глаза, — говорит Хан и решает, что было бы по-джентльменски не смотреть в ту сторону, по крайней мере, пока. Платье в горошек шуршит в воздухе, как обертка, когда Шарлотта одним движением стаскивает его через голову Молин.

Девочка еле слышно вздыхает: «Господи боже, как страшно… Господи…» Она опускается на землю возле ног сестры, изгиб ярко-красных губ шевелится в темноте: «Началось…»

Хан больше не может не смотреть. Венец волос Молин разметался по пышным складкам платья Шарлотты, одетое в купальник тело пылает жаром на коленях у сестры, отверстия зрачков раскрыты в мидриазе — огромные черные круги без следа радужной оболочки. Остальные пятеро сидят вокруг нее кружком, а Молин поднимает взгляд на Хана.

— Почему ты такой спокойный? — спрашивает она.

Хан отводит взгляд от мягкого тела девочки, от лихорадочного движения рук и ног. Он смотрит на холодные волны Северного моря,

в которых утонуло солнце. Темные гряды облаков растворяются в воздухе, как призраки.

— Не знаю, — говорит Инаят Хан, снимая запотевшие очки и привычно вытирая их платком. — Я думал, это так и работает. Что какое-то время будет вот так, по-ненормальному спокойно.

Шарлотта гладит Молин по голове.

— Может быть, у меня первый раз тоже был тихий. У тебя ладони потеют?

— Они у меня всегда потеют, Шарлотта. Но да, думаю, сейчас они тоже потеют.

Молин кутается в платье сестры, как в прохладные простыни. Она прячется в него, будто в колыбель, в детскую кроватку; платье шуршит, как накрахмаленное белье, такой приятный, свежий запах… Ее телу всего тринадцать лет, но в красных сумерках центральной нервной системы уже разливаются реки окситоцина, как в послеродовом блаженстве. Доверие и нежность переполняют ее едва появившиеся молочные железы, гормон оргазма поднимается, как тесто, в тепле жировой ткани, девочка заливается румянцем в этих ласковых волнах. Она любит всех. Анни с завистью смотрит, как она извивается: «Ого, как тебе хорошо!»

— Боже мой, до чего хорошо, — выдыхает Молин. — Ты не представляешь, как хорошо. Пожалуйста, скажи что-нибудь приятное, это так сильно отзывается. Я боюсь, что без этого будет слишком грустно.

— Вот что может случиться, — кивает царственной головой Шарлотта. На всякий случай она прикладывает ладонь к груди Молин, и в ужасе отдергивает руку, как от горячей плиты. — Ничего себе, как у тебя сердце бьется! Будто копыта стучат, послушай! — Анни наклоняется и прикладывает ухо к груди сестры. — Молин, скажи честно, сколько таблеток ты съела!

— Две, — врет Молин. Она съела не две, она съела *шесть*. Одной рукой она гладит шелковистые волосы Анни, а другой ловит в воздухе руку Хана. Ее она тоже прижимает к груди, нуждаясь в близости, и шепчет: — Всё хорошо, правда, всё точно так, как надо, господи, как мне хорошо… — она медленно поводит головой, будто отшатываясь от волн жара и холода; они в ярости встают перед ней на дыбы, закусив удила. Вещество бесчинствует, сеет хаос. — Мне в жизни не было так хорошо, всё такое мягкое, вот потрогай… — Молин еще крепче прижимает руку мальчика к ребрам, круг сиделок вокруг нее становится теснее. Расправив плечи, Хан восседает над этой суетой: он смотрит на девочку, гордо подняв подбородок, и в его сердце царит неописуемый покой. Он ощущал его и раньше, но с каждым мгновением это чувство становится сильнее и явственнее. Смуглый мальчик смотрит вниз, его

глаза, увеличенные толстыми линзами очков, теперь полностью черные. Он настоящий хан, серберийский лев, предводитель народов.

— Молин, на меня, кажется, тоже подействовало. Это волшебно, — жмурится он.

— Это я тебя заразила! — девочка заливается краской и от души улыбается своему первенцу. Хан выдыхает и чувствует, как его дыхание, пугающе теплое, касается девочки, будто лезвие меча, а мир вокруг радостно звенит темнейшим черным цветом. Атмосфера вибрирует, будто сняли шумовой фильтр, стая перелетной саранчи стрекочет, задевая лапками за нити, из которых соткано всё. Это дрожащее биение пронизывает всё вокруг, и в мягкой глубине под рукой Хана, в теплой темноте тела Молин Лунд звучит аварийная сигнализация.

Чокнутый мотогонщик в сердцах ударяет по колесу мотокареты, стоящей перед домом. Чем дальше, тем хуже, в ушах роятся высокие частоты. Помолчите хоть минуту, дайте Кенни сообразить, почему не включается третья передача. Вот это точно повод для волнения. Он смотрит на покосившуюся дверь старого деревянного особняка, и мир, вместе с плывущими в воздухе снежинками, замирает на один кристально ясный миг. Фронтон дома возвышается над ним, черный на фоне темно-синего неба, всё спокойно, всё тихо. Взгляд возвращается вниз. Изо рта Кенни в зимнюю тишину вырывается серебристая струйка выдоха.

Еще семьюдесятью годами раньше Надя Харнанкур шагает с перил моста в пустоту, великолепное бальное платье выворачивается наизнанку, материя трепещет в полете. Она падает, запрокинув голову, прямая, как палка; нижняя юбка колышется белой медузой, и сквозь нее звезда оперетты бросает последний взгляд на мир. Река Вера с плеском смыкается над ней — ртутный поток в кружеве пены. И из далекого далека, будто бы из детских воспоминаний, доносится звон бубенцов.

Инаят Хан и Тереш Мачеек выходят из дверей особняка. Высокий экс-агент удивленно осматривается в наступившей тишине. Так приятно смотреть, как танцуют снежинки в свете позабытой свечи, которую он всё еще держит в руке. Кенни машет им от мотокареты, с облегчением прижав вторую руку к сердцу.

Они делают пару шагов, Тереш успевает услышать скрип снега под ботинками, как вдруг позади взрываются низкие частоты. Кенни видит, как двое мужчин в испуге оглядываются на дом. Грохочет оглушительный бит, оконные стекла дрожат в ритме его басов.

Маленький Тереш танцует, самозабвенно, как джикутский шаман. Он трясет пальцами в воздухе, они онемевшие и мягкие, и мир шепчет вокруг. Ветер шуршит в камышах, остужая его голое по пояс тело и блестящий от пота лоб. Доброта мира безгранична, Юго-граадской

резни никогда не было, Франтишек Храбрый возвращается и ведет за собой революционную армию СНР, и над ними развеваются белые знамена. Тереш может попросить у этого мира всё что угодно, но на то, что сейчас перед ним, он не смеет даже взглянуть. Оно уже не принадлежит этому миру. В черном зеркале его слуха из «Моно» звучат только низкие частоты бас-барабана. Ребята сделали себе укрытие в тростниках. Всем шестерым понравилась эта идея. «Пойдем туда, да, пошли, устроим гнездо!» — кричали они наперебой.

Хан зажигает в темноте газовые фонари. Запах газа ползет по обонятельным рецепторам, противный, как слизняк. Вспышка зажигалки — и светильник, поморгав, загорается, синие язычки пламени танцуют под стеклом, тонкие тени детей падают на тростники вокруг. Хан смотрит на плоды своего труда, и ему нравится то, что он видит. Ему нравится, как тени от пламени пляшут на щеках у Молин. И он не боится ей об этом сказать, а девочка благодарна ему за это. Молин Лунд мечется на платье Шарлотты в своем белом купальнике — пресыщенная, перезрелая. Ее мозг больше не в силах обработать поток приносящего удовольствие вещества, но ткани ее тела продолжают поставлять еще и еще. Теперь вещество избивает девочку — жестоко, ревниво. И ничто в этой горячечной ночи не обещает покоя. Еще удар, точно в цель; Молин прижимает руки к телу, у нее перехватывает дыхание. Удовольствие от прикосновения к платью трещит в лимфоузлах, гладкие подмышки стерлись до розовых полос об обтянутые трикотажем лубки — но нервные окончания давно онемели: слишком онемели, чтобы что-то ощущать. Органы чувств зашкаливают, физический аппарат больше не принимает кайф. Вода из бутылки в ее руке выливается на покрывало, но никто не замечает: все болтают вокруг, как ни в чем не бывало. На внутренних сторонах бедер у Молин выступили горячие красные пятна, голова поникла, почерневшие глаза вспыхивают с одной и той же частотой — в режиме выгорания. А вокруг на песке вянут букеты лилий, хризантем и красных роз.

Девочка обмякает, ее тело не выдерживает нагрузки. «Пожалуйста, успокойте меня, мне слишком хорошо… — бормочет она, — и слишком грустно».

Звезда оперетты распахивает глаза так, что видны белки: сожаление, удушающее сожаление желёз! Что же я наделала — дура я, дура! Ледяная вода хлюпает в губках-легких безжизненного повествования о Наде. От всего, что сделала Надя, в истории остается лишь пустой рукав — бесформенный, лишенный тепла руки. Она становится муляжом, домыслом, и едва ли кто-нибудь вспомнит, кем была Надя на самом деле. Никто из этих людей не слышал ни прославившей ее «Жены офицера», ни ее скандального номера

в «Подружке юнги» — разве что в качестве исторического курьеза. Нелепого преувеличения своей эпохи. Она забыта, состарилась, на что ей теперь красивое платье, ведь ей некуда в нём пойти! Но за мерцающей поверхностью воды огни еще только зажигаются. Всё еще впереди, вот заиграли ее любимые флейты-пикколо и звонкие фанфары — такой праздничный звук! Рокочут литавры, и грохот воды в ушах у Нади звучит как фурор, овации, жизнь, горячий, пламенный восторг. Она возвращается на поверхность, и ее снова окружают молодые, красивые люди. Вот это настоящий праздник, думает Надя. Видно, скоро этому миру конец.

— Нет, — говорит ей Франтишек Храбрый, — осталось еще восемь лет. — Какой красавец, а что за взгляд — словно у степного орла!

— Восемь лет? Так значит, всё еще возможно!

— Да, для этого мира возможно всё, — отвечает Франтишек Храбрый.

Анни, младшая сестра, заботливо, как сиделка, поит Молин водой из бутылки, а Хан отодвигает рукой камыши, будто занавес, открывая взгляду морские волны. Он начинает рассказ. В темноте на фоне колеблющейся воды движется пара силуэтов. Они танцуют. Один неистово, другой в том же ритме, но в три раза медленнее. Анни укутывает пылающее тело сестры в кокон платья. Сама Шарлотта давно из него выбралась. Сорок минут назад, когда приняла еще таблетку.

Она идет сквозь темноту к кружащемуся в танце Терешу и своим голосом открывает ему глаза. Полураздетая девочка прикладывает ко рту мальчика бутылку с водой и говорит: «Эй, Тереш! Тебе надо попить, не то получишь тепловой удар. И тебе тоже, — кричит она через плечо, — не забывай пить воду!» Мальчик берет бутылку и жадно пьет, его жажда неутолима. Но вот прохлада воды наконец ее усмиряет. Блаженный химический покой придавливает мальчика к земле. Рассеянно заложив большие пальцы за резинку золотистых трусиков, Шарлотта Лунд покачивает перед ним своим освобожденным от кокона телом. Чуть запрокинув голову и закрыв глаза, девочка кивает в такт ударам бас-барабана. Вдруг по ее губам пробегает улыбка, и она коротко смеется. Как будто над шуткой, понятной ей одной. Это ломает Тереша; это и еще половина таблетки, которую он проглотил тайком от всех. Он слышит, как смех дрожит там, в таинственном лабиринте чужого мозга. Каково это — *смеяться* этим смехом? Он больше не о чем-то или над чем-то, его причину уже не объяснить словами, она давно исчезла, потеряна для Тереша.

Одетый в школьную форму Мачеек шел вниз по лестнице. Откуда ему было знать, что в Ваасе школьную форму носят только полные неудачники, ребята, которых толкают об стенку в коридоре? Он только что приехал. Прямо перед ним спускалась старшая из сестер Лунд, ее

туфли цокали по камню ступенек, а рядом с ней шел ее друг-десятиклассник Красавчик Александр, и рот у него не закрывался ни на секунду. Тереш, будто тень, проследовал за ними в школьную столовую. Сама Шарлотта Лунд никогда не ходит в столовую, она не ест, ей не нужно обмениваться веществами с этим миром. Но Красавчик Александр увлек ее за собой. Восьмиклассник Тереш Мачеек встал за Шарлоттой и налил себе морс. Девочка обернулась и потянулась за половником для морса. Тереш подал его ей. Вот так это и случилось.

— Ты Шарлотта Лунд, — пробормотал Тереш полумифическое имя девочки.

— А *ты*?

— Тереш Мачеек, — сказал Тереш Мачеек. И так с тех пор и осталось.

Кончики каштановых волос Шарлотты гладят ее плечи, когда она качает головой в такт музыке. Она поднимает руки над головой, тонкие, как паучьи ножки, пальцы сплетаются в воздухе, а ниже ключиц торчат маленькие голые груди, белые в обрамлении загара. «Кайф, Тереш Мачеек! — смеется она и радостно мотает головой из стороны в сторону. — Я. Только что. Поймала. Кайф!» На песке внизу, где стоит на коленях Тереш Мачеек, девочка одной ногой скатывает с другой темно-синий гольф. А потом, когда она садится на корточки, Тереш Мачеек говорит ей: «Я тоже». Их окатывают волны тепла и холода. Между белыми бедрами девочки блестит золото трусиков, и Тереш смотрит на них. Бескорыстно, с детской асексуальностью. Просто, ну… потому что красиво. Мальчик и девочка валятся друг на друга, как костяшки домино. Они чисты от похоти. Это всего лишь игра.

Тереш, Хан и чокнутый гонщик-суру стоят во дворе и смотрят, запрокинув головы, как Серость подползает к старому дому. Там, внутри, раздаются мощные удары бас-барабана, а снаружи, за силуэтом особняка, черный лесной массив вдоль всего горизонта медленно заворачивается к небу. Серость отвесной волной встает над еловыми лесами, над горными хребтами у края небес. Ее ужас медленно, с гулом наползает на мир, но мир состоит из материи, а материя, вечнозеленая, древняя, держится с непостижимым достоинством и, исчезая, улыбается — спокойно и ласково, как улыбался когда-то Франтишек Храбрый за мусорной свалкой. Молчаливо чернеют зубцы ее гор, расстилаются поляны и сверкают под звездами покрытые инеем ели.

— Я, конечно, не К. Вороникин, но… — кряхтит Тереш из салона кареты. Он обшаривает сиденья. Хан стоит снаружи, опершись ногой на карету, как это делает Кенни.

— Что — «но»?

Тереш задом выползает из машины с бутылкой ягодного вина в руке.

— Сдается мне, Хан, что через полчаса тут уже не будет ничего, кроме Серости.

— *Että mitä? Mitä se sanoi?**

— Ничего, Кенни. Не слушай его. Он же не К. Вороникин или кто-нибудь в этом роде.

Тереш с хрустом откручивает крышку с ягодного вина и прикладывается к бутылке. Будет лучше, если он промолчит.

— Есть такая океанографическая легенда. Волны-убийцы, — маленький Хан указывает на море. Все четверо смотрят туда, куда он показывает, из теплой безопасности пляжного покрывала. Вокруг горящих в темноте фонарей жужжат насекомые. — Долгое время так и считалось: что это просто миф, моряцкая байка. В ардском языке у них даже название мифологическое: *halderdingr*, «колдовская волна». Но теперь это научно задокументированное явление, их существование доказано, понимаете? Это объясняет десятки, сотни бесследно исчезнувших кораблей. Еще их называют «волна-одиночка», «волна Дропнера» и — вот это название мне нравится больше всех — «бешеная волна». Они появляются как бы из ниоткуда, и при этом в разы выше остальных волн. То есть, при слабом волнении волна-убийца тоже будет относительно небольшой. Но из десятиметровых волн, например, образуются самые высокие научно измеренные волны в мире. Я видел документальные кадры с такой волной! — Хан воодушевленно мотает подбородком в подтверждение невероятности увиденного. — Ее засняли на мескийской буровой вышке посреди океана. Вы не представляете, какой это монстр! — Хан чувствует, как его язык и разум работают в полном согласии. Всё выходит идеально. Язык мог быть косным, разум ненадежным, но только не сейчас! И теперь так будет всегда. Он забыл опустить поднятую руку. Она по-прежнему показывает ужасающую высоту волны-убийцы, образованной десятиметровыми волнами.

Молин смотрит, как он указывает в небо. Слабая вспышка любопытства спасает ее из хватки собственного тела. Теперь она знает, что ей нужно. Нужно догнаться. Совсем чуть-чуть, и всё начнется заново. Только еще сильнее. Заглатывая воздух полуоткрытым ртом, девочка жадно пьет воду из бутылки. Ее губы блестят от воды:

— А *откуда* они берутся?

— Это ведь математика, да? — Йеспер сидит, подперев щеку рукой. — Есть какое-то математическое правило, которое их объясняет?

— Точно! — отвечает Хан. — Нелинейный эффект. Я не стану даже

---

*Что такое? Что он сказал?

делать вид, будто понимаю, что это такое, но это неважно! Получается, что волна-убийца может сама собой образоваться из нескольких меньших волн по определенной формуле. Если они движутся в большом водном пространстве, например, в океане, то есть вероятность, что в какой-то момент они соберутся в почти вертикальную, крайне неустойчивую волну-монстра. Она поглощает энергию движения других волн, и вода вокруг делается спокойной. Обычные волны превращаются в рябь, а волна-убийца тут же рушится под собственным ненормальным весом. При этом она может, эм… если можно так выразиться… *наносить* огромные разрушения. И знаете, где такие волны появляются чаще всего, во всем мире? — Хан завершает речь широким жестом.— *Здесь*. Это явление называется «североморская осенняя волна».

— Охереть, — смеется Анни: язык у нее понемногу развязывается, и она начинает сквернословить. Глаза девочки давно почернели от мидриаза. Она смотрит на море, откуда, как ей кажется, в любой момент может прийти охеренная волна. Но приходит только Тереш, и с ним Шарлотта.

— А знаешь, что самое *охеренное*? — застенчиво спрашивает Хан. Он протирает свои диаматериалистские очки и снова их надевает. Миндалевидные глаза за толстыми стеклами сощуриваются, полные научно-популярных тайн: — Тот же эффект — не спрашивайте, как, я не знаю — но тот же нелинейный эффект объясняет поведение *Серости*. Его используют в энтропонетике. Точно так же ведет себя Серость, когда поглощает мир.

— Как колеса от трактора, — говорит Шарлотта, заглянув мальчику в глаза. — Ух, как тебе хорошо. Кстати, Хан, можно кое-что тебе сказать?

— Да, можно, — кивает юный Инаят.

— Ты *чрезвычайно* умен для своего возраста.

Голос Шарлотты по-королевски искренен. Хан чувствует себя увенчанным ее комплиментом.

— А у тебя очень-очень хорошая осанка, — отвечает он, и девочка от души смеется.

Перекрестный огонь восхищения и признательности грохочет, как океан, сотрясая и озаряя всё вокруг, как вдруг из самого его центра выныривает Анни. Она движется проворно, как выдра, вертя головой по сторонам, как будто что-то ищет. «Эй, — говорит она, — у тебя воды не осталось?» Йеспер не замечает, что взгляд Анни обращен на него и все ждут его ответа. Он всё еще завороженно смотрит на море, сдвинув белую матросскую шапочку на затылок. Он не чувствует ничего особенного, голова вполне ясная — только жарко. Йеспер немного разочарован. Никакой романтики тоже не получилось. А вот история про волны-убийцы оказалась весьма недурна.

Мужчина в гидрокостюме, задыхаясь, выныривает на поверхность. Он сплевывает ледяную воду и вползает животом на доску для серфинга. Одинокая черная точка по имени Йеспер плещется во власти волн в полукилометре от берега. Он смотрит на хронометр на руке: еще четверть часа, и переохлаждение станет критическим. Нужно отдохнуть. Йеспер пытается расслабить мышцы, дрожащие от молочной кислоты. Он оглядывается назад, где за пляжем Шарлоттешеля виднеется полоска соснового леса, а над ней в пасмурном небе медленно рушатся облачные башни. Доска поднимается и опускается на груди водоема, в ритме его дыхания.

И вдруг всё затихает. Где же все мои волны?

Во веки веков, эти четыре легендарных, ужасных, последних слова:
Почему ты меня оставил?
Я по-прежнему верен себе, я взываю к каждому богу, как к волне:
Ты не оставишь меня в этот раз? Ты не оставишь меня?
Ты ведь не оставишь меня, правда?

Приближается чудовищный рев. Йеспер поднимается на ноги на своей доске, сдвигает резиновый шлем на затылок, и смотрит в ту сторону; светлая прядь прилипла к его щеке. Перед крошечной щепкой его серфборда вздымается темно-серая стена исполинской волны. Точно клеточная мембрана. Она стоит вертикально, пенный гребень закрывает Йесперу небо, летят брызги. Разрастающаяся волна поднимает доску на круп. Знаменитый дизайнер гребет изо всех сил. Он пытается развернуться на волне.

Но *halderdingr* движется с бешеной скоростью.

— Очень жаль, — участливо вздыхает Анни. — Тебе могло бы быть так хорошо.

Они стоят под фонарем, на асфальтовой дороге, и там, где асфальт уходит в песок, начинается большой пляж Шарлоттешеля. Позади сорок пять минут лесной темноты и упоительной болтовни. Как здорово было поговорить вот так, наедине.

Йеспер подставляет канистру под темно-красный водяной насос и начинает качать. Вода поет, наполняя сосуд.

— Ну, я не в обиде, было очень приятно с тобой пообщаться, честно. И остальным, по-моему, тоже всё очень понравилось. Ну, вроде бы. Правда, Хан ведет себя так, будто обрел какое-то космическое спокойствие, а Молин…

— Молин спеклась.

— Точно. По-моему, это самое подходящее слово, — Йеспер закручивает крышку канистры и наполняет водой две бутылки. Сунув

их в карманы, он вопросительно смотрит в сторону Анни. Мошкара отчаянно бьется о стекла уличного фонаря, под которым девчонка трет босые ноги одну о другую. Газовый светильник качается у нее в руке. Тонкий пушок на ее голых ногах сияет в электрическом свете. Она улыбается: именно ее улыбка вызвала у Йеспера этот вопрос, как будто рот Анни передал его прямо ему в мозг.

— Я поняла! — говорит Анни. — Наверное, тебе надо было нюхать. Ты ведь у нас парфюмер.

Йеспер присаживается на корточки напротив девочки: на асфальте между ними, посередине зеркальной вставки в кошельке Анни, блестит единственная таблетка.

— Надо что-то твердое, чтобы растолочь, — говорит девочка, а когда радостный Йеспер прибегает обратно, неся ей камень, она уже держит в руке коробочку с тенями.

— Но всё равно спасибо! — Анни старательно давит таблетку на зеркале и растирает осколки в мягкую малиново-красную пудру. Она облизывает край коробочки, а потом осторожно вытаскивает из кошелька пятиреаловую купюру. Йеспер с волнением наблюдает за этим ритуалом. Тем временем, Анни складывает черную банкноту пополам и делит ей пудру на полоски на зеркальном глазке. Они пересекают его параллельно, как рельсы. Пятиреаловик сворачивается в трубочку в девчачьих пальцах.

— Вот. Теперь зажимаешь одну ноздрю пальцем, вот так, а в другую вставляшь вот это, — она показывает Йесперу трубочку. — И втягиваешь дорожку в нос, целиком, одним длинным вдохом. Сейчас покажу!

Анни-Элин Лунд стоит на коленях под уличным фонарем, рядом с водяным насосом. Асфальт искрится. Девочка наклоняется над зеркалом. Йеспер в своем белом матросском костюме наблюдает, как она старательно втягивает полоску в ноздрю. Порошок исчезает в бумажной трубочке — мгновенно, за один жадный вдох. Йесперу это кажется чем-то совершенно фантастическим. Анни со стоном запрокидывает голову и протягивает ему банкноту.

— Немного щиплет. Но это даже приятно. А еще так они действуют быстрее. Правда, не так долго. Давай, попробуй!

И Йеспер пробует. Наркотический порошок вихрем взлетает по черной трубочке из банкноты. Кристаллы разрывают капилляры, ноздря горит и чешется. А когда Йеспер поднимается, вокруг так тихо и красиво. Они вместе спускаются в лес, газовый фонарь шипит в руке у Анни, и в его свете прямые, как столбы, стволы отбрасывают на темные холмы длинные шаткие тени.

Йеспер плавным движением отталкивается от доски, поднимаясь на ноги. За спиной раздается гул падающей воды, и дизайнер

надавливает пяткой на киль серфборда. Всё проходит безупречно: в один миг сопротивление становится минимальным, теперь он глиссирует по поверхности. Доска больше не касается воды, она скользит на вибрирующей воздушной подушке; Йеспер движется зигзагом, то спускаясь по склону, то поднимаясь обратно к гребню волны. Он слышит, как она рушится у него за спиной, ломаясь под собственной тяжестью. Гигантский сверкающий водяной занавес падает, затягивая его вовнутрь. Йеспер замедляется, позволяя ему это сделать, и погружается в полутьму подводного тоннеля, где мир, становящийся возможным лишь на миг — сложная, трудноописуемая динамическая модель — обретает постоянство в своем падении. Волновой коллапс — это неизменная среда, сумрачная миндалевидная полость в яростном вихре воды. Внутри спокойно и тихо. Если бы он мог длиться вечно, там было бы лето пятьдесят второго года.

Лето пятьдесят второго года — вечно разрушающийся объект, оно поглощает Йеспера живьем. Что-то не так с этой нитью воспоминаний. Ужасно неправильно. Их словно не должно было быть, мир их отторгает. Но сейчас, на эти десять секунд, всё приходит в равновесие. Йеспер гладит рукой водяную стену, и его покрасневший от холода рот повторяет одно лишь слово: *«Пожалуйста!»*

Во дворе, где по снегу петляют следы от колес, стоит, глядя вверх, Инаят Хан, а над ним, точно призрак, висит одна из надворных построек. Требуха электропроводов свисает с медленно вращающегося объекта, черного на фоне звездного неба. Спокойно и независимо он уплывает прямо в Серость, и за ним цепочкой тянутся мебель и куски фундамента. Хан видит, как Тереш и Кенни, задрав головы, зачарованно бредут по двору за объектом, пока на натыкаются на деревянный забор.

В странном, лишенном страха волнении все смотрят в сторону ветхого жилища Ульви. Кажется, что каждый тихий треск исходит оттуда, из его известнякового фундамента. Что оно вот-вот поднимется в воздух. Но ничего не происходит. Серость замирает вдали за постройками, треск деревьев утихает, и музыка в большом доме смолкает. Где-то на границе видимости, у верхнего края застывшей Серости, избушка распадается на части и исчезает. В дверях появляется мокрый от пота Ульв и закуривает сигарету с ментолом. Он без куртки. В спортивных штанах и серебряной майке, молодой человек стоит в дверном проеме, окруженный облаком пара. Он встряхивает кудрявой головой, и от него разлетаются капли. Тереш и Хан бросаются к нему через двор, и Изи-чиль, спохватившись, испуганно оглядывается.

— Держите! — кричит Ульв, выбегая им навстречу с конвертами в руке. Он машет в сторону Серости и сует бумаги Хану. — Уезжайте! *Сейчас же*!

Двигатель с рычанием заводится, из-под колес кареты летит снег. Серая стена больше не может выдерживать свой призрачный вес. Она рушится. В мгновение ока Серость накрывает вырубки, взметая снежную пыль, ее лавина, как ударная волна, накатывает на мир. Ели сгибаются под ее ударом, в ветхом старом доме вышибает стекла. Она огибает дом, будто в нерешительности, а через мгновение смыкается над ним. Серость заглатывает особняк, и в это время где-то внутри, в зале с низким потолком, молодой человек надевает наушники. Он читает неизмеримую Серость, как магнитный считыватель — ленту Стерео-8. И единственный след сестер Лунд, который проходит перед ним на этом безжизненном слепке, это странное невозможное воспоминание о них какого-то Йеспера.

Серость катится через поля по обе стороны от просёлка. Ее лавина врезается в гравий, клубящаяся стена надвигается, малиново-красная в свете задних фонарей мотокареты. Обвязанные цепями колеса скрежещут по гравию. *«Menee-menee-menee-menee!»** — кричит безумный гонщик-суру, погоняя машину, как коня. Он давит на уже лежащую на полу педаль газа — изо всех сил, будто это может заставить карету ехать еще быстрее. И глядя на спидометр, можно подумать, что так и есть! В желтом свете его шкалы Тереш наблюдает, как стрелка дрожит на цифре двести. Хан смотрит вбок и видит Серость. Она тихо, но уверенно движется за окнами. От ее близости тускнеет электрический свет в салоне. У Хана запотели очки; притиснутый ускорением к спинке кожаного сиденья, он прижимает к сердцу два конверта. За затуманенными линзами не видно, как у него на глазах выступают слезы радости.

«Я был прав, Тереш, я всегда был прав», — говорит он, но Тереш его не слышит. Двигатель ревет слишком громко.

Йеспер и Анни бредут через поле при свете газового фонаря. Йеспер теперь несет и канистру, и фонарь, а Анни — только свою блузку. В свете синего пламени Йеспер читает родимые пятна на ее голой спине. Сейчас их прикрывают лишь тонкие завязки купальника. Как приятно шелестит дикая рута, мягко касаясь голеней ниже коротких штанин. Изнывающий от жажды Йеспер глотает воду из бутылки. «Это просто восхитительно! Восхитительная вода! — говорит он. — Ее надо разливать по бутылкам и продавать!»

На берегу их радостно встречают другие жаждущие. Все обнимаются. Анни вытирает с губ Йеспера помаду при свете газового фонаря и смеется. Тереш сажает Хана себе на плечи и притворяется

---

*Пошла, пошла, пошла!

роботом. Хан поворачивает голову друга, тот издает роботовый звук и идет туда, куда ведет его Хан. Загнав робота Тереша по колено в море, Хан шлепается в воду. Он едва успевает полюбоваться медузами, как остальные уже бегут за ними в купальных костюмах.

Маленькие детские тела, белея в темноте, погружаются в воду. Песок проминается под босыми ногами, шелковистая вода плещется вокруг лодыжек. Сверхчувствительные от вещества тела реагируют на каждое прикосновение. Крохотные песочные фонтаны поднимаются у Анни между пальцами ног; поджимая их от удовольствия, она осторожно шагает вперед. Все идут очень медленно, подняв руки над холодной пленкой поверхностного натяжения. То и дело они взвизгивают, растягивая каждую секунду перед экстазом своего миропомазания. А миро плещется вокруг их бедер и животов и движется навстречу, принимая их — прохладное и идеально вязкое. Молин большене может терпеть. Как только вода смачивает ее грудь и подмышки, девочка погружается в нее с головой. Над поверхностью моря остается только безнадежный стон. Она запускает ногти в ладони, чувствуя, как что-то в ней тотчас же начинает рушиться. Она больше не может удерживать это в себе. Гормоны уже искажают ее податливое тело, кости таза раздвинулись, готовясь к родам, невыносимое блаженство пульсирует в глубине ее чрева. В пучине ее телесных жидкостей крошечный гомункул закрывает глаза размером с булавочную головку. Свернувшаяся полукругом зверушка разевает рот в крике. Но ничего не слышно, ни звука, ее никогда здесь не было. Молин расслабляется; здесь, под водой, так невероятно хорошо, так темно и всё откликается эхом. Мимо скользит светящаяся белая тень Шарлотты, Молин чувствует на плечах чьи-то мягкие руки. Это Хан. Он вытаскивает девочку наверх. Молин вдыхает соленый воздух и остается лежать на поверхности. С ее волос течет вода, и в черном небе над ней сияет бесконечно детализированная гирлянда из звезд, похожих на брызги молока. Все шестеро запрокидывают головы и так качаются на волнах, выстроившись полукругом. Вокруг них, в черном зеркале воды, тоже светятся звезды. Они мерцают слабо, размыто. Только в стеклах очков Инаята Хана они отражаются во всей своей сверкающей четкости.

«Их там больше нет», — чувствует Хан вибрацию голоса под своими руками. Он опускает взгляд, и звезды соскальзывает с его очков. Место звезд занимают глаза Молин Лунд, и темнота у нее во рту движется, принимая форму слов: «но я их всё еще вижу».

Утром они проснулись в своем камышовом гнезде, как выводок котят, и аккуратно собрали мусор. В ослепляющем свете солнца они снова надели высохшую под его лучами одежду. Глаза болели, и мир

вокруг казался приветливо-незнакомым. Всё уже было сказано вчера, в ночной темноте, и не было смысла повторять это при свете дня. Неловко улыбаясь, устало обмениваясь короткими фразами, они дошли до трамвайной остановки. Там они договорились встретиться в последнюю неделю августа. Девочки как раз должны были вернуться из Граада, куда они собирались ехать всей семьей. Они не могли назвать точной даты возвращения, но обещали звонить и слать открытки. На этой встрече, помимо прочего, планировалось обсудить, как теперь вести себя в школе, и вообще в реальном мире.

На остановке не было поцелуев или чего-то такого. Но было много взглядов, полных сожаления о разлуке, и незаметных телесных посланий. Девочки сели в трамвай, а мальчики отправились на виллу отца Тереша. Это был последний раз, когда они видели друг друга.

14. СПИСОК ОТСУТСТВУЮЩИХ

Двадцать лет спустя тысячи беженцев стоят в пробке недалеко от Ваасы. Изола Катла, общей площадью шестьдесят миллионов квадратных километров, только что потеряла шесть процентов своей территории; световое табло над мотошоссе предупреждает: «Все полосы только на въезд». Красная река задних фонарей сияет в осенней ночи, и где-то посреди нее, в гигантском заторе, стоит машина, в которой давно спит Тереш Мачеек. Из-под ее капота поднимается пар, на кузове ветвями параболы изгибаются следы от брызг. Из-под черных пластин корпуса блестят никелированные жабры элементов двигателя. Инаят Хан свернулся клубком на сиденье. Он еще не спит. Он смакует каждую секунду — несмотря на то, и именно потому, что смертельно устал. Вокруг скрипит кожаная обивка, снаружи сквозь сладкую полудрему доносится шум редакционных дирижаблей. Пропеллеры спокойно стрекочут вдали, темный водоворот сна манит и кружит. Хан погружается в него и выныривает, как захочет. Иногда машина трогается с места и продвигается на пару метров. Потом дезапаретист открывает глаза и видит, как мимо ходит Кенни. Безумный гонщик-суру болтает с другими водителями и соскребает лед с ветрового стекла. В этом моменте есть что-то такое, что Хан понимает: он будет скучать по нему. Он уже тоскует по бриллиантовому сиянию фар, кровавому свету задних фонарей в мазутном дыму, знанию, что всё будет в порядке.

Двадцать лет прошло с тех пор, когда он в последний раз чувствовал что-то подобное. Безграничность возможностей. Тогда они вместе ждали девочек из Граада. За пределами мира, под закрытыми веками Хана, начинается божье царство. Он прижимает руки к груди, обнимая невидимку. Все эти пространства, просторы, заброшенные поля и обочины дорог — это возможности. Возможности провести время вместе. Беседы привычно ветвятся у Хана в голове, в темноте его шкафчика с мыслями. Там Молин Лунд гуляет с ним, слушает, кивает, задает вопросы. Смеется его шуткам — уже двадцать лет. Они садятся на обочине шоссе, она не против. Ее тело с тех пор не изменилось, она по-прежнему выглядит ребенком, но душа всё это время была рядом с Ханом. Она выросла, повзрослела. Стала серьезной, загадочной и печальной.

Два месяца прошли, но встреча, назначенная на конец августа, не состоялась. Девочки вернулись в Ваасу еще пятнадцатого августа, но так и не позвонили. Почему они этого не сделали, и почему за это время они три раза ходили на пляж в Шарлоттешеле, осталось загадкой.

Полуденное солнце расчертило стены полосками сквозь жалюзи. Воздух в гостиной дипломатической виллы был неподвижен, что-то висело в нем, не давая дышать. Это был вакуум, чувство утраты, ужасная, непереносимая тревога. Прождав пару недель у телефона, они

наконец решили позвонить девочкам сами. Втроем они стояли в гостиной. Тереш повесил трубку.

— Что такое? — забеспокоился Хан. — Их нет дома?

— Трубку взяла их мама. — Тереш с озадаченным видом опустился в кресло. — Сказала, что они ушли на пляж.

— Какой пляж?

— Шарлоттешель.

— Что? А почему они не позвонили?

— Не знаю, мне кажется, что-то случилось…

А потом был этот спор. Тот, из-за которого два дня спустя Тереш набросился на Йеспера. Сам он хотел тотчас же бежать на пляж, Хан уже завязывал шнурки на кедах, но Йеспер решил, что это не *круто*. Надо подождать, пусть сами позвонят. На том и порешили, и через пятнадцать минут, в час дня, мороженщица Агнета стала последней, кто видел сестер Лунд. Это было двадцать восьмое августа — Международный день пропавших без вести.

С того дня всё перестало быть «крутым». Йеспер старается избегать этого слова, оно звучит как обвинение. Замерзший и задыхающийся, дизайнер падает спиной на песок. Гипотермия. Пахнет гниющими тростниками; камыши и дикая рута клонятся к земле. Ему тридцать четыре года. Он вдавливает пятки в мокрый песок. Как и почему он выжил, неизвестно. Почему он не соскользнул с доски в море, когда его руки и ноги свело от холода? Когда волна обрушилась — как он смог выплыть?

Над головой, в темном небе осеннего вечера, кучевые облака утопают друг в друге. Медленно и плавно. Йеспер обхватывает голову руками и сжимает. Синий от холода рот медленно открывается, из легких вырывается хрип, живот судорожно сотрясается в приступе кашля. Пятки оставляют борозды в песке, руки дрожат, но ничего не меняется. Он всё помнит. Пятьдесят второй год застыл внутри черепа: причудливый, невозможный музейный экспонат, копия утраченного мира. Всё тот же сладостный аромат — и всё тот же неумолимый факт, вес которого не переоценить: туда нельзя вернуться.

Сквозь сон доносится приближающийся стук копыт по черному асфальту мотошоссе. Йеспер! Хан хочет позвонить ему и сказать: готовься! Теперь всё по-настоящему. Но телефонной будки здесь нет, в божьем царстве темно, и конные полицейские прочесывают шоссе между рядами карет. Кошмарный силуэт останавливается возле окна. Хан открывает глаза. Из ноздрей лошади идет пар, она всхрапывает, влажные черные глаза смотрят на полусонного человека. Конный офицер светит в салон фонариком сквозь замерзшее стекло и едет

дальше. Лошадь уходит, гулко стуча подковами по асфальту, Хан закрывает глаза и вновь засыпает. Его руки прижаты к груди, словно он обнимает кого-то.

Когда они наконец уснули, Хан услышал во сне зловещий голос. Была ночь того же дня, ночь после двадцать восьмого августа, и с этим голосом на землю спустился ужас. Сначала Хан слышал его во сне — как он, приближаясь, кричал через равные промежутки времени:

«*Май!*
Анни!
Молин!
Шарлотта!»

Мальчик проснулся в спальне на втором этаже. Он увидел широко раскрытые от страха глаза Тереша: тот стоял возле кровати и тряс его. Хан уже не спал, но самый страшный в мире список отсутствующих всё еще продолжал звучать. Снаружи, в Шарлоттешеле. Не во сне, а наяву. У Хана кровь застыла в жилах.

— Ты слышишь?

— Да, — ответил Тереш.

Они разбудили Йеспера. Набросили куртки поверх пижам и выбежали во двор. Было холодно, и в воздухе, впервые в этом году, витал запах осени. Они стояли в саду и слушали. Имена звучали в лесу вперемешку с собачьим лаем. Мальчики побежали через яблоневый сад, мимо кустов крыжовника и дальше, в темноту соснового леса. Там мелькали лучи фонариков и прожекторов.

Это были поисковые отряды.

К концу четвертого дня к поискам подключили добровольцев. Их были сотни. Каждый хотел как-то помочь, поучаствовать в общем деле. Тысячи звонков поступали на специально организованную горячую линию. Были напечатаны листовки, запущены программы. Пресса и радио встали на дыбы, и уже наутро фотографии девочек были на первых полосах. В заголовках писали гнуснейшие сентиментальности: «Мать в отчаянии: дети, вернитесь домой!» В авторских колонках обсуждали возможность восстановления смертной казни, и выжимание слёз мешалось с параноидальной мстительностью: «Кто отнял детей у матери?» Этот сочувственный гомон, в котором совершенно терялось горе самих мальчиков — весь этот плач и скрежет зубовный — заставлял их чувствовать себя бессильными посреди него, обесценивал их. Тогда это было лишь смутным ощущением, но теперь Йесперу хватает слов объяснить, что его злило. *Праздное любопытство*. Где-то там, под пеной негодования,

сальный обыватель с особым чувством сладкого ужаса видел всё то, что делалось с девочками. Туда, за черную штору фотолаборатории, за которую Петер Петерссон не посмел бы заглянуть своими глазами, он смотрел через газетную статью. Он представлял себя там, Мужчиной, он кусал пирожок с мясом, и ему нравилось то, что он видел. Но когда Йеспер в свои тринадцать лет наблюдал за одноклассницами, это была неописуемая тайна, инопланетное царство тел. Изгиба спины, обнажённой руки, даже меньшего было довольно. Ему до сих пор противна взрослая сексуальность. Для него это блажь пресытившихся. И это, как ни парадоксально, фактически делает его педофилом.

Когда законодатель стиля, одетый в гидрокостюм, входит в вестибюль «Хавсенглара», женщина за стойкой регистрации тут же кладет трубку. Знаменитый дизайнер явился среди ночи, с него капает, он оставляет песочные следы на плетеном ковре. Замерзший до полусмерти, мужчина выглядит таким жалким, что администраторша, забыв про звонок, спешит завернуть его в махровую банную простыню.

— Нет, скорая не нужна, — отмахивается Йеспер, стуча зубами. — Нет, чаю тоже не надо! И смородинового тоже! — Он вызывает лифт, и после того, как кнопка загорается, всё еще продолжает давить на нее окостеневшим от холода пальцем. — Нет, не нужно, я приму ванну, горячую ванну.

— Господин де ла Гарди, — спохватывается женщина. Она просовывает носок туфли в закрывающиеся двери лифта. — Вам звонили, какой-то Олле…

— Ночью? Зачем?

— По объявлению в газете.

Первыми распустили добровольцев, потом ушли поисковые отряды и все остальные. Сосновый лес, где бродили без дела мальчики, был по-осеннему тих. Больше не лаяли ищейки, пограничники больше не прочесывали берег залива. И всюду, куда бы они ни пошли, их встречала пустота, будто сам ее дух вырвался на свободу. Всё было покинутым, ненужным: кабинки для переодевания, пустынный обезлюдевший пляж. Трамваи приходили на остановку то пустыми, то полупустыми, двери распахивались и снова захлопывались. Последними ушли наводившие жуть водолазы, это было три недели спустя. И мальчики увидели, как повсюду началась медленная капитуляция. Они прекрасно знали, что это значит, хотя никто из них так ни разу и не посмел сказать это слово вслух. Вместе они строили самые фантастические планы. Воображали блистательный триумф возвращения.

Официально учебный год уже месяц как начался, и совместным решением обеспокоенных родителей их, наконец, отправили в школу.

Там их ждали фотографии девочек, цветы и штормовые фонари на крыльце. В школьных коридорах тоже царила показная скорбь. Все так или иначе знали их, все боролись за внимание и мерились своим горем. Мальчики снова почувствовали себя так, будто их нет. Они никому не смели рассказать о том, что было летом. Наконец они открылись пришедшей в школу женщине из полиции, и в результате среди более двухсот допрошенных оказался и Зигизмунт Берг — мальчик, который к тому времени уже был «известной фигурой» в отделе по делам несовершеннолетних. Это предательство не принесло никаких плодов, и когда позже, в конце ноября, женщина снова пришла побеседовать с директором, все трое сбежали из класса. Топот их сменной обуви был издали слышен в пустом коридоре. Та полицейская была их единственной связью со *следствием*, с этой бессердечной бюрократической машиной. Они остановили ее у двери и донимали, пока бедная женщина не поняла, что выбора нет.

«Нам надо свыкнуться с мыслью, что девочек нет в живых», — сказала она.

Фонари и фотографии убрали со школьного крыльца, смертную казнь так и не вернули. Даже Видкуну Хирду дали пожизненное. Его арестовали через год после предполагаемого похищения девочек по подозрению в аналогичных преступлениях, и пресса поспешила связать это с сестрами Лунд. Мэтр и сам делал соответствующие намеки. Изрекал что-то о медвежатах, забредших слишком далеко от медведицы, и тому подобные хирдизмы. Это было единственным, что мальчики могли обсуждать, когда собирались втроем. Это, или другая тема, которую им подсовывало переменчивое любопытство прессы: если не Хирд или недавно опубликованный список лиц, совершивших преступления на сексуальной почве, то письмо, полученное Карлом и Анн-Маргрет Лунд через два года после исчезновения, детали его графологической экспертизы или, например, сенситив, утверждавший, что тела девочек похоронены под фундаментом хоккейного стадиона Рингхалле. По мере того, как статьи выходили всё реже, встречи становились настолько безнадежными, что каждый из мальчиков начал по-своему их избегать. Йеспер потихоньку стал заниматься серфингом, увлекся спортом. В десятом классе Хан впервые остался на второй год, а потом и вовсе вылетел из школы, а в начале одиннадцатого Тереш уехал обратно в Граад.

Пресса окончательно потеряла интерес к сестрам Лунд только пятнадцать лет спустя. Расследование к тому времени давно прекратилось, а следователи ушли в отставку. Причин собираться вместе больше не осталось, и каждый отступил к своей личной жизни. Йеспер нашел себе несовершеннолетнюю модель и притворился, будто не узнал Хана с его голубым галстуком, когда увидел его в ресторане. Тереш каждый год приезжал в Шарлоттешель, один. Остальным он не звонил. А Хан

окончательно погрузился в голубовато-дымчатый мир исчезновений, засел в подвале родительского дома и щелкал там подсветкой дирижабля, пропавшего полтора века назад, не сводя с него глаз.

«Свыкнитесь с мыслью, что пошли вы *na hui*».

Конец света. На въезде в город возвышаются темные арки пропускного пункта. Шлагбаумы поднимаются. Жилеты досмотрщиков и полосы на барьерах светятся лимонно-желтым. Мотокарета занимает свое место в очереди, всё движется равномерно и плавно. В запахе кожаных сидений радиоэфир мурлычет об атомных бомбах, сброшенных на Ревашоль три часа назад. Хану тепло, голос дикторши приятный и ровный. Над дорогой встают ряды фонарей; увенчанные морозными ореолами, они плывут мимо под темно-синим утренним небом. Он дрейфует им навстречу, в свой родной город, который покинет завтра вечером. Осталось только одно дело. Свет фонарей тускнеет. *Madrugaad*a. Хан смотрит, как призрачные очертания зданий проявляются на фоне неба в свете раннего утра.

В спальне пахнет лилиями. Снаружи, за окном загородного дома, синеет, и голые каштаны шевелят костлявыми пальцами ветвей. Она встает рано утром и оставляет мужа досыпать в постели с маской для сна на лице. Женщине пятьдесят два года, у нее тонкие черты лица и веселые морщинки в уголках глаз; сами темно-зеленые глаза ни намеком не выдают ее возраста. Надев халат, она спускается по лестнице с деревянными перилами и готовит себе кофе. В прохладных комнатах деревянного дома, в просторной кухне выключен свет. Ей нравятся эти синие утренние часы, когда в доме так тихо, что слышно, как под полом скребутся полевые мыши. Тонкая рука с заостренными пальцами нажимает на поршень пресса для кофе. Даже запах плесени от половиц со временем начал ей нравиться, хотя поначалу так ее пугал — семнадцать лет назад, когда она только сюда переехала. И тишина! Здесь, в деревне, так тихо, но со временем эта уединенность стала своего рода благословением. Она идет через гостиную по холодным половицам, вокруг в полумраке виднеется мебель: элегантность пятидесятых, с дерева слезает краска. Женщина подходит к двери, набрасывает на плечи пальто мужа и сует ноги в его ботинки. Вот так, собрав седые волосы одним простым движением, она выходит на крыльцо.

С густо дымящейся на осеннем холоде чашкой кофе в руке, она минуту стоит, дыша воздухом, а потом садится на свой любимый деревянный садовый стул. Закинув ногу на ногу, Анн-Маргрет Лунд закуривает свою первую сигарету за день. Она любуется рассветом, солнцем, поднимающимся сквозь утренний туман. Перед ней проступает из дымки ее ухоженный сад, блестят стекла теплицы, виднеется газон,

с которого уже пора сгрести листву. Это будет ее первым делом на сегодня. Она тушит окурок в пепельнице из перевернутого цветочного горшка и возвращается в дом.

Дети красивых родителей красивы, дети безобразных родителей — безобразны. В душевой на нижнем этаже Анн-Маргрет орошает водой свое всё еще красивое тело. Оно было таким не всегда: вначале она была тощей, как пугало. Тогда она была еще девчонкой и вместе с мальчиками лазала по заборам и деревьям. Потом заработали женские гормоны и вырастили на этом остове новое, незнакомое тело. Выпуклости и изгибы объекта восхищения. Постепенно она освоила тонкости обращения с ним; окончила университет, преподавала, влюбилась, родила трех дочерей. За три года, по одной в каждый год. Они отошли от нее легко, как жемчужины от раковины. Ее молодое тело восстановилось, став таким же, как раньше. Подруги завидовали ей, спавшей в объятиях мужа безо всякого стыда. Но позже, когда она вступила в партию, у нее родился еще один ребенок, последний. Муж любил ее и не отвернулся от нее, когда их младшая дочь навсегда ее изуродовала. В то время как ее тело уступило земному притяжению, ум устремился ввысь — к карьере, месту в министерстве. Но сейчас Анн-Маргрет Лунд стоит перед зеркалом, и, хотя ее кожа утратила былую упругость и, в некоторой мере, свежесть цвета, ее бедра снова стали узкими, а ноги стройными. Всё собралось обратно, но в этот раз, глядя на свое тело, она испытывает не облегчение, а трепет. Несмотря на то, что чувство одиночества, тишина, покой и запах плесени, встретившие ее в новом жилище, давно захватили ее, тайно сделав своей. Она стала пустотой. Но когда Анн-Маргрет видит всё это, ей по-прежнему становится страшно. Словно всё, что делало ее женщиной, каким-то образом исчезло.

Стараясь не думать об этом, она быстро вытирается, одевается в бежевый костюм и выходит.

Женщина сгребает сухие листья в саду. Когда она пришла в школу в конце первого полугодия, мальчики тайком наблюдали за ней. Заканчивалось первое полугодие без ее дочерей, и Анн-Маргрет пришла освободить их шкафчики. Вокруг нее образовался круг почтения, дети ее сторонились. Только маленькие Тереш, Йеспер и Инаят наблюдали из-за угла, как женщина складывает в картонные коробки безделушки, оставленные ее дочерьми с прошлого года. Она свернула плакат поп-группы, и сквозь ее пальцы на пол упали золотые звездочки. Никто из мальчиков не сказал другим, почему пришел следить за ней. Но втайне им хотелось обнять ее, вместе пойти к ней домой, посмотреть на комнаты девочек. А потом строить планы, как их найти. Это были ребяческие фантазии. Им хотелось играть во всем этом особую, важную роль, и если кто и обладал властью дать ее им, то это была прекрасная мать девочек. Этого так и не произошло, но потом они всё же пришли

к ней, один за другим — хотя держали это в тайне друг от друга. Они разведали, где находится ее загородный дом, и неловко выразили ей свои соболезнования. Потом они обменивались новостями о расследовании, и Анн-Маргрет понемногу запомнила их имена. Правда, последний раз был восемь лет назад. Потом, когда Тереш и Хан уже признались, Йеспер всё еще лгал, что ничего такого не делал.

«Да ну, мрак какой-то», — сказал он с сарказмом.

Анн-Маргрет проходит между облетевших крыжовенных кустов, вешает садовые перчатки на гвоздь в сарае и провожает мужа на работу. Карл Лунд, преданный делу промышленный магнат, всё еще трудится в поте лица, хотя политическая нестабильность и вызванный ей мировой экономический кризис подрывают его бизнес; что с того, что у него достаточно денег, чтобы отправиться на покой — куда пожелает, хоть в Стеллу Марис. В половине одиннадцатого за ним приезжает шофер, роскошная машина исчезает в дымке на деревенской дороге. Анн-Маргрет смотрит на улицу, где малиновый свет задних фонарей тускнеет по мере того, как ее мужчина уезжает всё дальше и дальше.

Вместе с ним и пугающим утренним ритуалом отдаляются все напоминания о том, что у нее когда-то было четыре светловолосых и зеленоглазых дочери. У одной из них волосы были каштановыми, а у другой были трехцветные глаза, но когда женщина негромко включает музыку и начинает двигать плечами в такт, она уже не может сказать, у кого именно. Когда чувство вины рассеивается, а сквозь белые кружевные шторы проникает дневной свет, Анн-Маргрет Лунд становится удивительно легко, она парит в воздухе. Как будто жизнь не была прожита, и все эти отпечатки, маленькие вмятины, которые оставляет человек на поверхности мира, были, словно молоточками, выправлены ритмом музыки. Она безыскусно танцует в тени своего генеалогического древа, с которого опали все листья. Она уже не знает, что то, как она прячет нижнюю губу под верхнюю, когда рассеянно улыбается под музыку, — это то, как делала и Шарлотта. Она подметает полы, поправляет скатерти и выравнивает ряды книг на полках. Она не слушает радио, ей нет до него никакого дела. Для Анн-Магрет мир давно исчез и оставил ее здесь, заниматься домашними делами.

Она сидит за кухонным столом, сложив руки, и смотрит, как сверкает ее дом. Половина пятого, в комнатах тихо и чисто. Иногда она задремывает, будто кошка днем, склоняя над столом седую голову. Она поседела в одночасье, как Долорес Деи. Двадцать лет назад, утром двадцать девятого августа, она проснулась совершенно седой. Она слушает музыку сквозь сон, через окно кухни на ее волосы льется свет, и в его потоке они на мгновение снова кажутся золотыми. По двери, точно дятел, стучит дверной молоток. Наверное, Карл забыл что-нибудь, или вернулся домой пораньше… но зачем ему стучать? То, что кто-то

пришел в гости, кажется маловероятным. Сюда теперь почти никто не ходит, и ей это нравится. Анн-Маргрет Лунд поправляет костюм, разглаживает сморщившуюся от сидения юбку, складывает рот в улыбку и открывает дверь.

— Здравствуйте.

Перед ней со смущенными улыбками на лицах стоят трое мужчин: первый, безумно дорого одетый и пахнущий *aftershave*-ом за пятьсот реалов, старается не показывать, что у него жар, но покрасневший лоб его выдает; на втором — темно-оранжевая ветровка и шарф цветов флага Ильмараа; а третий, худой и высокий, спешит погасить сигарету. Анн-Маргрет не узнает их сразу, но всё же приглашает войти и в замешательстве смотрит, пока они стоят перед ней в верхней одежде. Она понимает, кто перед ней, только заметив мальчишескую робость, с которой они переминаются с ноги на ногу и ковыряют пол носками ботинок. Это напоминает ей поведение юных поклонников.

— У нас есть новости, — говорит Инаят Хан. — Да, я знаю, что больших надежд питать не стоит. Но это хорошие новости, госпожа Лунд.

И когда госпожа Лунд ведет их на кухню, ее волосы серебрятся в полумраке, а сердце снова наливается свинцом.

— Кофе? Чаю?

Пятью часами раньше Йеспер сидит в кафе «Кино». При свете дня он чувствует себя среди этих стеклянных стен и кубической мебели чуть менее *спроецированным*, чем обычно. Голова словно ватная, а веки ужасно тяжелые. Он вытирает покрытый испариной лоб носовым платком с инициалами. Дизайнер стягивает джемпер и сразу выглядит беднее. Оставшись в рубашке, он опять начинает мерзнуть. Сквозь стеклянные стены просачивается холод поздней осени, мимо движется людская масса. Йеспер заказывает себе зеленый чай с медом и лимоном.

«Я, кажется, немного простудился», — говорит он сидящему напротив мужчине на несколько лет моложе него. Йеспер помнит его, это малыш Олле. Он учился на четыре класса младше. Йесперу он запомнился в основном своим блестящим талантом к фальсификации. Старшеклассники использовали его золотые руки для подделки разного рода подписей, и мальчишка неплохо зарабатывал — на всех этих дневниках с двойками и написанными красным замечаниями, нуждавшимися в родительской подписи. Теперь маленький Олле отпустил большие коричневые усы, и Йеспер делает из этого свои выводы. Олле *копирайтер*, усы снова в моде — в определенных кругах. В тех, где Сен-Миро, светоч нигилизма, считается своего рода экзотическим поэтом. Или, по крайней мере, считался два дня назад, когда страна, из которой произошли и Сен-Миро, и безумная мода на ретро-усы, еще не применила атомное оружие в другой стране.

— Ну, думаю, теперь с этой модой на нигилизм покончено, — замечает Йеспер вскользь.

Олле горячо соглашается:

— Да, надо было их сбрить, эти усы, я знаю… Понимаете, всё это свалилось на нас, как бомба… Простите за выражение, просто мы тоже…

— Да-да, это ужасно, — прерывает его на полуслове Йеспер. — Абсолютная трагедия. Почему ты мне позвонил, Олле?

— Я прочитал то объявление и долго думал. Понимаете, я по-настоящему пожалел об этом только после бомбежки.

— Что за на хер, Олле? Что происходит? О *чем* это ты пожалел?!

Усатому *копирайтеру* вдруг становится страшно. Покрасневший как свекла Йеспер тянется к нему через стол. Олле прячет глаза, но его взгляд тут же перехватывает тигр-альбинос в глубине кафе. Хотя *копирайтер* частенько ходит сюда заводить новые знакомства, это жуткое чучело ему никогда не нравилось.

— Не орите на меня, я им ничего не сделал, я просто написал те письма.

— Зачем, во имя господа, ты это сделал?

— Н-не знаю, — заикается Олле. — Я ведь был еще ребенком, я правда не знаю, зачем я это сделал. Когда это случилось, в школе все только о них и говорили. Наверно, я просто хотел посмотреть, что будет. Поймет ли кто-нибудь, что это на самом деле не Молин. Один парень, Зиги, принес мне старую тетрадку Молин и спросил, смогу ли я подделать ее почерк. Мне это показалось довольно простым, и я, ну, решил попробовать.

— Это ты их отправил, или кто-то другой?

— Отправил Зиги, я только написал. Ну да, я сглупил, поймите, я был мальчишкой, и, ну, тоже считал себя немного нигилистом…

— И ты больше ничего не можешь мне об этом рассказать? Ты ничего о них не знаешь? Даже если бы я после нашего разговора, пошел, к примеру, в полицию, тебе было бы нечего добавить?

— К сожалению, да.

Похоже, Олле и правда искренне сожалеет; он нервно гладит усы, а Йеспер остекленевшими от лихорадки глазами смотрит в окно на Эстермальм. За окном течет толпа одетых в темное людей. С пылающим лицом он натягивает джемпер и снимает с вешалки пальто.

— Идиот, — говорит он, и уходит. Олле остается оплачивать счет. Когда приносят чек, тигр-альбинос всё еще злобно таращится на него.

— Это и есть *хорошая* новость? — спрашивает через шесть часов Анн-Маргрет и стряхивает пепел с сигареты. Изо рта у нее и Тереша Мачеека поднимаются струйки дыма, с небес сочится ровный светло-

серый свет. Она и трое мужчин сидят на веранде вокруг деревянного стола, и порыв ветра тащит по полу побуревшие листья.

Окончившему свою речь Йесперу становится не по себе. Но Хан подхватывает:

— Нет, это не всё! Но посмотрите, разве не замечательно, что два десятка лет спустя, при такой обстановке в мире, всё равно всплывает что-то новое. Это значит — время еще есть. И у меня такое чувство, что теперь, когда мы это нашли, всё остальное тоже вот-вот выйдет наружу. Что-то такое витает в воздухе.

Экс-министр сидит, выпрямив спину и изящно заложив ногу за ногу. Она выжидающе молчит, и это охлаждает энтузиазм Хана. Он отпивает глоток кофейной гущи со дна чашки. Вернее, делает вид, что отпивает. Там нет ничего, кроме вязкого сахара.

Хан продолжает:

— Я не знаю, что вы об этом подумаете. И насколько серьезно к этому отнесетесь…

— Я, например, не принимаю это всерьез, — вставляет Йеспер.

— В любом случае, — с некоторым возмущением продолжает Хан, — скажу заранее, что я принимаю. Всерьез, я имею в виду. Мы только что приехали из Лемминкяйсе, от, м-мм, независимого консультанта. Он довольно известен, хотя не афиширует своей деятельности. *Изи*… — Тереш бросает на него предупреждающий взгляд, и Хан поправляется: — Его зовут Ульв. Вы слышали о нём?

— Не думаю.

— К нему обращаются с такими вещами, по которым больше нигде нельзя найти информации. С безнадежными делами. Он участвовал в расследовании по меньшей мере двенадцати смертей. И всегда помогал, так или иначе. В общем, полиция о таком не распространяется, но Тереш подтвердит вам, что это правда.

Бывший агент Мачеек кивает. Он чувствует на себе взгляд женщины и изо всех сил пытается вести себя с ней так, как привык вести себя на службе с родственниками пропавших, быть отстраненно-вежливым и авторитетным, — но у него не выходит. *Мы любим девочек, мы любим их больше…* Ему так неловко за свои прежние мысли. Поначалу он старается не смотреть в ее сторону, но потом поднимает взгляд. На мгновение его неопределенного цвета глаза встречаются с усталыми изумрудами Анн-Маргрет.

— Его методы не упоминают в официальных документах расследования, — начинает Тереш. — Таково негласное соглашение с прокуратурой. Это чтобы не давать защите лишних зацепок.

— Я так понимаю, это какой-то парадетектив? — Под давлением СМИ полиция вместе с городской администрацией в конце концов перекопали всё западное крыло стадиона Рингхалле. Сенситив закатил

глаза и всё продолжал указывать, но внизу был бетонный фундамент и только бетонный фундамент. И это был лишь один конкретный случай. — Я уже насмотрелась на этих *некромантов*, — с горечью замечает женщина.

Тереш делает Хану знак подождать.

— Я делаю свою работу не ради торжества закона. Я делаю ее ради жертвы. — Произнося эти слова, он забывается. Уверенность возвращается к нему, он снова агент Международной полиции, а не лист на ветру, каким он сам себя сделал. — Мне всё равно, откуда и как поступает информация, если она оказывается продуктивной. Скажу сразу, конкретно с этим консультантом я не работал. К сожалению, в его компетенции только те случаи, когда жертва уже мертва. Но в этих случаях его талант неоспорим. Например, Ульв сам попадал под подозрение. В восьми разных случаях, когда давал консультации. Не знаю, сочтете ли вы это достаточно убедительным — я, честно говоря, считаю. Дела были никак не связаны между собой, и против него не нашли ни одного доказательства. Понимаете?

Женщина задумчиво достает еще сигарету, Тереш предлагает ей огонь, и Хан пользуется моментом. Он опирается руками на стол и выпаливает:

— Он *ничего не* знает про девочек!

— И что это значит? — недоумевает женщина.

Хан смотрит на нее, широко улыбаясь:

— Он не смог дать о них никакой информации. Вообще ничего. Абсолютно чистый лист: он не знает, где они, не знает ничего об их прошлом, никаких секретов. Но в этом-то и дело! Он ничего о них не знает, потому что они не *мертвы*.

Женщина пугается, но не подает виду, ее элегантная поза остается неизменной. Тереш замечает в ее реакции что-то подозрительное, но глубокое уважение к ней мешает ему понять, что именно.

— Это сам консультант вам так сказал? — Анн-Маргрет по-прежнему вопросительно смотрит на Хана. Тот кладет перед ней планшет с бумагами.

— Вот мои записи о девочках. А это краткая версия, которую я ему дал. Его заметки — в самом конце. Смотрите сами, он использует именно эти слова: «не мертвы».

Анн-Маргрет перелистывает страницы. Горе всего мира вновь проходит перед ее глазами, фотокопии и даты, вся хронология событий. Хан продолжает:

— В таких случаях принято давать еще один конверт, контрольный. Если нет возможности проверить ответ для первого — у нас это конверт девочек, только с ним нам было бы не за что ухватиться — его правильность подтверждается верным ответом

для второго. И знаете, *кто еще* не мертв? — Хан достает из-за пазухи второй конверт и кладет его на стол. Только сейчас, увидев этот конверт, Тереш начал воспринимать странный эксперимент Хана всерьез. На конверте написано «Зигизмунт Берг». Йеспер пока ничего об этом не знает. Он смотрит, любопытно вытянув шею.

— Я дал ему Зиги, — Хан вошел в раж, увлекся и объясняет уже напрямую Йесперу. Дуги причинно-следственных связей, которые он рисует в воздухе, становятся всё более фантастическими. То, как одно утверждение параспециалиста доказывает другое, паутина пунктирных линий, надпись, гласящая «Аксиома!». А теперь эти письма! Поэтому совершенно необходимо узнать, что стало с парнем в кожаной куртке — еще один прыжок стрелки — и тогда всё раскроется!

Только Тереш, который всё это уже слышал, по-прежнему наблюдает за реакцией Анн-Маргрет. Ее нет. Женщина просто смотрит на страницу в папке с девочками. На улице понемногу темнеет, становится холодно. Она поднимает воротник пальто, и не смотрит на Тереша, когда тот пытается поймать ее взгляд. Она уже давно не читает, а просто сидит, глаза знакомого темно-зеленого цвета смотрят в одну точку. Что за неуловимое чувство скользит их в глубине? Тереш думает, что знает. То, как слегка прищуриваются уголки ее глаз — это неузнавание. Она *вспоминает*. Но что?

Вечереет, сгущаются синие сумерки, и Хан сияет в них, словно лампа. Воздух вокруг, в тихой разбросанной деревне, кристально холоден. Хан откидывается на спинку складного стула и торжествующе вытирает очки. Сидящий рядом с ним Тереш выбирает самое простое из решений: протягивает руку и берется за край папки. Женщина по-прежнему держит ее в руках. Она даже не перевернула страницу.

— Вы позволите?

— Да, конечно, — кивает Анн-Маргрет. Она словно только что проснулась: — Признаться, всё это очень запутано… — И пока Хан объясняет, что теперь матери девочек следует обратиться в полицию, Тереш смотрит на страницу с четырьмя фотокарточками сестер Лунд. Хан выстроил их по возрасту, как жемчужины на нитке.

Анн-Маргрет закрывает за гостями калитку. Она тепло машет им рукой в заднее окно машины. Такси катится по гравийной дороге, но ведет его уже не Кенни. Кенни давно ушел в свой Кеннин мир, заниматься Кенниными делами. Они в сорока километрах от Ваасы, и белый загородный дом, окруженный каштанами, всё никак не исчезнет из виду. Уезжая оттуда, все они втайне чувствуют облегчение. И какую-то неловкость. Никто не может ничего сказать, только гравий шуршит под колесами. Наконец, Хан все-таки решается:

— Она, как бы… похоже, она не очень-то рада. Так мне показалось.

Йеспер сморкается:

— Это была твоя дебильная идея.

— А как мы, по-твоему, должны были поступить? Ничего не объяснять, и пусть бы сама разбиралась, ну, вот хоть с теми же письмами?

— Да-да! Они не мертвы, госпожа Лунд, ваши дети живы, у вас живые дети! Нельзя было просто оставить ее в покое, чтобы она сама это выяснила? Обязательно было устроить шоу с разоблачениями.

Некоторое время они сидят в тишине, угрюмо глядя в окна. Они едут по проселку, машину трясет, и Тереш спрашивает водителя, можно ли курить в салоне. Он достает сигарету. В полумраке вспыхивает спичка, и папиросная бумага трещит в ее пламени. «Астра» чадит, наполняя салон горьким запахом. После стольких часов в машине Кенни сидеть здесь кажется чуть ли не изменой.

Хана начинает грызть совесть:

— Наверно, и правда не стоило этого делать. Что, если она уже смирилась с этим, а мы только зря ее расстроили? Что, если из этого ничего не выйдет…

— Думаешь? — язвит Йеспер. — Может, это был наш долг! Вломиться в дом к посторонней женщине и просветить ее насчет ее детей, — он на мгновение задумывается, а потом продолжает: — На самом деле я так не думаю, Хан. Не верю, что она смирилась. Может, она просто пытается жить дальше? Хотя, конечно, у меня никогда не было детей.

Тереш выдвигает из дверцы кареты пепельницу. Он курит, молча. Они избегают мотошоссе, на которых сейчас сплошные пробки. Поэтому едут проселочными дорогами среди вечерних полей и перелесков. К середине пути Тереш курит уже шестую сигарету и в салоне становится душновато. Бывший агент воспитанный человек: он открывает окно и впускает внутрь свежий воздух с несколькими снежинками. Они едут вдоль оврага. Мимо проносятся голые кусты, а над полями вдалеке начинается снегопад.

— Она не смирилась, — говорит Тереш. — Она забыла. Я не видел ни одной их фотографии во всём этом доме. Когда ты дал ей свою папку, она смотрела на них так, будто пыталась вспомнить, кто это такие.

Хан передергивает плечами, как бы от холода. Все молчат. Это знак согласия. Еще одна долгая пауза, и Йеспер откашливается. Так они дают друг другу знать, какие *чувства* это в них вызывает. Реже всего они говорят между собой о том, о чем думают на самом деле. Об этом исчезновении. Из-за того, что в самом начале они говорили слишком много, так много, что разговоры перестали помогать. Всё сказано, им больше нечем утешить друг друга. И потому всем так странно слышать, как Йеспер говорит: «Иногда мне кажется, что весь мир о них забыл».

— Так и есть, — отвечает Тереш.

И Хан говорит:

— Ну что, пойдем искать этого мудилу.

— Выезжаем сегодня, — говорит Тереш.

Хан спрашивает:

— И куда мы едем?

— В Граад, — отвечает Тереш.

Оба поворачиваются и смотрят на Йеспера.

— *Davai*, — говорит Йеспер.

С темнотой начинается метель. Они едут по улицам Салема, и город вокруг заметает снегом. Первый раз в этом году. Холодный и сладкий запах снега наполняет салон, когда Хан вваливается с большим чемоданом в каждой руке. В снегу перед домом остаются глубокие колеи. Его старая мать стоит у двери в халате и что-то кричит, но что — никто не слышит. Машина уже мчится прочь, а между домов завывает вьюга.

Снег идет всё время, пока они ждут Йеспера перед его домом. Два часа. Уже кажется, что они могут не успеть на свой ночной магнитопоезд. Ветер сдувает с еловых ветвей белые ленты, черную мотокарету понемногу заносит снегом. Наконец Йеспер выходит, в руке у него белый чемодан.

— Как всё прошло?

— Ну, скажем так, не очень хорошо, — отвечает он. — Едем.

И они едут. Быстро. Они просят таксиста ехать еще быстрее, но это уже опасно. Метель чертит полосы в лучах фар, ее хаос бушует повсюду, на дорогах, в оранжевых ореолах уличных фонарей. Тереш бросает водителю деньги и уходит, глядя на часы. Он бежит через заснеженную площадь и слышит, как за спиной хлопают дверцы такси. Его не волнует, что Йеспер забыл забрать его вещи.

Йеспер жалеет только, что не успел найти резинку до того, как расстался с моделью. Это вышло не слишком красиво. Об этом он тоже жалеет. Он бежит, держа в руке чемодан, в глаза ему летит снег, а в голове крутятся всевозможные хлесткие ответы: «Вся эта ерунда с модой, эта модная ерунда, пойми, *теперь* на этом далеко не уедешь. Вся эта *модельная* тема, у нее нет будущего. Забирай мой дом, будешь теперь жить в Ваасе, сама видишь, путешествовать небезопасно. Пора найти нормальную работу».

Ночь, но перед лифтами давка. Все ругаются, Тереш размахивает фальшивыми документами: «Международная полиция, разойдитесь!» Он больше не Сомерсет Ульрих, теперь он Космо Кончаловский. Космо не пропавший агент, он плод фантазии Тереша. Это чтобы запутать след — так его никому не выследить.

Только когда набитая битком кабина лифта поднимает их над городом, трое друзей, присев на чемоданы, немного переводят дух.

Город окутан снегом, светофоры на моторазвязках окрашивают его белизну в темно-зеленый, уличные фонари — в золотой, оранжевый… пока кабина не ныряет в темноту воздушного вокзала. Двери лифта открываются, и они выбегают под высокие стальные арки здания вокзала. Там их встречает такая же ночная толпа. Она теснится повсюду, в зале, перед кассами, хотя табло показывают, что мест не осталось, и кошачий голосок из громкоговорителя это подтверждает. И даже на послезавтрашний рейс в Самару, в СНР, распроданы все билеты. Да, так и есть! Бюрократическое деформированное рабочее государство — место, где ты сейчас хотел бы оказаться. Не говоря о том, что в Грааде в этот самый момент исчезает сеть ирригационных каналов и гребень волны угрожающе поднимается над Екокатаа. Куда ты бежишь, оставайся дома, иди в армию!

Они проталкиваются на платформу. Там, высоко под ночным небом, тоже идет снег, и когда проводница чересчур расторопно останавливает их в дверях пятиэтажного, сплюснутого с боков вагона, Тереш делает то, чего не делал никогда. Властные выкрики Космо Кончаловского не действуют на проводницу, одуревшую от шума толпы. Девушка с кошачьим голосом объявляет о скором отправлении рейса и просит отойти за желтую черту. Уже слышно шипение гидравлических дверей. Тереш сует руку за пазуху и достает *пистолет*. Под мышкой у него по-прежнему висит кожаный карман кобуры. Крепко сжимая рукоятку из красного дерева, Тереш входит в роскошные сумерки поезда. Ствол пистолета сверкает, проводница отступает перед табельным оружием. Хан и Йеспер проскальзывают за Терешем. Двери захлопываются, воют, запускаясь, магниты, один из чемоданов Хана остается на перроне.

Тереш убирает пистолет в кобуру и извиняется перед испуганной проводницей. Здесь, в Катле, не привыкли к такому. Окончательно вернувшись к дипломатии, экс-агент благодарит женщину за содействие. Снаружи, на платформе, гигантские буферы отсоединяются от поезда. Пуповина перерезана, и, освобожденный от подпорок, пятиэтажный поезд всей тяжестью ложится на магниты. Они гудят под вагонами во всю свою мощь. А потом начинается полёт.

Магнитная подушка под поездом раздвигает воды Северного моря. В вагоне тихо, урчат генераторы, а поезд мчится в полусотне метров над водой. Друзья, улыбаясь, стоят у смотрового окна. Тереш гасит сигарету в бронзовой пепельнице, они поворачиваются к окну спиной и уходят. Перед ними лежит Серость, а за ней большой мир. И где-то там, в его городах, на улицах, в просторах степей — Зигизмунт Берг, единственный человек в этом мире, который знает, что случилось с сестрами Лунд. От города позади, за окном, остается лишь световое загрязнение, далекое золотое сияние в темноте и метели.

15. ПЛЕСЕНЬ

Дирек Трентмёллер лежит в кататоническом состоянии. Дом престарелых вокруг него стал немым. Дирек больше не может вспомнить названия ни для одной из вещей, и все связи между ними утратили значение. Всё забылось. Он смотрит на мир с блаженным изумлением, как младенец. Через два месяца медсестра заходит в его палату и еще у двери вздыхает с облегчением. Она отсоединяет капельницу от руки старика. Кружевные тени от веток скользят по стенам палаты, когда снаружи по улице пригорода проносится мотокарета.

Колеса скрипят по снегу, а внутри, в тепле салона, развалился известный минималист и глухой музыкальный критик Оре Океrлунд, бывший коллега Йеспера по дизайнерскому бюро. Его перспективы нельзя назвать блестящими. Переписывать западные музыкальные обзоры почти невозможно, если новые альбомы не выходят. Но, как нам известно, он употребляет очень много кокаина, и это, как нам известно, делает его очень умным. Социальный климат изменился, но потребление как таковое никуда не делось. Значит, и для рекламы тоже есть место. Оре Окерлунд организует в Ваасе ставшую позже всемирно известной Лабораторию Идей — рекламное агентство, которое разрабатывает не рекламу, а идеи для рекламы. Чтобы кто-нибудь другой воплотил их в будущем. Несколько месяцев спустя в Лаборатории Идей родится шедевр апокалиптической рекламы. А транспортный гигант ZAMM запустит в северных странах интеризолярную кампанию под лозунгом «Беги! Еще не поздно».

Тогда же или чуть позже, приблизительно в зимнее солнцестояние, новый документальный фильм Конрада Гессле остается незамеченным широкой публикой. Зима обещает быть долгой и темной, паникующие массы жаждут более легких развлечений. Будь режиссер хоть восьмикратным номинантом премии Оскара Цорна. Но потом мескийский экуменический агрессор выводит свой флот из Серости, выйдя с помощью этого маневра на крайний север за Полярным плато. Черный дым его кораблей поднимается к небу под северным сиянием в граадской области Холодная Земля. За два месяца до этого к Грааду, объявившему войну государству Меск, присоединились Арда, Вааса и Сурумаа. Таким образом Катла, заповедный уголок на самом краю света, оказывается затянута в гигантскую центрифугу.

Продажи билетов на фильм «Видкун Хирд: "Видкун Хирд"» растут. К своему огромному огорчению, Конрад Гессле видит в кинозалах именно тот сорт публики, которого больше всего боялся, когда запускал свой спорный проект. Тяжелые времена придают недовольству национальную окраску, и перед экранами сидят восторженные молодые милитаристы и старые нацисты-маразматики. Никто из них

не понимает виртуозного обращения гуманиста Гессле с символами, его иронии, его чувства абсурда. Эти солдафоны искренне, без тени иронии, восхищаются Хирдом, позирующим в черной рубашке. В особенности их впечатляет, как этот колосс в конце концов рушится под тяжестью своих сверхчеловеческих максим. Им кажется поэтичной бессмыслица, которую он изрыгает в последних интервью. Озвученные белым шумом кадры Хирда, пускающего слюни у себя в камере, трогают их до слез. В конечном счете даже его собственный могучий разум оказался не в силах вместить в себя эти древние истины. Они оказались слишком честными, слишком чистыми. Подлинный воин, Хирд до конца прилагал все усилия, чтобы не подпасть под влияние разбавленной культуры. В этом были его триумф, гордыня и ад: правда — слишком великая сила.

Это всего лишь одно из абсурдных событий апокалипсиса, но именно благодаря ему Свен фон Ферсен решает, что пора выйти из тени. От остроумных статей о лидерстве он постепенно переходит к «заявлениям в поддержку правительства и вооруженных сил». Позже, когда Граад и его северные союзники начинают проигрывать в мировой войне, Ильмараа оказывается единственной страной, способной организовать реальное сопротивление. Свен фон Ферсен не желает принимать руку помощи от верблюжьего дерьма: «Оглянуться не успеешь, как они воткнут тебе ятаган в спину».

Но в итоге фашизм остается в той же нише общественного сознания, которую занимал всегда — между криптозоологией и псионикой. Большая часть общества представлена людьми, не похожими на Свена фон Ферсена. В них слишком развито присущее северянам чувство стиля, и крайние взгляды не находят отклика. Деликатная рука редактора выпалывает расово-нетерпимую лексику из подобных сочинений. В конце концов, не публиковать их вовсе было бы нарушением свободы слова. Так эта часть суши погружается в Серость, и, вместе с остальным миром, в хаос геополитического апокалипсиса, — но вместо того, чтобы разрушиться, она скорее растворится. По-прежнему оставаясь социал-демократической. По-прежнему щедро раздавая денежные пособия тем, кто бьет баклуши. Крейсеры гибнут под обстрелами в Северном море, но государство по-прежнему предлагает безработному человеку искусства возможность переподготовки в своей сфере деятельности. Граад теряет Полярное плато на севере, Елинка сгорает в пожаре в трехмесячную зимнюю ночь, и никто не выживает, но безработный Петер Петерссон по-прежнему рассказывает о книге, которую вот-вот допишет. Граад оставляет второстепенный театр военных действий в Катле, собирая силы для защиты родной изолы, путь в Арду оказывается открыт для агрессора, фронт с каждым днем приближается, но о книге Петера Петерссона по-прежнему ничего не слышно. Таким образом, невзирая

на возмущение экстремистов, государство Вааса покидает историческую сцену с трехлетним оплачиваемым отпуском по уходу за ребенком и безукоризненно работающим общественным транспортом.

Кажется, ничто не может помешать экологически сознательным «проектам будущего». В месяцы, когда Серость уже подползает к Ваасе через океан, сбывается заветная мечта лоббистских групп по борьбе со световым загрязнением. В промышленных и коммерческих зданиях гасят искусственное освещение в конце рабочего дня, уличные фонари накрывают специальными фильтрами. Вааса становится первым и последним в истории крупным городом, полностью избавившимся от светового загрязнения. Это не только мера против бомбардировок, но и забота о птицах, которые без этого легко могли бы заблудиться в световых лабиринтах города, и тюленях, чей брачный ритм нарушается из-за слишком долгого дня. Можно над этим смеяться, но в то время как большой мир на заднем плане превращается в кровавый вихрь, в Ваасе ты вечерами выходишь с семьей на улицу и ведешь себя так, будто ничего не происходит. Только далекие взрывы нарушают глубокое спокойствие зимней ночи, чистоту ее звездного неба. Все смотрят на него, запрокинув головы.

Старая мать Хана тоже смотрит, у себя в Салеме. Ее глаза, по ильмараанскому обычаю, подведены черным, а волосы убраны под золотой платок. Холодно, и дыхание женщины превращается в пар на застроенной деревянными домами улице. Той ночью, четыре года назад, Алия Хан видела своего сына в последний раз. Немногим позже — не больше месяца спустя — он позвонил, чтобы попрощаться с матерью. Вокруг гуляют семьи, среди прочих — мужчины мобилизационного возраста. Инаят сказал, что больше не вернется, но они продолжают возвращаться. Солдаты с Северного фронта. Про войну все тоже как-то забыли. Всё это своего рода упадок, капитуляция, но в то же время воплощает девиз, принадлежащий не чему иному, как морализму — движению, дочерней клеткой которого является социал-демократия. Он звучит так: «На миг показалось, что у человечества есть надежда».

К тому времени, как звезды начинают искажаться за нависающей стеной небытия, многие уже не могут воспринимать словосочетание «конец света» всерьез. Паника угасла. В странном утомленном безразличии к эвакуации целые семьи остаются в Ваасе. Они играют в настольные игры в частных домах и просторных квартирах. Они выбирают богатую витаминами пищу, и когда до прихода Серости остается лишь несколько дней, о нём всегда оповещает одно и то же замечательное явление. Плоды покрываются плесенью. Она разрастается в них с пугающей скоростью. Дети слушают, как апельсины похрустывают на столе. Споры прорастают в мякоти, яблоки покрываются пухом. Если попробуешь дотронуться до них, они

с треском лопнут. Никто не знает, почему так происходит. Но к этому времени уже мало кто в состоянии испытывать страх, поэтому можно сказать, что это красиво.

Мать Хана — одна из тех, кто решает остаться в Ваасе, когда приходит Серость. Но многие бегут. Они направляются в Арду, ближе к фронту, подальше от Серости. Там, на Зимней орбите, Анита Лундквист берет себя в свои прекрасные руки и идет полировать ими патроны на заводе боеприпасов. В последние годы, особенно после эвакуации, модель проявляет необычайную силу. Беззаботность и жизнелюбие, делавшие ее образцовой гражданкой функционирующего мира, в условиях конца света открываются с совершенно иной стороны. Это лидерские качества, и Анита становится королевой лагеря беженцев. Когда Оре Окерлунд встречает ее там, он не сразу ее узнаёт. Кто эта валькирия? Но потом Анита сама приходит к нему, приветствует по имени и достает из кармана фартука лекарства, чтобы облегчить его абстиненцию. Известный минималист и глухой музыкальный критик благодарен ей. Он рассказывает девушке о том, что творится в мире. О международной наркоторговле, которая перестала существовать. И о том, как черная банкнота ИИР — интеризолярный реал — обесценилась, а мировая экономика рухнула. Наконец, Окерлунд рассказывает и о том, что уже перестало быть миром — обо всем, что он испытал на пути в лагерь беженцев. Он дошел до Арды пешком. Опоздав на общую эвакуацию, он два месяца пробирался через скованные льдом фьорды. Он шел через брошенные города-призраки, он был там совсем один, и Серость шла за ним по пятам. Он полз по вечной мерзлоте, где кругом громоздились занесенные снегом обломки сбитых дирижаблей. Еще Окерлунд рассказывает о лошади, которая везла его сани, и которую он в конце концов съел. А Анита рассказывает ему о Йеспере. Она говорит о нём только хорошее.

Завод боеприпасов, где работает Анита, является стратегическим предприятием. Хотя он спрятан глубоко во фьордах, недавно запущенный Меском на орбиту разведывательный спутник «Мозаика» обнаруживает его. Экуменический агрессор стирает завод с лица земли градом бомб, и модель исчезает в вихре войны. Это происходит через шесть лет после той вьюжной ночи, когда уехали Хан, Йеспер и Тереш.

За южным побережьем Катлы враг материи, Великий Переход, погребает под собой то, что осталось от изолы. Той, где были Вааса и пляж Шарлоттешель. Теперь оттуда больше никто не приедет, хотя в лагерях по-прежнему ждут отставших — друзей и родственников. Где-то там, посреди Серости, сидит в своей кухне Анн-Маргрет Лунд, в ее доме тихо и прибрано. Бывшая учительница, одетая в бежевые юбку до колена и пиджак, смотрит, как плесневеют абрикосы. Пожалуй,

излишне говорить, что в полицию она так и не обратилась. Анн-Маргрет отпускает руку мужа. Как и остальные, она ничего не может поделать в этом бесконечно длящемся состоянии, когда ощущение настоящего понемногу пропадает. Но в то время, как другие растворяются в своих воспоминаниях, она просто теряется. Как будто ее жизни не было. Прошлое не ждет ее назад. Она просто бродит по комнатам, одергивает бабушкины кружевные скатерти и покрывала, расправляет шторы на карнизах. И вот так, сохраняя достоинство, она отказывается предаваться тому экстазу, что сопутствует разрушению человеческого духовного мира. Ничто не наполняет ее ладони, ничто не возвращается.

И когда изола Катла окончательно погрузится в серость, Анн-Маргрет Лунд без малейшей радости превратится в белковое тело.

16. ЭНТРОПОНАВТ

За шесть лет до этого, где-то далеко, на самом краю другой изолы, просыпается человек. Идет семьдесят второй год. Он здесь совсем один. Утром в брезентовой палатке темно и холодно, человек свернулся в клубок в своем спальном мешке. Он трет бока, чтобы согреться, поношенный свитер из овечьей шерсти кусает кожу. Это разгоняет кровь, и человек наконец решается высунуть из мешка руку. Он спит в шерстяных перчатках без пальцев. Это обычная хитрость его профессии. Он шарит по полу, находит в темноте фонарик и с полминуты возится с замерзшим выключателем. В конце концов лампочка загорается; электрический огонек так жалок, что едва освещает одноместную палатку. Поджав под себя ноги, человек садится в спальном мешке и пытается отогреть руки. Он дует на пальцы, его беззубый рот вздрагивает. Луч фонарика освещает штамп на внутренней стороне палатки: «Кооператив "Микрокосмос"».

Человек прикладывает к брезенту ладонь: он холодный, палатка провисла под тяжестью плотно укутавшего ее снега. Снаружи не проникает ни лучика света, шума ветра тоже не слышно: за ночь буря утихла. Электронные часы показывают, что сегодня день его рождения: ему тридцать девять лет. Сейчас 7:15 утра. Скрючившись в своем микрокосмосе, человек выбирается из спального мешка, набрасывает поверх свитера куртку-анорак и сует ноги в ботинки на шнуровке. Замок на входе с треском расстегивается, и прямо как есть, с голыми ногами, человек выходит из палатки прямо в Серость.

В двадцати километрах от края света тихо падает снег. В утренних сумерках человеческая развалина ковыляет к дереву в паре метров перед палаткой. Из дымки проступает черно-белый, как во сне, таежный пейзаж: зазубрины скал и призрачный неровный строй низкорослых елей. Сквозь снег и туман в обесцвеченный мир проникает едва различимая синева — откуда-то, куда не достигает взгляд. Сейчас утро, светлее тут уже не будет. И в этом тусклом свете под голым деревом стоит полностью устраненное человеческое существо. Энтропонавт. Стареющий рокер. Его зовут Зигизмунт Берг, и на нём темно-синие трусы с белой каймой. Он писает.

Лагерь разбит на склоне холма, на окруженной елями террасе. По туманной долине внизу разносится сначала звук скребущей по снегу лопаты, когда энтропонавт откапывает палатку. А после — стук топора. С охапкой хвороста в руках Зигизмунт Берг идет через поляну обратно к палатке. В воздухе плывут крупные хлопья снега, на ногах у мужчины теперь надеты вытертые джинсы. Куртку он расстегнул, пока работал, капюшон откинул на плечи — и вдруг он замирает. Впереди, за серой завесой, что-то пошевелилось.

Тишина. Это та тишина, из которой возникло всё остальное молчание. Энтропонавт резко, коротко вдыхает; звук дыхания, шум крови в ушах здесь кажутся такими громкими, что оглушают. Потрескивают прижатые к коленям дрова. Он стоит, не шевелясь, привычно сгорбив спину. Снегопад прекращается, Серость теперь неподвижна, как и он. Тянутся минуты, на электронных часах замирают цифры «07:48».

Слышится цокот копыт по граниту. Прямо впереди, на скале, из Серости выходит козерог. Зигизмунт пристально смотрит на него, а козерог смотрит на Зигизмунта. Глаза у обоих темные, влажные от холода. На голове у Зигизмунта Берга залысины и конский хвост стареющего рокера, а у альфа-самца — корона огромных рогов. Позади животного проходит его стадо, цветные силуэты движутся сквозь Серость; ноги выпрямлены, копытца подгибаются — они карабкаются в гору. Рога козерогов прорезают туман, словно копья идущего войска, из ноздрей у козлят вырываются струйки пара. Молодняк идет бок о бок с матками, и замыкает шествие сам король. Качнув рогами, козерог отступает в Серость. Он оставляет энтропонавта одного.

— Не уходи, — просит Зигизмунт плаксивым, пьяным голосом, — пожалуйста, не уходи! — Он бросает хворост и пытается взобраться по заснеженной каменной стене. Руки в беспалых перчатках обшаривают гранит, ноги не находят опоры. Тяжело дыша, он мечется в тумане среди карликовых елей. Никого нет, все уже ушли, что ты там ищешь, дуралей?

— *Не уходи, пожалуйста, не уходи…* Ты как тот старикашка! Знаешь, тот, что ходит в парк дружить с белочками: «Микки, Микки, иди сюда, маленький!» Нужда в близости просто смертельна. Он не может ее вынести.

— Но мне так одиноко.

— Ты никогда не будешь одинок, Зиги. У тебя есть ты!

Двадцать один год назад, на зимних каникулах, ночью, Зиги стоит на остановке конного трамвая. Через два дня пятьдесят первый год станет пятьдесят вторым. Вокруг спит малоэтажный пригород Ваасы, уже поздно и темно, но Зиги никуда не торопится. Мама не ждет его домой. Пошатываясь и звеня замками на кожаной куртке, юнец расхаживает взад-вперед вдоль деревянной скамейки. Прямо за ней — высокая штакетная изгородь придорожного участка, постоянное напоминание о частной собственности. Она действует ему на нервы.

Он только что ходил продавать стафф детям богатых родителей. А незадолго до этого, на празднике Зимнего солнцестояния, он исполнил прославивший его *sprechgesang*. Пацанята из младших классов были в восторге, во всяком случае, хохотали до упаду. Кое-кто

из старшеклассников говорил: «Вот придурок. Он точно не доживет до двадцати». Но Зиги всё равно плевать на этих гимназистов. Они уже в системе. Только у «мелких рукоблудов», как ласково зовет их Зиги, еще есть надежда.

А еще Зиги пьян, и, конечно, ему хочется покуражиться. Но на остановке «Фалу» в это время никого нет, и он вынужден обходиться неодушевленными предметами. Вот он бросает вызов трамвайному расписанию, но расписание дрейфит. Разочарованный трусостью графика, мальчишка пытается сорвать его со столба, но жестяная табличка только гнется от его усилий. И поскольку Зиги самый подлый ублюдок на свете — тот, кто ворует графики, чтобы люди не знали, ушел последний трамвай или нет, — он сдирает листок с необходимой информацией, сминает его в комок и выбрасывает. На остановке всё еще пусто, а Зиги по-прежнему в боевом настроении, поэтому он решает оспорить *weltanschauung* мусорного бака.

«Эй, что ты сказал?! — Зиги обеими руками пихает поганый бачок, но тот слишком сыт и доволен собой, чтобы защищать свою честь. — Я слышал, что ты там говорил. *"Обнаглевшее быдло"*, еще и таким презрительным тоном, *"поднимает руку на частную собственность"*. Что, решил, что ты сильно крутой, да? *"Быдло"*, *"поднимает руку"*. Спорить? А почему нет, мы же образованные люди… Только знаешь, что?»

У бака нет ни малейшего представления, что хочет сказать Зиги. У него есть шапка из снега, в которой торчат окурки — и это всё. Неужели нельзя разрешить дело мирным путем?

«Как тебе вот это? А? Нравится? Наверни говна, буржуй!» — Зиги пинает бачок ногой так, что оставляет на нём вмятину и почти теряет равновесие. Надругавшись над контейнером, ненасытная стихия обращает свой гнев на знак остановки. Он раскачивается под ветром, и на нём написано «Фалу». Получив удар с прыжка, знак начинает крутиться, как колесо водяной мельницы. Но приземляясь, Зиги поскальзывается и шлепается на спину. Мелкий снег взлетает в воздух. Какое-то время Зиги лежит на месте; он смеется, и снежная пыль оседает на его лицо. Над ним, в темной синеве ночного зимнего неба, сияют фонари, порхают снежинки. А где-то за ними, в невидимой черноте, скользят по орбитам прошлого забытые спутники связи. Всё так красиво кружится — прекрасный, темный мир, готовый исчезнуть под ударами.

Но для Зиги вечеринка еще даже не началась. Он встает. Он демонтировал расписание и теперь не знает, ушел последний трамвай или нет. По счастью, юноша всё еще жаждет изменить мир, и мы видим, как он шагает вперед: колени джинсов белые от снега, кожаная куртка расстегнута, а длинные волосы поп-идола развеваются на ветру… Он

идет по улице пригорода, возвращаясь домой пешком. А по обе стороны дороги, за изгородями из штакетника, дремлют деревянные дома. Он бросает на них презрительные взгляды: уют — это мещанство. Он высматривает тот самый, свой любимый.

В руке у него кирпич.
На лбу у него прыщи.

Карл Лунд, молодой владелец бумажного бизнеса, читает газету в гостиной на первом этаже. В заглавии — силуэт кентавра в шляпе-цилиндре и набранное солидным, с засечками, шрифтом слово «Капиталист». Это не записки какого-нибудь доморощенного спекулянта; это газета, основанная пятьсот лет назад на заре рыночной экономики, одна из старейших в мире. Здесь нет ни единого слова о быстром обогащении; в «Капиталисте» вся политическая реальность рассматривается сквозь призму экономики. Так, как оно и есть на самом деле, если отбросить в сторону фантазии начала века. Карл Лунд читает, чтобы понять, и понимает, чтобы помочь; он беспокоится об этом мире. Искренне. Вы бы и сами с удовольствием это почитали — и стали бы куда более уважаемым человеком, чем сейчас, — но, к несчастью, вам не понять «Капиталиста».

Зиги тоже не понимает. Он пробовал, но не вышло. Правда, он не очень-то и старался. Неурожай в Йесуте, эпидемия цараата в Сарамиризе — это всё не про Зиги. Он не чувствует, что они его как-то касаются. Он воспринимает это как упреки, пустой негатив. Зиги не беспокоится о мире, он не хочет ни понимать, ни помогать. Он хочет совершенно иного, а чего — он вам сейчас покажет. Мальчик затягивает шнурки на кедах: благодаря водочной анестезии, он не чувствует холода. С кирпичом в руке он встает у ворот белого деревянного дома и размахивается.

Снаряд покидает руку, Зиги по-звериному скалится ему вслед. Кирпич летит во тьму зимней ночи, где в конце пути ожидает ненавистная карикатура — то, чем человек, ведущий чуть более нормальную жизнь, является для юного Берга: запах красного дерева, книги в кожаных переплетах. Окно разбивается на тысячу мелких осколков, и бумагопромышленник вскакивает с кресла. На верхнем этаже, предвещая беду, открываются темно-зеленые глаза.

«Я задолбался ждать! — вопит Зиги, прижав локти к бокам и согнувшись от напряжения. — Сгинь, мир, **исчезни**!» Из его рта вырываются пар и брызги слюны. Это его пахнущее водкой огненное дыхание, он — дракон.

Карл Лунд в пятьдесят первом году еще молод, ему нет сорока; он летит к двери, точно выпущенная из ружья пуля, и натягивает

кроссовки. Последние несколько месяцев он находил в своем саду полные мусора мешки с надписью «БУРЖУЙ». По утрам всё усыпано отбросами, на ветках айвовых кустов висят грязные консервные банки. Распахнув калитку, он выскакивает на улицу и на мгновение останавливается. В каких-то пятидесяти метрах, прямо посреди улицы, во всю прыть удирает фигура в черной кожаной куртке. Бумагопромышленник срывается с места и бежит за мальчиком.

Длинные, как у поп-звезды, черные волосы Зиги развеваются по ветру — волнистые и немного сальные. Морозные ореолы вокруг фонарей сжимаются и снова расширяются за спиной, когда он проносится мимо. Снег летит из-под его кед, полы распахнутой куртки хлопают на ветру. Зиги окрылен алкоголем, он в самом расцвете жизни. Но его кеды скользят на снегу, а сам он курит с девяти лет. И физкультура — не самый его любимый урок.

Карл Лунд регулярно выходит на пробежку с коллегами. И, разумеется, он не курит. Даже сигар. Хотя пару дней назад Зиги, кажется, видел — держа кончиками пальцев мусорный мешок с надписью «БУРЖУЙ» — как он совал одну, большую и похожую на пенис, себе в рот. Там, в окне стильного деревянного дома. Кстати, еще он не пьет бренди из графина и не состоит в *Les Morts*. И не ездит секс-туристом в развивающиеся страны.

Мужчина бежит, одетый в черный джемпер с высоким горлом, белая кожа кроссовок сверкает на снегу. Расстояние сокращается, на углу Зиги поскальзывается и с низкого старта бросается бежать дальше. Он слышит, как в тридцати метрах за его спиной Карл Лунд кричит: «Стой, паршивец!» Ладони саднят, легкие горят огнем, но алкоголь пока еще дарит Зиги сверхчеловеческую устойчивость к боли. На самом деле он уже надорвал мышцы ног: после многих лет без тренировок внезапный спринт оказался для них большим сюрпризом. Но Зиги ничего не чувствует. Он может бежать целую вечность.

Конечно же, это иллюзия: в реальности, у его тела есть предел возможностей, и после восьми минут погони он дает о себе знать. На железнодорожном переезде между ними уже всего десять метров. Круто развернувшись, Зиги взбегает по лестнице на платформу. В тиши ночного пригорода далеко слышны топот ног по бетону и всё более неровное дыхание бегущих. Две темные фигуры движутся по платформе в лучах фонарей, и расстояние между ними сокращается. Бросив взгляд за плечо, Зиги видит, что буржуа приближается, двигаясь энергично и выверенно, словно присланный из будущего *робот*. Мальчик прыгает с края платформы, нацелившись на закоулки станционной промзоны, где он частенько шатался в свободное время. Едва устояв на ногах при приземлении, он бросается вперед по снегу. Он надеется, что там, в тени железнодорожной насыпи, наконец-то оторвется от робота. Когда этот

хрен уже отстанет! Такие обычно боятся даже выйти из дома. Они звонят своим любимым полицейским и развлекаются с ними.

Между деревянным забором и насыпью — заснеженная полоса; по ней бежит Зиги. Магия водки уже рассеивается; он хромает, как подстреленная дичь. Он чувствует, как правую ногу сводит судорога. Чёрт с ним! Осталось совсем чуть-чуть. Только не сдавайся, мать твою! Как же хочется курить.

За Зиги бежит Карл Лунд: он уже ловит ноздрями след пота в воздухе. Он явился из будущего, где конец света так и не настал. Из людей там остались одни буржуа, а рабочий класс почти истреблен. Бросив беглый взгляд на окрестности, Карл Лунд видит впереди тупик из гаражей. Он делает последний рывок перед столкновением, готовясь припечатать Зиги к стене. Со всей силой. Только взглянув на этого таракана, он понял, что с легкостью его одолеет. Вытянув руку, он касается пальцами куртки мальчишки. До стены гаража остается всего лишь метр земли. Правой ногой Зиги толкает себя прямо к кирпичной стене, но сведенная судорогой нога не может в точности выполнить то, что он задумал. План реализуется не до конца: он не взбегает вверх по стене, лихо, как сераидский мечник. Он поскальзывается, но всё же успевает схватиться обеими руками за край крыши. Зиги карабкается по стене, но Карл Лунд ловит его за ногу.

— Попался, чёрт тебя дери!

Но тут прямо над ними, на крыше гаража, возникает друг Зиги и спешит на помощь. Друг Зиги велик и грозен, хотя и искалечен временем. Он колышется в темноте, точно серое знамя, и зовет за собой.

Полностью устраненное человеческое существо сворачивает себе самокрутку в недавно поглощенной Серостью тайге Северо-Восточной Самары, в Над-Умайском экорегионе. В двадцати километрах к югу начинается мир — с Самарской Народной Республики. А в четырех тысячах километров дальше на северо-восток лежит изола Катла, и что находится между ними, не известно никому.

— Не будь наивным, конечно, это не какой-то там загробный мир, — завершает бессмысленный спор Зигизмунт. Он вытаскивает резаный табак из алюминиевой банки из-под огурцов и раскладывает его на бумажке. Перед отъездом из Сапурмат-Улана он запас табаку на два месяца.

Пайков должно хватить. За талоны на гречку на центральном рынке предлагали только труху со дна банки, и бумага тоже какая попало, края не склеиваются как надо. Бумага липнет к губе, горящий табак с кончика папиросы падает на грудь. Энтропонавт рукой отряхивает куртку; тлеющие светляки искр — единственные цветные пятна в окружившей его Серости. Он сидит, расставив ноги,

в треугольном входе палатки, а прямо перед ним, в вырытой в снегу яме, дымит костер. По другую сторону костра горбится призрачная серая цитоплазма Игнус Нильсен: друг Краса Мазова, школьный учитель и апокалиптический кровопийца. Этот жуткий дефект кинопленки колышется на фоне окутанных туманом елей на краю поляны, черно-белый и абсолютно неестественный.

— С днем рождения, — говорит призрачная серая цитоплазма.

— Мне тридцать девять, — отвечает Зигизмунт Берг. — Ну, и как оно теперь?

— Можешь сразу округлить до сорока. Это уже не имеет значения. Настройся заранее, скажи себе сразу, что тебе сорок лет.

— Мне сорок.

— Сорок! И что поменялось? Я говорил, что тебе никогда не стать старше двадцати. У тебя нет никаких планов на это время. Зачем было так далеко забираться?

— Знаешь, Игнус, я хочу исчезнуть… — мечтательно произносит мужчина, шевеля головешки. В сердце костра оживает темно-оранжевый язык пламени.

— *Всё еще*? Разве ты не достаточно исчез?

— Всегда есть, к чему стремиться, Игнус. Можно было оставить и меньше: бумажный след, запись у зубного… — Зиги вешает над огнем котелок, в нём тает свежий снег.

— По этим зубам тебя и разыщут! За то время, что ты пробыл в Грааде, ты мог бы выдрать их и сам, хотя бы отверткой!

— Я пробовал, но оказалось слишком больно.

— Не понимаю, к чему ты это говоришь, не уходи от темы! А ведь кроме врачей есть еще буржуазная правовая система. Ты о ней слишком хорошего мнения. Все их соглашения о конфиденциальности — одна *pokazuha*. Вспомни Мазова.

Зиги достает из-за пазухи вставные челюсти и засовывает их в рот.

— Ты сам всё время уходишь от темы. Какой еще Мазов? И вообще — посмотри вокруг! Кто поедет сюда меня искать? Тут меня не найдет даже институт энтропонавтики.

— Ты так думаешь?

Зиги надевает перчатки и ждет, пока вскипит вода.

— Да, я так думаю. И вот еще что! Теперь я хочу не просто исчезнуть из страны.

— Но куда дальше, Зиги? Стран ведь много, они повсюду.

— Я хочу исчезнуть из мира.

Серость над заснеженной поляной синеет. Шипит вода в котелке.

— Боже мой… — вздыхает Игнус Нильсен, урезанный временем-цензором до безликого обрубка. Горный хребет оставляет его

искаженный, как на перевернутой записи, голос бесплотным, лишенным эха. — Боже, как мне надоела эта болтовня про исчезновение.

Огромным усилием Зиги высвобождает ногу из хватки Карла Лунда. Наступив отцу семейства на плечо, он забрасывает себя на крышу гаража. Он возвышается там, торжествуя, на фоне зимнего неба — такой юный и такой свободный. Буржуазия склоняется перед ним.

— Ну что? Что ты теперь мне сделаешь? — выкрикивает Зиги, глумливыми жестами показывая, как «поимел» этого буржуя. — Что ты сделаешь, а? Наверх полезешь? Я тебе пальцы переломаю! — Он топает ногой по краю крыши, демонстрируя, что будет, если полезть за ним. — Будущее за мной! Ты **проиграешь**! Ты уже, бля, *fucking*, проиграл!

— Отлично, — шепчет Игнус Нильсен из темноты. — Я тоже не церемонился с этим средним классом. Знаешь, мы с Мазовым истребляли их сотнями тысяч. Мы истребили почти миллион буржуа, и истребили бы больше, но не хватило времени.

— Я тебя убью! — орет Зиги. Здесь, наверху, он снова *словил* вершителя апокалипсиса: теперь всё дозволено. — Ты весь мир прибрал к рукам, а я тебя прикончу. И всю твою семью!

— Тебе бы к врачу, парень. — Махнув рукой, Карл Лунд разворачивается и собирается было уходить, но Зиги нагребает полную ладонь снега и слепляет его в комок. Получив снежком по затылку, мужчина в ярости оборачивается и бросается назад. — Я тебя запомнил, паршивец!

— *Я тебя запомнил*, — кривляется Зиги в ответ. — Я тебя тоже запомнил, я знаю, где ты живешь! — Вокруг Зиги кружится снег, хлопья тают на его черных волосах.

— Давай, слезай, гаденыш, иди сюда, раз такой крутой!

— О-оо, я приду! — Зиги швыряет еще снежок, но мужчина уворачивается. — А со мной ангелы смерти, такие, в кожаных пальто! Твоей семье крышка! Педрила!

— Отличный стиль, — одобряет Игнус Нильсен из тени за его спиной, — этот намек на ребят из особого отдела был очень хорош. Ты поэт. Но поэт не слов, а действий!

— Я изнасилую твою жену!

— Так держать, мой мальчик, так держать! Продолжай!

— Я национализирую твои заводы, ты у меня будешь жить в Екокатаа!

— Ты слишком углубляешься в теорию, не надо, это тонкий лед. Ты ведь знаешь, что не разбираешься в этом. Скажи ему, что он педераст!

— Пидор!

Взбешённый Карл Лунд пытается забраться наверх, но Зиги швыряет снег ногой ему в лицо и делает вид, что сейчас прыгнет ему на пальцы, и мужчина падает обратно.

— Хорошо, на этом можно закончить, но напоследок скажи ему что-нибудь особенно сильное!

— Пидор!

— Сгодится, — говорит Игнус Нильсен, и одетая в кожаную куртку фигура Зиги исчезает в темноте между гаражами.

Из голубоватой дымки, рядом с огромными колесами засыпанного снегом самосвала, появляется одинокий силуэт. Над-Умай по-прежнему сумрачен и сер. Зигизмунт Берг один бредет по дороге, проложенной по краю горы; на спине у него огромный рюкзак, а его конский хвост стареющего рокера спрятан глубоко под капюшоном куртки. Из отороченного мехом капюшона валит дым, как из трубы. С лыжными палками в руках и самокруткой в зубах, человек пробирается через зону энтрокатастрофы.

— Когда Мазов устал ждать мировой революции…

— Ты хотел сказать — когда он прострелил себе голову, потому что стал чудовищем? Или потому что понял, что проигрывает?

— Нет, это не так, — Игнус Нильсен колышется по левую руку, точно серое знамя. — У Мазова была ранимая душа. Повсюду бушевала реакция, сколько бы мы их ни убивали, их всегда было больше. А потом начались неудачи, в Ревашоле всё обернулось полным провалом. Он не считал себя чудовищем, он просто не выдержал горя.

Одинокий след кирзовых ботинок Зигизмунта тянется по дороге, между елей. По обе стороны — следы от лыжных палок.

— Скажи мне, чего это стоило — получить всю власть в свои руки? Скольких жизней твоих товарищей? В этот раз скажи, как всё было на самом деле. «Я понял, что идеи Мазова живы, когда другие коммунисты пришли меня убить!» Было такое? Или нет?

— Конечно, нет, Зигизмунт, тебе просто хочется представить нас в худшем свете. Чтобы тебе больше ни во что не надо было верить. Чтобы ты смог сделать то, ради чего сюда пришел. Скажи, когда мне ждать кадровой чистки? Среди нас двоих. Когда ты продолжишь путь один?

— По правде сказать, Игнус, я уже думаю об этом.

— Тогда думай, но знай, что это были не только убийства и террор. Когда я получил власть, когда это всё оказалось в моих руках, это было головокружительное чувство. Ты представляешь, как это, когда вся страна — твоя? И за ним, за этим чувством, было лишь желание добра. Я держал Граад в руках, бережно, как архитектор держит новый панельный район, эти спичечные коробки́. — В груди у Игнуса, точно в окне в историю, проступает сквозь рябь строй серых коробок. — Тогда

я поклялся, что теперь, когда я получил этот шанс, я сделаю всё для человека. И знаешь, я себя не разочаровал.

— Вы профукали всё, кроме одной экстраизолярной колонии — что за козлячье дерьмо?

— Не будь таким мелочным. Я понимаю твой скепсис, но не стоит недооценивать Самару. В Самаре я оставил свое сердце. Когда мы отступили сюда…

— Вот именно, *отступили*! Почему вы опять отступили? Почему наши всегда отступают?

— Это было неизбежно. И я не собирался становиться фаталистом. Я не сложил оружие. Я всё отдал на благо этой колонии. Моей Самарской Революционной Республики!

— Согласен, эта «Народная Республика» — полный маразм.

— Я никогда не прощу им этого. Стоило мне уйти, и они всё испортили. Что за убожество! Никогда не прощу! — негодует призрачная серая цитоплазма.

Энтропонавт идет по горному мосту с открытыми шлагбаумами. Пустые сторожки дремлют в снегу по обе стороны от дороги. В конце моста знак: «Неменги-Уул — 36 километров». А дальше, за снегами и серым туманом, тайга Умайского хребта. Еще две недели назад здесь извлекались из земной коры богатейшие в мире запасы фтора, вольфрама и цинка, исключительно редкого самарскита… громыхали цеха, промышленные отходы окрашивали чистые серебряные ручьи ржавой пеной. Но всё это в прошлом, теперь здесь тишина и покой. Энтропонавт спускается по дороге для самосвалов в сумрачную расщелину долины, где со всех сторон темнеет еловый лес. А перед ним по заснеженной дороге идут перепутанные следы от копыт.

— Это было грандиозно! Это было полное самоотречение, самопожертвование во имя народа. Я был машиной управления на амфетаминовом топливе, я никогда не спал. Никто из нас не спал. Мы построили всё это из ничего. Лишь с помощью джикутов. Это было братство народов. Они уважали наше оружие, а мы их живой ум и танец. За шесть лет, из ничего, мы построили страну. Рабочие трудились до смерти — в болоте, по пять суток без отдыха; они буквально умирали на стройке, от сердечных приступов, от переутомления…

— Под дулом пистолета?

— Ты думаешь, что это так, но ты не прав. Конечно, сейчас так бы и вышло, но в те времена — нет. Ты не можешь представить, ни что происходило здесь, ни как это было. Пьянящее счастье, которое пронизывало весь мир!

— Пьянящее счастье? У вас все подряд сидели на амфетамине, который даже не прошел медицинских испытаний.

Но Игнус не слушает.

— О да, я говорил потрясающие вещи! Я был на белом коне, я стоял посреди метели и произносил речи. На стройке, в горах… Я потрясал мечом, а у меча на навершии были серебряные солнечные лучи. И всюду вокруг меня реяли белые стяги с вышитыми серебром гербами: оленьи рога, устремленные в небо, а между ними пятиконечная звезда. Все, кто пришел со мной сюда, были счастливы, Зиги! Коммунизм могуч! Вера в коммунизм — великое вдохновение! Клянусь! Это прекрасно, верить в человека, но без него самого!

— Без него нет ничего.

— Вовсе нет. Была метель, но было светло, было утро. Коммунизм белый, как снег, он сверкает! Коммунизм — это рассвет, это ликование!

Серый цвет вокруг энтропонавта начинает опасно редеть. Мир белеет, и из груди Игнуса в тени еловых деревьев начинает пробиваться корона серебристых лучей. Падающий снег сверкает в них, как серебряное конфетти, в мир угрожающе просачивается цвет. Зигизмунт резко останавливается. Он закрывает уши руками и кричит: «Хватит! Прекрати!»

«Хватит, прекрати…» катится над лесом, рассекая воздух, словно меч.

— Прошу меня простить, дружище Зигизмунт, — слышится голос аномалии.

Тяжело дыша, человек стоит посреди лесной дороги, снова туманной и полутемной. Серость возвращается, энтропонавт с облегчением выдыхает.

— Ты это что… с ума меня хочешь свести?

— Нет, я только хотел, чтобы ты понял, как хорошо тогда было. Что это было за время. Что за прекрасное время! Прошу прощения…

— Это время ушло. Оно осталось на ваших перфокартах и закопано в дерьме. Теперь уже никто не скажет, что там было. Никто не знает, как оно было на самом деле. Его там больше нет. То, что было на самом деле, исчезло, осталась только Серость. Это муляж. Ты это знаешь. Я ведь это знаю.

— Это твои девчонки так говорят, — тихо шепчет цитоплазма на ухо Зигизмунту. Ели чуть колышутся, в Серости темно, но соблазнительно мягко. — Это всё твои девчонки, девчонки ни во что не верят, все они мещанки, Зиги.

— Они не были мещанками.

— Они были мещанками, каждая из них. Они читают свои журналы для девочек. Ревашольские буржуазные мода и парфюмерия, истории о потере девственности. Всё это — мещанство. Каждая девушка на самом деле — оружие буржуазии.

— Ты их не знал, ты не знаешь, о чем они думали. Никто не знает, о чем они думали. Я тоже не знаю, но ничего мещанского в них не было, Игнус. Это было что-то другое.

— Если ты так хочешь в это верить — пожалуйста. Но лучше верь в человека без него самого, верь в коммунизм.

— Я пытался, но я не могу! У меня не выходит… я не коммунист.

— Но почему тогда ты говоришь со мной? Я ведь и есть коммунизм, тот самый призрак, что ходит по земле. Почему ты был со мной все эти годы, если не веришь в коммунизм?

— От злости на тех, кто лучше устроился в жизни, Игнус. К тому же ты чудовище, гротеск. Кто откажется от компании чудовища?

— Я не чудовище.

— Ты чудовище, тебя называют «апокалиптический кровопийца». Ты слышал, чтобы кого-то еще так называли? Ты единственный! Вся эта бойня в Грааде прошла через твои руки, везде твоя подпись. И даже когда вы отступали, когда Мазов уже не отдавал приказов, ты велел сажать вражеских солдат на колья. Двенадцать тысяч человек. Вы обтесывали под колья ёлки на корню! Целый лес из кольев, Ингус, это чёрт знает что!

— Это ради того, чтобы мне дали построить мою страну! Мое государство будущего. Пойми, они никогда не оставили бы нас в покое… Они затравили бы нас, словно дичь!

— Может, и так, но это уже перебор. Посмотри, кем ты стал! Кровопийцей!

Человеческая речь звучит неуместно в молчании Серости. Она эхом разносится в сумерках под деревьями, когда Зигизмунт бредет сквозь сугробы. Это старая хитрость К. Вороникина, великого энтропонавта: в Серости надо разговаривать. Иначе впадешь в тоску, и прошлое придет за тобой. Но Зигизмунт может этого не бояться. Впервые войдя в Серость, он, к своему большому огорчению, обнаружил, что не может вернуться, как все. Вернее — может, но не туда, куда ему так хотелось. И потому он незаменим для дела Мазова. Исчезновение сестер Лунд буквально наделило Зиги особыми энтропонетическими способностями.

Утро кончается, начинает темнеть. Через несколько десятков километров начнется глубокая Серость, время суток там больше не определяется. Нужно беречь батарейки. Он раздумывает, но потом всё равно включает фонарик. Снег искрится в его луче, когда Зигизмунт направляет его на своего беспощадного друга. Бесформенный силуэт Игнуса просвечивает насквозь.

— Посмотри на себя! Ты жалок. Было бы лучше для всех, если бы они сработали чисто. Что за дилетантство! Я бы сжег все кинопленки с тобой. Это как-то жестоко — оставить тебя вот так…

— Но тогда ты никогда не узнал бы меня, Зиги. Подумай обо всём, через что мы прошли. Не всё ведь было так плохо.

— Разве я о себе? Я говорю о тебе. Разве не было бы лучше, если бы тебя здесь не было? Не было ни леса из кольев, ни амфетамина, ни затертой цитоплазмы — кому всё это было нужно?

— Всё равно это больше ничего не значит, — тянет Игнус, — ты сам это знаешь. Неважно, скольких мы убили. Скоро конец света. Скоро обо мне никто не вспомнит. Что уж говорить о тебе. Если не будут помнить даже сильных мира сего.

— Вот и правильно. Так будет лучше. И кто это *сильный мира сего*? Ты гнусное пугало, весь мир был в ужасе от твоих бесчинств!

— Ты тоже творил бесчинства! Посмотри на свою руку, Зиги! Не будем забывать…

— Ну, скажи это! Еще слово, и тебе конец! — кричит энтропонавт. — По сравнению с вами я ничего не сделал! И вообще — кто из нас комиссар революции? Может быть, ты?

— Нет! — мерцает Игнус; он напуган. — Прости меня, друг, десять тысяч извинений! Ты один, Зигизмунт Берг — комиссар революции, глава партии твоего разума. У меня нет никаких полномочий. Всё, что у меня есть — эта скромная самокритическая речь, которую я сочинил. Прими ее. Но не убивай меня. По ту сторону меня — ничто. Я сделаю всё, чтобы остаться. Всё что угодно. Я — надежда.

— Ты знаешь, чего я хочу. Это последнее. Давай, говори!

Но Игнус не может говорить. У него нет рта. Дефект кинопленки трепещет под лучом фонарика. Это верх жестокости. От него требуют невозможного. В лесном воздухе вокруг повисает неловкое молчание. Все смущены.

— Почему, Игнус? — повторяет энтропонавт и подходит ближе, чтобы заглянуть с фонариком в сердце истории. — Зачем вы сделали это, в этом же не было никакой пользы. Что отступая, вы грабили банки — это я понимаю, это было необходимо. Даже то, что вы угнали с собой симфонический оркестр, насильно. Люди ведь любят музыку. Но *это*? Кому и какая от этого радость? Почему «Харнанкур», ведь эта модель ничего не стоила! Скажи мне, и можешь остаться.

— Но я не знаю, — печально произносит повернутый вспять голос, звуковая дорожка замедляется. — Я не могу знать того, чего не знаешь ты.

Довольно разговоров. Энтропонавт отряхивается. Снег осыпается с плеч его анорака. Он идет дальше, один. Впереди, в освещенной фонариком заледеневшей колее, по снегу бегут отпечатки копыт. Наконец из темноты появляется стадо козерогов. Они неподвижно стоят посреди дороги — как экспонаты музея естественной истории. Иногда кто-нибудь из самок вздрагивает, фыркает: это нервный импульс, мышечный тремор. Спины чучел уже покрыты снегом, но от их морд идет пар, они всё еще дышат: некоторые будут дышать еще несколько дней, некоторые — неделю. Одетая в анорак фигура с безразличием

профессионала движется сквозь стадо, пока на стену из елей не падает тень освещенных фонариком рогов вожака. Зигизмунт смотрит в остекленевшие глаза животного. Он видит распавшееся чувство времени. Примитивная мозговая кора автоматона уступает Серости раньше человеческой. Охотники из окраинных районов пользуются этим, промышляя в зонах энтрокатастрофы. Конечно, рано или поздно они и сами сходят с ума и не возвращаются. Но только не Зиги, у него особые способности. Он снимает с пояса нож и перерезает горло белковому телу.

17. ХАРНАНКУР

За сто пятьдесят лет до этого, на другой изоле, изоле Граад, в городе Мирове, идет снег. Вечер, середина зимы, но в порту толпятся тысячи людей. Пристань кишит народом, на заднем плане раскинулся императорский Граад — шпили церквей и дымовые трубы. Люди машут, прощаясь с поднимающимся в небо аэростатом. Лебедь из дерева и никеля уплывает в метель, из-за перил его балконов машут толпе в ответ пассажиры первого в мире интеризолярного рейса, нарядные буржуа; впереди у них небывалое приключение. Это Серость — пугающий, но такой возвышенный, незабываемый опыт. Современные технологии в виде роскошных дирижаблей сделали его доступным даже для обычного (хотя, возможно, с достатком чуть выше обычного) гражданина. А по ту сторону Серости — о, мистическая Серость! — ждет Катламаа и Вааса, ее королевская столица.

Это эпохальный момент, повсюду снуют журналисты, сверкают фотовспышки. Магний сгорает в колбах, и свет заставляет снежинки замирать в воздухе. Точно так же свет заставляет замереть и Надю Харнанкур. Звезда оперетты запечатлена на фотографии об руку с главным инженером, у нее изящная длинная шея и пушистая меховая шапка. Она улыбается и машет платком своему тезке в небесах. На улетающем дирижабле красуется надпись старограадским алфавитом: *«Харнанкур»*. Это вершина Надиной славы.

Два дня спустя совершавшее интеризолярный перелет судно вошло в Серость, а менее чем через шесть часов после этого отклонилось от курса. «Харнанкур» пропал без вести, с тысячей пятьюстами пассажирами на борту. Считается, что он попал в не отмеченную на картах область сверхглубокой Серости.

Но кто так считает? Параисторики. Помешанные на исчезновениях чудаки и пара одержимых фанатиков Серости из СНР. Такие люди, как К. Вороникин, потерявший рассудок самарский энтропонавт-коммунист, или всемирно непризнанный авторитет в области истории Инаят Хан, возможно, уже не живущий у матери в подвале. Так или иначе, та часть исторической науки, которую люди из лагеря Хана и Вороникина презрительно называют мейнстримной, отрицает существование воздушного судна под названием «Харнанкур». Первым гражданским судном, совершившим интеризолярный перелет, была «Анастасия Люкс», и произошло это десятилетием позже.

Через семьдесят пять лет, когда отгремели революции рубежа веков, о «Харнанкуре» уже почти забыли. Документальные свидетельства и газетные архивы, вероятно, были утрачены в пожарах граадской революции, но всё же событие было слишком масштабным. Если даже в таких малозначительных случаях, как исчезновение комиссара Юлия

Кузницкого, историческая память заявляет о себе отрезвляющей пощечиной — то куда мог пропасть первый в мире интеризолярный рейс с полутора тысячами человек на борту? В послереволюционные десятилетия «Харнанкур», казалось, окончательно исчез из истории. До пятидесятых годов, когда интерес к исчезновениям среди представителей среднего класса развитых стран внезапно приобрел масштаб субкультуры — феномен сам по себе не менее загадочный. Те, кого прозвали дезапаретистами в честь книги-бестселлера своего жанра *Los Desaparecidos* — по большей части молодые мужчины, не пользующиеся успехом у противоположного пола, — обратили внимание на одну фотографию: некто Надя Харнанкур, не представляющий особого интереса случай исчезновения, стоит на пристани. В меховой шапке на голове, она машет платком, опираясь на руку главного инженера. Позади них несметные толпы людей, и все они машут чему-то в небе. Но в небе над ними лишь загадочная пустота.

Эта пустота — святой грааль дезапаретистов. Они считают, что именно там, посреди снегопада, находится самое убедительное из их доказательств. Демонстрационную модель названного в честь Нади дирижабля забрали с собой коммунисты, когда отступали из Граада в Самару — в свою тогда еще Революционную, а ныне Народную Республику. Оригинал выставлен в музее энтропонетики в Сапурмат-Улане, и коммунисты относятся к нему с большой серьезностью. Беда лишь в том, что никто не воспринимает всерьез самих коммунистов. Самарский энтропонавт Константин Саронович Вороникин в своих мемуарах приводит следующие аргументы: корабль должен был существовать, поскольку его модель инженерно целесообразна. Иными словами, он мог бы перевезти через Серость более тысячи человек в коммерческом рейсе со всеми удобствами. Подобный промышленный проект должен был стать выдающимся научно-техническим достижением своей эпохи. Зачем было оставлять незавершенной работу над чем-то столь коммерчески привлекательным? Это противоречило бы принципам диалектического материализма.

Критики говорят, что более двухсот экспедиций в Серость не проходят бесследно для разума. Вороникин же говорит, что проект был запущен в работу, но сам корабль — опять же, по словам Вороникина — без вести пропал в первом рейсе. Так был ли проект осуществлен? Мог ли «Харнанкур» быть неким неудачным прототипом «Анастасии Люкс»? Почему не сохранилось никакой документации?

Так или иначе, К. Вороникин утверждает, что на основе модели был создан корабль, который, в свою очередь, отклонился от курса во время полета через Серость и столкнулся с неизвестным энтропонетическим феноменом.

.

18. ТРИ ПИРОЖКА С МЯСОМ

Сто сорок восемь лет спустя за окнами высотного здания сияет Мирова, столица Граада. В горячечные ночи истории все памятники имперской архитектуры были снесены. Потом бунтовщиков изгнали, и демократия создала город заново, в виде сияющего призрака. Это ужасная, неуправляемая среда обитания, безостановочный бег отражений на стеклянных стенах небоскребов. Смотреть на Мирову можно только в зеркало, как на чудовище из мифов. Ее движение — это безудержный экономический рост Граада, перешедший в рост физический: наглядное доказательство термодинамической невозможности. Плавно скользят поезда метро, сверкающие потоки машин кружат по ней и днем, и ночью. Всё это можно наблюдать с шестидесятого этажа ее нервного центра — «Ноо». «Ноо» — финансовый полуостров, вершина высокомерия одной нации, нации Граада. Здешние ученые утверждают: вначале земля была покрыта геосферой, затем биосферой; сейчас эпоха ноосферы. Разум опутал всю землю, а небоскребы «Ноо» — центр его паутины. Трон разума. Здесь он ведет свои расчеты с помощью междугородных звонков, невидимых сигналов. Его мысли — тайные финансовые инструменты. Никто не знает, что они такое и сколько они стоят. Зеркальное стекло черного цвета — очевидно, интеризолярный реал. Но что же тогда человек? Человек — это свет.

Научное сообщество Народной Республики, третье поколение изгнанных бунтовщиков, смеется над этим. В Самаре, кроме трех уже упомянутых, используется четвертый термин: энтропосфера. Волновые уравнения, расчеты самарских ученых, многообещающи. Это прекрасное явление может в любой момент смести Граад с лица Земли. И в той едва заметной точке, где коммунизм становится нигилизмом (грань, определенно, более тонкая, чем между любящими детей и любителями детей), верхушка партии начинает задумываться: почему бы нет? Наша идея больше не покоряет ваших сердец — и, будем честны, никогда не будет. Мы всё еще любим эту идею, а остальной мир почему-то нет. Если так, то пусть он исчезнет.

Когда Сарьян Амбарцумян поворачивается спиной к окну своих апартаментов под самой крышей «Ноо», до этого дня остается всего два года. Потом будет встреча одноклассников, потом обрушится Северный перешеек, и в развернувшейся цепочке событий станет очевидным, что то, что сияет за спиной Амбарцумяна, было не чем иным, как последним этапом развития этой стихии.

Темно, кроме того света, что падает снаружи. За окнами идет снег; он испаряется в излучении мыслей «Ноо», так и не долетая до улицы, лежащей шестьюдесятью этажами ниже. В Мирове больше никогда

не будет зимы. Она осталась только здесь, под самым небом. В зале прохладно, из полутьмы проступают очертания колонн. Звонит телефон. Амбарцумян подходит, в костюме и босиком. Тени снежинок танцуют вокруг, на стеклянных витринах; в них покоится крупнейшая в мире частная коллекция свидетельств исчезновений. Когда-то, задолго до того, как стать пятидесятилетним мазутным миллиардером, Амбарцумян был юношей, не имевшим успеха у противоположного пола. Он — один из первых. Торжественную тишину зала нарушает только трель телефона. Мужчина садится за стол и щелкает клавишей динамика. Свободную руку он кладет на стоящий на столе череп Рамута Карзая. Это подлинный.

— Слушаю.

— Какой-то мужчина из Катлы, код города Ваасы, — сообщает верный секретарь. — Он говорит, что номер ему дали на аукционе для частных коллекционеров, но мне кажется, он хочет попросить в долг.

— Почему?

— Ну, это международный звонок за счет собеседника.

Амбарцумян раскатисто смеется.

— За счет собеседника! Ну ладно, соедини. А что до денег... — миллиардер медлит: одна рука на черепе Рамута Карзая, другая в седой бороде. Он огромного роста.

— В долг вы не даете, — говорит секретарь.

— Именно так. Принципиально. Соединяй.

Линия переключается на международный звонок, и из матерчатого зиккурата динамика в зал начинает сочиться Серость. Сигнал проходит через Великое Неведомое, от Катлы до Граада, в виде энтропонетической последовательности. По пути ретрансляционные станции очищают речь от шума истории, но кое-что всегда остается и проникает в провода — станция-призрак. Ее тихий голос на непонятном языке напоминает, для чего она здесь. Чтобы положить конец жизни. *«Asimuth-Boreas-Sector...»* прорывается в эфир на скрытой радиочастоте и снова пропадает. Амбарцумян к этому уже привык. Сквозь наводки до него доносится человеческий голос, искаженный тремя тысячами километров Серости. Он говорит:

— Алло, здравствуйте, меня зовут Инаят Хан.

— Как?

— Инаят Хан.

— Хорошо, Ят Хан, откуда у вас мой номер?

— Ина-ят Хан. С ярмарки в Норрчёпинге, с аукциона. Мне сказали позвонить вам... насчет вашего хобби. Это ведь... — мужчина чем-то шуршит, — ...господин Амбарцумян?

— Да, это я.

— Вы собираете вещи исчезнувших людей?

— *...Исчез...* — шепчет Серость в динамике.

— Да, собираю, — отвечает Амбарцумян, — и нет, это не *хобби*. Я вкладываю душу в то, чем занимаюсь. Я отношусь к этому со всей серьезностью.

— Я тоже. Уж в этом можете быть уверены.

— Неужели? «Вещи исчезнувших людей» — ну, о чем мы говорим! Правильный термин — «свидетельства исчезновений». — Амбарцумян в своем полутемном зале удовлетворенно откидывается в кресле. Отлично сказано. Кресло обито дорогой кожей.

— Слушайте, я сам знаю, какой термин правильный. — Хан понемногу начинает нервничать. Разговоры между дезапаретистами редко бывают душевными; назревает ссора. — Та вещь, насчет которой я звоню, не первая моя покупка. И нет, я купил ее не в качестве пресс-папье. Если вы этого боитесь.

— И что, вы профессиональный коллекционер?

— Вам не пришлось бы об этом спрашивать, если бы вы дали мне сказать, *что* я купил!

— И насколько *обширна* ваша коллекция?

— Вот видите! Вы не позволяете мне сказать!

— Отчего же, позволяю. Но для начала я хочу понять, с кем я говорю. — Амбарцумян не повышает голоса, от визгливых интонаций неудачника осталась лишь еле заметная дрожь. Наконец, после долгих лет тренировок. Это как прыщи, но чисто психологическое. У него почтенная седая борода. Мужчина гладит череп Рамута Карзая, будто кошку.

— Так или иначе, венец моей коллекции — техническая модель «Харнанкура», — с визгливыми нотами в голосе объявляет Хан.

— С кем это ты там? — нарушает драматизм момента женский голос на заднем плане. — Иди есть, а то остынет!

Хан прикрывает трубку рукой, но в зале всё равно слышно:

— Мам, я разговариваю! Не мешай!

— *Мама*, — шелестит сквозь Серость, — *это моя мама*.

Амбарцумян качает головой. Он еще ниже склоняется над столом.

— Так у вас есть *«Харнанкур»*?

— Да, у меня он есть, — подтверждает Хан.

— Копия?

— Нет, я украл его из Сапурмат-Улана. Разумеется, у меня не оригинал. И у вас тоже! — Хан переводит дух. — Я же верно понял, что вторая копия у вас, да? Поэтому я и звоню. Это прописано в договоре, ответственность владельца. Я должен получить у вас инструкцию по обслуживанию.

— Вы вообще знаете, что это такое? — Амбарцумян убийственно серьезен. — Вы понимаете, *насколько* это важно?

— Кроме них, ничего не осталось.

Амбарцумян медленно кивает.

— Верно. Вам следует... посвящать ей время. Заботиться о ней. Вы должны думать о ней, как о девушке, понимаете? Как о прекрасной девушке. Вы когда-нибудь видели хоть одну? Будьте ответственны, это не игрушка.

— В каком смысле — *думать* о ней?

— Такова инструкция. Вы же не думали, что я буду рассказывать вам про выключатели? Например, вы знали, что была и третья копия?

— Третья копия? — недоумевает Хан.

— Конечно, не знали... — Амбарцумян величественно складывает руки на груди. — Теперь вы знаете: была еще и третья копия. От нее осталась только пустая витрина. На нее нужно смотреть. Всё время. Не теряйте ее из вида. Не оставляйте ее одну. А если нужно будет уйти — думайте о ней. По-вашему, то, что оригинал выставлен в музее — просто совпадение? Представьте: сотни людей проходят мимо, каждый день. Смотрят на нее. А когда музей закрывается, за ней следят сторожа.

Хан не отвечает; в эфире, точно призрак, завывает Серость.

— Это невозможный объект, — подводит итог Амбарцумян. — Для него в мире больше нет места.

Два года спустя. На дне долины застыла Серость. В лесу не осталось ни одной живой души. Цепочка капель крови бежит по снегу, по темному туннелю дороги, наперегонки со следами ботинок. Мимо гигантских елей, ссутулившихся под снегом, до пересечения с магистралью. Там, на перекрестке — красная лужа, а рядом дымит оставленный костер. Над костром самодельное приспособление: две палки держат третью поперек над остывающими углями. В снегу валяются голые кости.

И дальше! Вдоль шоссе, где больше не ездят машины. Волны обледеневших проводов тянутся вперед сквозь сумерки. По снежному покрывалу бегут друг за другом красные точки — и отпечатки ботинок. С жуткой решимостью. В кювете вдоль дороги громоздятся останки гусеничной техники; на заднем плане, у поворота, темнеют очертания мазутной колонки. «*Oreol-Laudanum-Ultra-Tricoleur-Ellips...*» Что-то отрывается от земли. Слышится скрежет металла.

— Подтвердите, что понимаете, о чем я говорю, и начнете это делать! — приказывает Амбарцумян.

— Кажется, да. Я попробую.

— Не пробуйте, делайте! В конце концов вы всё поймете. После того, как исчезла третья, я, мягко говоря, стал параноиком. Пока я не войду в комнату и не включу свет, я боюсь, что это случилось снова.

Что я увижу в комнате пустую витрину. Или что в комнате не будет вообще ничего. У вас тоже так будет. Тогда вы поймете, о чем я.

— Что значит — вы боитесь, что это случится *снова*? — настороженно спрашивает Хан.

Амбарцумян не отвечает. Он постукивает пальцами по черепу на столе.

— Что случится снова? — повторяет Хан.

— Я ее потерял. Вот что. Третья тоже принадлежала мне. Но, понимаете, это было не так, как обычно, когда что-нибудь пропадёт. Ключи, например, или какая-то дорогая вещь. Вы когда-нибудь чувствовали такое? Сталкивались с этим явлением? С этим чувством?

От профессионального высокомерия в голосе Хана не осталось и следа.

— Да, — произносит он.

— Значит, вы понимаете, о чем я говорю. Хоть кто-то это понимает... — Рука миллиардера соскальзывает с черепа Рамута Карзая. За окнами блуждают лучи прожекторов далекого аэростата, тени колонн крадутся по полу. — Когда это началось? — спрашивает Амбарцумян.

— Восемнадцать лет назад. Тогда был первый раз. И с тех пор... — Хан замолкает.

— И с тех пор всё чаще и чаще, верно?

— Да, — отвечает Хан. — И от остального тоже.

— Что за «остальное»? — Амбарцумян ложится грудью на стол и прижимается к динамику ухом. — Или это *всё* остальное?

— Да. Переулки, девушка на велосипеде, и свет, или когда какая-нибудь лошадь посмотрит. Особенно животные…

— Весь мир?

— Да. Весь мир.

По обе стороны шоссе тяжелые гусеничные машины, железные реликвии, медленно уплывают в Серость. Их тела беспомощно кружатся в воздухе, снег осыпается с ржавых каркасов. Так истлевает материя — капля за каплей, словно аналоговый ритм, пронизавший бесцветный мир красным. Буквы международного алфавита на скрытой низкой частоте: *«...Nadir-Ellips-Gamut-Asimuth...»*, и так до границы поселения.

Неменги-Уул — панельный поселок-призрак. Его трехэтажные бетонные дома стоят рядами на склонах холмов по обе стороны долины; улицы пусты. Одинокий велосипед висит в воздухе рядом с качелями, в остальном всё выглядит совершенно нормальным. Мимо витрин универмага, мимо дома культуры. След ведет к больничному крыльцу, и вверх по ступеням — к двери со сломанным замком. Он уходит...

уходит! Из темноты коридора доносится шепот: *«...Tricoleur-Iikon-Oreol-Nadir»*.

Конец сообщения.

— И так у вас было восемнадцать лет? У меня двенадцать. Амбарцумян снова погружается в кожаную глубину кресла.

— Со временем становится хуже. Но в конце концов... — голос Хана искажается в шипении Серости, — в конце концов оно... это чувство... оно как-то меняется. Делается хорошим.

— Хорошим?

— Да. Как будто всё будет в порядке.

— Как будто всё будет в порядке... — вздыхает Амбарцумян. — У меня ее больше нет. И это к лучшему. Я ее продал. Оставшуюся модель. Давным-давно. Это бесконечное наблюдение, ответственность... — он собирается с мыслями, — всё это меня измотало.

— Вот так просто — продали?

— Да, вот так — к тому же дешево, первому участнику торгов. Он показался мне надежным. Он тоже этого хотел, это было важно. Ей нужен тот, кто будет о ней заботиться. Тот, кто будет много смотреть на нее и не даст ей исчезнуть. Как я. Всё-таки тысяча пятьсот человек...

— Но в реестре было указано, что она у вас!

— В каком реестре?

— В реестре аукциона, — голос Хана становится всё более резким. — Иначе я бы с вами не говорил! Я говорил бы с новым владельцем.

— Ничего не понимаю. Тот человек должен был зарегистрировать ее на себя. Вы уверены? — Всё еще держа череп в руке, Амбарцумян встает и обходит вокруг стола. — Возможно...

— Кому вы ее продали? Или вы не помните?

— Конечно, помню, — фыркает Амбарцумян, — его звали Берг. Частный коллекционер.

— *Зигизмунт* Берг? — выпаливает динамик. — Черные волосы, худощавый?

— Вроде бы так, да. Это было... так, когда это было? Лет десять назад, но — да. Зигизмунт Берг.

— Вы точно уверены? Он сквернословил? Нет, скажите лучше — он говорил с акцентом? Как если бы он был из Ваасы?

— Боже, да не помню я таких деталей... Может, и с акцентом. Почему это так важно?

— И вы сказали — десять лет назад? В каком **именно** году?

— В пятьдесят девятом. Может, в шестидесятом. А что?

— И в любом случае, позже пятьдесят седьмого?

— Совершенно верно, у меня есть документы. Но сперва будьте любезны ответить, — приказывает Амбарцумян, потрясая черепом в сторону динамика, — почему это так важно?

— Потому... — голос в зиккурате срывается от волнения, — что в пятьдесят седьмом году этот человек был убит!

Великан миллиардер наклоняется к динамику:

— **Что?** Что вы сказали?

Но Хан на другом конце линии больше его не слушает. «Зацепка!» — выкрикивает он. Последнее, что слышит Амбарцумян — удаляющийся голос в нарастающем шуме помех: «Мама, мама! Я нашел зацепку!»

Два года спустя.

Ночь, перрон воздушного вокзала в Мирове опустел. Остальные пассажиры давно дома. Зажатый в буферах магнитопоезд висит над городом у края платформы. Над ней высятся пятиэтажные монолиты вагонов, а вдоль них сквозь метель движется робот.

Звук приближается. «Бзззт-бзззт-бзззт», шагает робот. Толстый пилот в кабине у него на плечах поворачивает роботу голову. «Ти-ди-ри-дии», отвечает система управления. Машина корректирует курс, ветер развевает полы ее серого в елочку пальто.

— Слушайте, ну правда! Может, хватит уже, — ворчит изящный блондин, идущий рядом с роботом. Голова у него раскалывается. Позади шесть долгих дней пьянства в поезде и непрекращающейся болтовни об исчезновениях: Амбарцумяне и Зиги, черепе Рамута Карзая и пропавшем дирижабле, некие «свойства» которого напомнили Хану о девочках. Но эта любительская энтропонетика понемногу приобрела такой нездоровый уклон, что никто больше не хотел об этом слушать. А потом они вдруг оказались на сцене бара «Панорама» и пели под караоке. Все втроем: *«Now I'm so happy I found you!»*

«Бззт-бззт-бззт» — вместо этого робот начинает идти быстрее. Пилот навалился ему на затылок. Это означает ускорение. Робот шагает, толстяк у него на плечах гикает, бирюзово-оранжево-фиолетовый шарф трепыхается на ветру.

— *Hydraulika sprawna, rozpoczynam: diagnostyka*, — качнувшись, говорит робот механическим голосом.

— Проверка систем вооружения! — командует пилот и щелкает пальцами в сторону изящного блондина.

— *Systemy zbrojeniowe, sprawne*, — отзывается робот. Блондин нехотя протягивает пилоту бутылку. Топливная емкость пристыковывается ко рту машины. Машина шумно глотает, и капли красного нектара падают на снег. — *Rezerwy paliwa: sto procent*.

— Вперед! — указывает в метель толстяк.

— Подожди! — говорит робот и поправляет ношу.

— Готов?

— Готов. *Rozpoczynam: protokół poszukiwawczo-ratunkowy!* — говорит робот. Но он успевает сделать всего три шага — «бззт-бззт-бззт...» — как вдруг далеко на другом конце перрона из метели выходит кто-то еще. Робот шарахается, толстяк скатывается с его спины, блондин инстинктивно отпрыгивает. Разыскиваемый агент Тереш Мачеек выхватывает пистолет — и то же делает сотрудник отдела внутренних расследований на другом конце платформы. Позади него из снегопада появляются еще два агента Международной полиции, с оружием наготове. Они целятся, и разыскиваемый агент Мачеек целится в них.

«Больно видеть, — говорит Следователь, — как низко он пал. Подумать только, двадцать два раскрытых дела. И вот — помешался на исчезновениях».

Воздушный вокзал нависает над сиянием Мировы, будто черный призрак. Там, на перроне под самым небом, среди метели, стоит бывший агент Тереш Мачеек. Даже отсюда Следователь видит его неопрятную бороду, перекинутый через плечо галстук и пропитое лицо. Дешевое ягодное вино стынет на подбородке, прокуренные зубы обнажаются в подобии улыбки. Двое его друзей отчаянно жестикулируют, пригнувшись в снегу. Они в панике.

Следователь, как положено, одет в черное пальто и черный костюм. «Вы же не думали, что сможете так просто пропасть из *КоМила*?! — кричит он в метель. — Положите пистолет и медленно подойдите сюда, и никто не пострадает. Внизу еще двадцать человек. Вам не уйти!»

Спятивший агент что-то выкрикивает, но слова теряются в шуме ветра. Ищейка из отдела внутренних расследований навостряет уши:

— Что?!

— Франтишек Храбрый!!! — доносится с другого конца платформы вместе с пистолетным выстрелом.

— Нет! — вскрикивает Хан.

Зиги пинком вышибает дверь. Замедление. Летят щепки, трещит вырываемый с корнем замок. Дверь распахивается и жалко повисает на одной петле. В проеме, пошатываясь, стоит голый по пояс парень с бутылкой вина в правой руке. Он под амфетаминовым кайфом и жаждет ласки и красоты. Ему семнадцать, через три года закончится срок его годности. Парень сует левую руку в штаны.

«Ну что, буржуазные сучки, кто хочет потрахаться?»

Перед Зиги — солидно обставленная гостиная. Там сидят около двадцати юных представителей среднего класса, пришедших на вечеринку. Половина из них — девушки, но ни одна из них не хочет спать с Зиги. Это вечер следующего дня — канун Нового года. Через два

часа пятьдесят первый год станет пятьдесят вторым, а эти молодые люди — новые одноклассники Зиги. Сейчас — примерно тот момент, когда они подумают, что приглашать Зиги, пожалуй, было плохой идеей.

«Хватит!» — вскакивает с дивана Красавчик Александр. Но он так и не произносит: «Пошел вон, придурок!» Он не может предать своего друга Зиги — потому что, сказать по правде, друзей у Зиги нет. Вместо них у Зиги гнусное пугало, и оно кричит: «Зиги, бей первым!!!»

В лицо Красавчику Александру летит бутылка с красным вином. Молодой человек, красивый, как Абсолом, хватается за лицо.

«Боже, мое лицо!» — Он смотрит на вино на своих руках и думает, что это кровь.

«Его лицо!» — визжит девушка Красавчика, одна из многих, прыгая за диван.

«Он разбил Алексу лицо...» — проносится по комнате. Красавчик Александр ослеплен горем. Его залитое вином лицо искажается в невероятно красивом боевом кличе. «Ааааа!..» — вырывается из его рта. Мальчик прыжком сбивает Зиги с ног: «Мое лицо! Я тебя убью!»

Потный наркоман и прекрасный юноша в облегающей рубашке возятся на полу. Зиги пытается подняться, но Красавчик Александр не дает ему встать. Зиги молотит кулаками изо всех сил. И этого всё еще мало. Похоже, расчет оказался неверным. Он забыл, что после школы Красавчик Александр тренируется в спортзале, уделяя равное внимание всем группам мышц. Зиги больно. На пол падает торшер. И чей-то стакан. Буржуазные молокососы кружат вокруг Зиги среди глухих, будто из-под воды, отзвуков ударов в его голове. Он слышит голоса, голоса девушек. Они говорят: «Наркоман, *неудачник*!»

Зиги шарит рукой вокруг, но ему не попадается никакого оружия. Сейчас бы меч, красивый меч! И чтобы на рукоятке пятиконечная звезда с лучами, как у солнца.

«Черт, надо помочь Алексу...» — Самые решительные из мальчиков подходят ближе. Его бьют ногой прямо в живот. Зиги корчится в их мускулистых руках.

«Ты зверь. Для них мы всегда были дичью», — шепчет цитоплазма.

Пола черного пальто взметается в воздух. В материи — крошечная дырочка от пули: напрасное, глупое сопротивление. В ответ в метель вылетают три пороховые вспышки. Коленная чашечка бывшего агента взрывается от удара. Первый выстрел сбивает Тереша с ног, второй попадает в плечо. Летят кровавые сгустки, клочки сухожилий.

«Ф-фран... ти...» — слышит Хан голос друга. Он поднимает голову от заснеженного бетона. Русые волосы Тереша, забрызганные кровью, треплются по ветру. Непонятного цвета глаза слезятся от вьюги. Гойко поднимается на одно колено. Пистолет дрожит в его руке, когда он

засыпает порох в дуло. Из внутреннего кармана пальто выкатываются кассеты с боеприпасами, но Тереш не может найти их в луже кровавого снега. Раненая рука не справляется с тонкой работой перезарядки. Всё рассыпается.

Три фигуры в длинных пальто приближаются вдоль перрона. Сгорбившись, опасливо, как шакалы. Тереш падает на спину, пытается отползти. Кровавый след тащится по снегу за его пальто, как за мокрой тряпкой. Пистолет и боеприпасы остаются в дымящейся луже перед Ханом. Трое агентов пробегают мимо Хана; фалды пальто развеваются, будто крылья. Следователь падает на колени. Он замахивается рукой, держащей пистолет. Оцепенев, Хан смотрит, как дергается голова Тереша, когда ангел смерти бьет его по лицу.

И никто не замечает, как Йеспер тянется к луже. Сам не зная, зачем, он прячет оружие друга за пазуху. Как будто на память.

Зиги вылетает из калитки. Двое мальчиков выкидывают его за руки и за ноги, как мешок с картошкой. Он приземляется посреди пригородной улицы. Рядом в темноте белеет штакетная изгородь. Мальчики уходят, оставив калитку приоткрытой. Перед тем, как дверь дома захлопывается, изнутри доносится музыка. Вечеринка идет своим ходом. А потом всё смолкает.

Сверкают снежинки. Зимняя ночь морозная и ясная, как обычно в Катле; Зиги замертво лежит на спине под звездным небом. Тело не подчиняется его воле. Всё еще голый по пояс, он ворочается в снегу. Любимый, обреченный мир кружится вокруг. В огромных, как колеса, зрачках его черных глаз сияют похожие на журавлей уличные фонари. Зиги смеется, собаки во дворе поднимают лай. За ними начинают лаять псы по всей округе.

— Славный зверь, — шепчет цитоплазма, — коммунизм любит тебя. Поднимайся, вернись и залей кровью весь этот дом!

Зиги набирает в горсть холодного снега и обтирает лицо. Снег превращается в клюквенный кисель у него на переносице. Он прижимает снежок к распухающему глазу. Темно, в заложенных ушах глухо отдается собачий лай.

— Брось его в окно! Скажи им, что они буржуи!

— Они не поймут! — огрызается Зиги. — Они не знают, что такое буржуазия! Ты что, не понял — это их больше не оскорбляет! Они не знают, что это такое!

— Не знают, что такое «буржуазия»? Как это понимать?

— Так и понимать, — стонет Зиги и бьет кулаком по снегу. — Для них это просто старинное слово, может, даже романтичное. Как «баталия» или «будуар»... — Он пытается приподняться на локтях, но падает без сил. Из сада доносится скрип снега под чьими-то подошвами.

— Они идут тебя убить! Беги, зверь!

— Тихо! — шепчет Зиги.

Вдруг все собаки разом замолкают. Где-то рядом шелестит ткань легкого пальто. Ноздри наполняет запах зимы — такой сладкий, что страшно дышать. Затаив дыхание, он слушает, как в темноте поскрипывает снег. Он знает, что это за шаги. Это шаги погибели. Это погубит его — как погубило Ильмараа. Там тысячу пятьсот лет назад канула в небытие изначальная цивилизация — исчезла из истории вместе со своими колоннами и древними струнными инструментами. До сих пор никто так и не знает точно, откуда взялись эти народы. Все эти люди. Скрипит, открываясь, калитка. Этот звук — как воспоминание, которое стирается прямо сейчас, пока это происходит. Зиги не понимает, что это за жуткое чувство. Должно быть, это от самарского амфа. Он не может больше терпеть и выдыхает. Из разбитого рта вырывается серебристый пар.

Погибель стоит над ним и дышит.

Двадцать один год спустя энтропонавт идет по пустым коридорам больницы в Нементи-Ууле. Две освежеванные козлиные ляжки, висящие у него за спиной, капают кровью на линолеум, в каждой руке у него по канистре с мазутом. Мужчина ногой распахивает двери. Он поднимается по пожарной лестнице к большой стальной двери. Там он, наконец, останавливается и ставит канистры. Мазут гудит внутри.

Энтропонавт вытаскивает плоскогубцы из рюкзака, будто меч из ножен. Железо скрежещет. Голос металла разносится по лестничной клетке опустевшей больницы. Он летит обратно сквозь глубокую Серость, сквозь заброшенный панельный поселок-призрак, несется над трассой, над мазутной колонкой, над перекрестком. По кровавой дорожке обратно к костру. И дальше в темноту леса, в музей естественной истории, где на рогах самцов прорастает плесень, а из ноздрей козлят уже не поднимается пар. Они еще дышат, но уже не кислородом, а чистой Серостью.

Дверь распахивается, и энтропонавт выходит на крышу больницы. Над ней клубится Серость. Человек в анораке бредет по ней с канистрами в руках и козлиными ляжками за спиной. Он бросает емкости и ногой толкает их вперед, канистры скользят по заснеженной крыше. Мазут плещется внутри. Энтропонавт проводит рукой по своим залысинам и конскому хвосту стареющего рокера. Перед ним, над посадочной площадкой, висит накрытый брезентовым тентом объект величиной с небольшой дом.

Рюкзак падает в снег. Зигизмунт хватается за трос, удерживающий брезент. Масляная сталь скользит под перчатками. Он тянет за трос: объект колышется в тумане. Карабин со щелчком соскакивает с кольца; Зигизмунт отпускает трос, и он со свистом вырывается из рук. Темное

полотнище птицей взлетает над туманом, открывая маломерное воздушное судно; громоздкий кусок железа, похожий на бронированную абрикосовую косточку, парит, привязанный за тросы. По бронепластинам судна идет трафаретная надпись «Ро-501»: это самарский малый аэростат.

Высоко над больницей реет брезентовый флаг. Зигизмунт Берг наблюдает с площадки, как вокруг него сгущается Серость. Он начинает взбираться вверх по тросу.

Лишь через полчаса герметичная дверь открывается вовнутрь. Раздается шипение. Кислород вытекает из кабины, иллюминатор и стекла приборов запотевают от перепада температуры. Взмокший Зигизмунт Берг карабкается в дверь. Помещение размером с маленькую спальню сотрясается от его усилий, машина качается в воздухе. Он раздраженно сбрасывает на пол анорак, чтобы больше никогда его не надеть. Конечно, он практичен. Буквально рабочая одежда энтропонавта. Но лично ему эта куртка напоминает об извращении, которого его глаза никогда не должны были видеть — о диско. Мужчина одну за другой вытягивает веревки, обвязанные у него вокруг пояса. Он ничего не говорит, ни слова, хотя весь в синяках от падений. Он даже не ругается. Первым идет рюкзак, потом козлиные ноги. И, наконец, о металлический корпус грохают две канистры с мазутом.

Обессиленно привалившись к стене, он отдыхает так некоторое время, свертывает самокрутку и сует ее за ухо про запас, достает скрученные в рулоны карты. Держа в зубах коробок спичек, он выстраивает карты на уставленной приборами стене кабины. Ряд аэрофотоснимков: темно-зеленая тайга Над-Умая, шеренги бетонных коробок Неменги-Уула. А по их краю идет прежняя граница мира, точно нарисованная серой акварелью. Там, где кончается мир, начинается огромный пустынный шар, испещренный азимутами, эллипсами и синусоидами. И вдалеке от этого геометрического лабиринта, в совершеннейшем из уединений, в центре циклона, куда не ведет ни одно направление, лежит цепочка крохотных точек, далекое созвездие, суперпозиция. Это конец пути.

Воронка Родионова лежит в самом сердце Серости, в четырех тысячах километров от края земли. Полет туда может длиться годы. Мужчина смотрит на свою руку. По побелевшим костяшкам сжатых в кулак пальцев идет татуировка — цифры, выстроенные по порядку, точно жемчуг на нитке: «5; 12; 13; 14».

Зигизмунт Берг поворачивает ключ зажигания. В кабине загораются лампочки, посреди Серости вспыхивает золотистый свет противотуманных фар. Электричество вибрацией проходит сквозь корабль, словно кошачье мурлыканье; стрелки за стеклами приборов подпрыгивают. Добро пожаловать, энтропонавт.

Мужчина нажимает подписанную самарским алфавитом кнопку «СТАРТ» на корабельном магнитофоне Стерео-8. На катушке девичьим почерком с завитками написано: «Зиги. Музыка для полета на край света». Пока лента еще не сдвинулась с места, прямо над последней *i* в имени «Зиги» стоит сердечко. Из динамика доносится *рок*-музыка пятидесятых, ныне позабытая группа алкоголиков-суру. Прекрасная песня, которую, увы, так и не сумели понять буржуа. Трек #1 — *Helvetti* — был слишком сложным, слишком мрачным, и слова его были слишком жестокими для их закоснелого, ограниченного, будто плодный пузырь, музыкального вкуса. Пусть они катятся в ад. К тому времени, когда Серость затопит их кухни и превратит их в белковые тела, этот ансамбль, вопреки стараниям так и не добившийся успеха у публики, в полном составе упьется до смерти возле сельской лавки в Лемминкяйсе.

Зиги прикуривает самокрутку. Он стоит посреди кабины в своем шерстяном свитере и кивает в такт. Вот она, реальная музыка. Говорит обо всём, как есть. Но всё-таки чего-то не хватает.

— Зиги, ты оставил куртку! — говорит в темноте погибель девичьим голосом. Но Зиги не смеет открыть заплывшие глаза. Он знает, что его там ждет на самом деле. Запах снега повсюду, он проникает в лопнувшие капилляры. О, буржуазная парфюмерия!

— Э-ээй! — поет погибель. — Твоя косуха!

— Эй ты... погибель... — сипит Зиги в темное пространство зимы. — Скажи же... *крутейшая* косуха?

— Да, просто зверски крутая.

Где-то наверху звенят замки. Рот наполняется кровью, в глазнице тает снежок. Зиги кашляет:

— Злая погибель... тебе... нравятся косухи?

— Нравятся.

— И ты знаешь, кто я?

— Конечно! — радостно восклицает погибель. — Ты Зиги — самый плохой мальчик в школе.

Двадцать один год спустя Зигизмунт Берг открывает инструментальный ящик в кабине. Там, поверх гаечных ключей, лежит черная кожаная куртка. Его старая косуха. Он надевает ее. Она уже не сидит так хорошо, как раньше, на его сгорбившихся плечах. Замок не сходится на пивном животе — ну и пусть. Так тоже круто. Он оставляет куртку расстегнутой. Семь белых полос на спине выглядят опасно, как прежде. Одевшись, энтропонавт подходит к двери аэростата и закидывает свой конский хвост за плечо.

Изнутри в стылую Серость несутся звуки сурийского *рока*. Воет губная гармоника. Можно подумать, что Зиги просто *чилит* там, на пороге.

♫ *Mutta mikä on maa?*
*Se on Helvetti.**

...подпевает он и ударяет ладонью по кнопке. Начинается новый такт, и одновременно с этим слышится лязг стальных конструкций: опускаются шасси пропеллеров. Корабль начинает стрекотать под музыку, его винты раскрываются в Серости, как пышные венчики стальных цветов, лопасти разворачиваются книзу. Сейчас будет самое мощное место во всей песне:

♫ *Se ei ole mikään kauhupaikka...***

...поет Зиги, и к нему присоединяется знакомый искаженный голос. Вместе они сильны — в последний раз:

♫ *Ennemminkin siellä on surullista.****

Призрачная серая цитоплазма Игнус Нильсен стоит внизу на посадочной площадке, среди разворачивающих лопасти винтов.

Зигизмунт смотрит на него, а Игнус смотрит на Зигизмунта. Струи тумана текут сквозь мерцающее сердце цитоплазмы — чуть более светлый сгусток в вертикальном пятне глубокой Серости. Враг материи прорастает из его спины, точно крылья.

— Коммунизм прощает тебя, — говорит Ингус Нильсен, — коммунизм понимает.

— Игнус, — бормочет энтропонавт, — прости меня.

— Уже простил. В Грааде у нас был товарищ — такой же, как ты. Его *nom de guerre* Ион Родионов. Его я тоже считал своим другом. Тебе ведь знакомо его имя?

— По воронке.

— Но знаешь ли ты, кем он был? Он был математиком революции, возглавлял партию вместе со мной и Мазовым. Об этом никто не знает. Как и о том, почему он забрал из Граада модель «Харнанкура».

— Но *я* ведь тоже об этом не знаю! — Самокрутка падает у Зигизмунта изо рта.

— Конечно, не знаешь. Об этом знают лишь комиссар Революции и горстка приближенных. Этот человек аннулировал сам себя. Он посвятил этому всю свою жизнь. Они не смогли принять даже диалектический

---

*Что это за место? Это Ад.
**Это не страшное место…
***Здесь просто очень печально.

материализм — как мы могли позволить им узнать о *нигиль*мате?

Зигизмунт не отвечает. Песня заканчивается.

— Он хотел использовать его как оружие массового отрицания. Против мировой буржуазии. Это был бы наш ответ ядерному оружию. Ты ведь знаешь, что в Самаре нет урана. Но он так и не нашел это место.

— Нашли! — говорит энтропонавт из СНР. Тросы, державшие аэростат на земле, щелкают в воздухе, как хлысты.

— Жаль. Мне никогда не нравилось это крыло материализма. Будет ужасно, если они окажутся правы. Я люблю этот мир, каждый его атом. Но если мир разлюбит нашу идею, настанет ваш с Родионовым черед. Ведь мое имя тоже боевой позывной, — говорит Игнус Нильсен, — и, по крайней мере, мы больше не будем дичью. — Из динамика раздается самый горестный в мире стон: трек #2, *Grave* исчезнувшего композитора-додекафониста *графа* де Перуз-Митреси.

— Прощай, Зигизмунт.

— Прощай, Игнус, — говорит энтропонавт, закрывая за собой дверь аэростата. Игнус остается один на крыше больницы. *«Ennemminkin siellä on surullista»*, успевает произнести призрак, когда лопасти начинают тихо двигаться сквозь его цитоплазму. Но пропеллеры крутятся всё быстрее и быстрее.

Зигизмунт Берг встает перед иллюминатором, положив руки на рычаги управления. Рычаги вырастают из-под пола, из коробки передач, словно пара ветвистых рогов. Мужчина включает транзисторный радар. Он настраивает аппарат на скрытую радиостанцию, и по ее сигналу вычислительная машина размером в полстены рассчитывает курс. Сигнал исходит из бесчисленных точек, созвездия суперпозиции на расстоянии четырех тысяч километров. Голосовая часть передачи накладывается на вибрацию струн из динамика. Девушка с кошачьим голосом повторяет, по кругу, бесконечно, сквозь все времена, и для нее — наблюдателя, находящегося в воронке Родионова — это одно и то же, одномоментное и неизмеримо сложное событие. Идеальная замкнутая система: *«Asimuth-Boreas-Sector-Oreol-Laudanum-Ultra-Tricoleur-Ellips-Nadir-Ellips-Gamut-Asimuth-Tricoleur-Iikon-Oreol-Nadir»*.

Энтропонавт тянет рычаги на себя и вниз. Его глаза покраснели. Малый аэростат взлетает с площадки на крыше больницы. Винты закручивают Серость в спирали, и лопасти развеивают Ингуса Нильсена в воздухе.

Двое мужчин машут руками в сине-красной от света мигалок метели. Они медленно удаляются, перрон магнитовокзала исчезает в снежной буре. Тереш открывает глаза уже в небе, он не чувствует ног. Всё кружится, и со всех сторон рокочут винты аэростата скорой помощи.

В свете кардиомонитора над ним склонился человек в черном. Это сотрудник отдела внутренних расследований. Ангел смерти.

— Ноги... — кашляет Тереш, — я не чувствую ног…

— Так и бывает, когда открываешь огонь по КоМилу.

— Ты!.. — Тереш пытается сесть, но его запястья пристегнуты ремнями к носилкам. — Как?..

— К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос.

— Кончаловский... — Бывший агент падает обратно на носилки. — Я понимаю, Ульрих, но... Кончаловский ведь не существует, как вы... почему... — Он пытается выдернуть правую руку из пут.

— Вы наркоман, Мачеек, вот почему. Такие, как вы, всегда беспечны. Сколько лет вы этим занимались, пока у того человека не отказало сердце? Два года, пять? — Следователь поднимается, но тут ремень расстегивается, и рука с торчащей в ней капельницей хватает его за галстук.

— Ты... — хрипит ему в лицо Мачеек, сжимая галстук в кулаке, — ты должен мне помочь!

Напарник выхватывает пистолет, но Следователь поднимает руку:

— Стойте!

— Я кое-что нашел! В Ваасе! По одному закрытому расследованию. Дирек Трентмёллер, он убивал детей, двадцать, или даже больше, возможно, и сестер Лунд, пожалуйста...

— Отцепитесь!

Агент-изменник отпускает галстук и падает:

— Мой блокнот, там всё записано, обещай мне! Если бы не это, я бы не сбежал, вы должны проверить...

Ангел смерти стоит рядом и оттирает кровь с галстука. Где-то внизу гойко судорожно ищет блокнот:

— За это можно получить медаль! Повышение — точно... — Следователь отворачивается, и его напарник торопится привязать руку Тереша обратно к носилкам. — Пожалуйста!.. — доносится сквозь шум моторов срывающийся голос.

Следователь смотрит на город, проплывающий под брюхом аэростата; галстук полощется в потоке воздуха от винтов.

— Оставьте это, Мачеек, — сейчас его голос звучит почти человечно. — Дирек Трентмёллер ни при чем, об исчезновении этих детей не сообщалось. И это единственное, что есть хорошего в этой истории.

Впереди вспыхивают сквозь снегопад огни больничной посадочной площадки, а за ней высится зубчатый трон небоскребов «Ноо».

Там мазутный миллиардер наблюдает, как крошечный огонек аэростата скорой помощи исчезает в метели на другой стороне реки Веры. Перед его глазами угасают мысли «Ноо»; котировки падают, Граад отправляется на войну. Завтра начнется всеобщая мобилизация.

Осталось недолго. За его спиной выстроились больше трех тысяч свидетельств исчезновений, но это зрелище Сарьян Амбарцумян мог бы назвать жемчужиной своей коллекции.

Под его рукой покоится стеклянная витрина — посылка, прибывшая вечерним магнитопоездом из Ваасы. Она пуста.

19. Я НЕ ШУТКА

Сорок шесть часов спустя, шестьюдесятью этажами ниже. Пустой вестибюль ночного отеля блестит черным мрамором, напоминая гробницу. Со стойки регистрации доносятся звуки радио: девушка с тревогой слушает о подстерегающих в глубокой Серости мескийских атомных крейсерах – и, сразу за этим, предупреждение о промышленном шпионаже. Они повсюду. Новости с фронта разносятся по холлу, когда в автоматическую дверь входит мужчина в ветровке. Подгоняемый ветром, он вбегает внутрь; на заднем плане видна световая панель с бегущей строкой: «ОТЕЛЬ ИНТЕРГРААД». Девушка его не замечает, охранник тоже зачарован страхом, и гость проходит мимо них, к частному лифту резидента. Двери закрываются за его спиной. Оставшись один в золотистом свете лифта, он перевешивает рюкзак на грудь, как его научили в шестом классе.

«Вот так, Хан — так носят крутые парни».

Хан роется в боковом кармане рюкзака. Слышится металлический звон, и на свет появляется связка ключей. На кольце висят плоский ключ от входной двери деревянного дома в Салеме, круглый с двойной бородкой от коридора и огромный алюминиевый ключ, которым он запирал свой подвал; теперь все они бесполезный металлолом — кроме одного: золотого ключа, тонкое жало которого выглядит фантастически высокотехнологичным, как если бы при одновременном повороте таких ключей срабатывал протокол самоуничтожения, защита периметра типа «Мертвая рука», гарантирующая ответный удар даже после гибели командования при превентивной ядерной атаке.

Хан вставляет ключ Судного дня в скважину и поворачивает, как в инструкции: дважды влево, потом вправо, снова влево. На медной табличке рядом со скважиной — гравировка: *«Сарьян Асатурович Амбарцумян»*. Вдруг тишину нарушает приглушенный голос из динамика:

— Господин Амбарцумян! Я волновался...

— Это не господин Амбарцумян. Это Инаят Хан. — Хан поднимает руку с ключом, не зная, куда его показать. На него смотрит только собственное отражение в зеркале, в съехавшей набок шапке с помпоном и ветровке, на плечах которой тает снег. Он оброс бородой, вид у него дикий. — Мне дали это на случай чрезвычайной ситуации. Такой, как сейчас. Почему вы не отвечали на звонки?

— Вы говорите, как Измаил.

— Простите, что?

— Вы говорите в точности как Измаил.

— А-а... Вы знаете Измаила?

— Я и *есть* Измаил, — отвечает верный секретарь, и лифт трогается с места. Ускорение проходит сквозь тело Хана.

— Вы волновались? Почему? И почему вы не отвечали?

— Я... — Секретарь колеблется. — ...Я не видел и не слышал господина Амбарцумяна уже два дня. Последним его распоряжением было прекратить все звонки и никого не впускать.

— Это было позавчера?

— Да, после того, как он получил вашу посылку, Инаят Хан.

— Понятно, — кивает Хан зеркалу; на стеклах его очков капли от растаявшего снега. Он снимает очки и вытирает их рукавом ветровки. — А больше он ничего не получал? За это время? Чего-нибудь от Международной полиции?

— Как я сказал, с тех пор я с ним не разговаривал.

— А, ну да... — Кабина лифта бесшумно скользит вверх, под небеса. От перепада давления закладывает уши. Хан сглатывает, проходится кругом по лифту и встает лицом к двери; рюкзак так и висит у него на груди.

— Господин Хан, — вдруг шепчет динамик.

— Что?

— Пожалуйста, убедитесь, что он в порядке. Скажите ему, что я очень просил связаться.

— А что, он может быть не в порядке? — Подъем замедляется, руки Хана всплывают в стороны, как в невесомости. — Почему он должен быть не в порядке? — спрашивает он. Но секретарь не отвечает. Двери лифта открываются перед Ханом: «Дин-нь...» Луч света разрезает темноту зала на шестидесятом этаже. Внутри воет ветер, покрывала на витринах колышутся, как призраки. Летят снежинки. Крупнейшую в мире частную коллекцию свидетельств исчезновений медленно заносит снегом.

Слышится клацанье ботинок по линолеуму. Следователь идет по коридору ночной больницы; в его руке чемоданчик с переносным телефоном, прикованный цепочкой к запястью. На лацкане блестит голубой эмалью крошечный значок — цветок незабудки. У дверей отделения интенсивной терапии дежурят двое полицейских. Один дремлет.

— Спите? — наклоняется Следователь к его уху. — Я мескийский диверсант, а в этом чемодане — пятикилотонная бомба. — Под испуганным взглядом напарника полицейский открывает глаза и растерянно трет их. — Мы только что лишились важнейшего стратегического объекта в виде центральной больницы города Мировы. Погибли три тысячи мирных жителей Граада. И всё потому, что вы не делаете свою работу!

Полицейский вскакивает с места и вытягивается, выпятив грудь; взгляд у него по-прежнему ошалелый. Следователь не успокаивается:

— Ну, и чего вы встали? Что толку от того, что вы спите стоя? Кто я? Где мое удостоверение? Почему я без именного разового пропуска?

Следователь проходит дальше, в темный зал, и оба полицейских вздыхают с облегчением, когда двустворчатая металлическая дверь закрывается за его спиной. По обе стороны зала — кабинки, разделенные клеенчатыми шторами; в крайней у окна светится какой-то медицинский аппарат. Дойдя до нее, Следователь разворачивается на каблуках и отдергивает пластикатную занавеску:

— Мачеек, мне нужно, чтобы вы отговорили своих друзей от их плана. Вы должны позвонить им. Сейчас же.

В изголовье койки — капельница с раствором морфина; видно, как падают капли. Плохой знак: ее давно должны были убрать. Искалеченный агент смотрит в окно, за которым идет густой снег:

— Тебе нечего мне предложить.

— Я и не должен ничего вам *предлагать*.

— Я знаю, что ты мне скажешь. «Не сообщалось...» Ты ни черта не смыслишь в расследованиях. Ты *duch*, *zjawa*. Такие, как ты, только и могут, что стращать.

Duch, *zjawa*. Подобным обычно развлекаются безработные граждане: им нравятся истории о «духах» и «призраках», которые пробрались к власти и плетут вокруг них паутину лжи.

— Такие, как *мы с вами*, Мачеек. Мы — агенты Международной полиции. Задача Международной полиции — не расследовать. Задача Международной полиции — сохранять мир в его настоящем виде.

Мачеек отводит взгляд от окна:

— Этот твой мир в его настоящем виде, — полное дерьмо.

— Ух ты! — изображает удивление Следователь. — Да вы философ. И что же, вам нравится то, что планирует для человечества Сен-Миро?

— Здесь один нигилист — это ты, *duch*.

— Стало быть, план Сен-Миро вам не нравится. — Следователь наклоняется к кровати, черты его лица заостряются в зеленоватом свете кардиомонитора. — ...Зато вам нравятся *куда более* безумные вещи? Или вы не знали, с какой компанией связался ваш друг? Ваш ненормальный приятель? Я тоже не знал. Что у них за *хобби*, с чем они играют...

Мачеек приподнимается на кровати; от усилия повязка на его плече окрашивается красным.

— Хан? Хан гений. Вы его не остановите.

— Ну да, — пожимает плечами Следователь, — он знает, что делает. В отличие от вас. Но вы можете его отговорить.

Мачееку хватает этого признания слабости.

— Ну уж нет, старик. Даже не проси. Лучше пусти мне *морфий* посильнее. Я не достаю. — Он откидывается на подушку, но смеяться ему больно, и веселье быстро заканчивается.

— По-моему, вам уже хватит наркотиков.

— *Наркотиков...* — передразнивает Мачеек.

Следователь смотрит на него с брезгливой гримасой. Перед ним, на больничной койке, лежит мокрая человеческая развалина, голый торс сочится кровью и по́том.

— И как вам здесь? Нравится? Вы довольны своей участью, Кончаловский?

Тереш качается на волнах морфина. Темные волны накатывают одна за другой, снежные хлопья падают в воду. Холод обжигает. *Шанс!* Детские руки подхватывают его, не давая утонуть. Маленькие сильные руки... он солдат любви.

— Да, — отвечает он, наблюдая, как на кардиомониторе подпрыгивает зеленая точка: успокаивающе, ритмично. — Я в полном порядке. Мне сказали, я больше не смогу нормально ходить, но знаешь, что? Мне никуда и не надо. Я ненавижу эту страну. Ненавижу Граад. Ненавижу Международную полицию и Моралинтерн. Они для меня лишь инструменты, и сам я только инструмент. Я ведь знаю... почему я здесь. Кто меня сдал. Не трать воздух, я не идиот. Я знаю, что мое дело сделано.

Светящаяся зеленая линия убегает в темноту.

— Что он получил за меня? Хан. Что ты ему дал?

Свистит ветер, через занесенный снегом зал идут узорчатые следы кроссовок. Ведущий мировой эксперт по исчезновениям осторожно пробирается вперед; в фокусе — танцующие туда-сюда снежинки. И за ними — диаматериалистские очки Хана. Внимательные темные глаза смотрят по сторонам, снежные хлопья садятся на стекла. Мужчина медленно опускается на корточки, шурша ветровкой. Рука тянется к чему-то, лежащему в снегу.

Ветер успокаивается, драпировки безжизненно опадают. Темная ткань снова принимает форму витрин, и среди них Инаят Хан, стоя на одном колене, держит в руках человеческий череп. Он заглядывает в черноту пустых глазниц. Далеко-далеко отсюда — в пустыне Эрг, куда герой эпоса отправился просить встречи с Богом — разбросаны шестьдесят тысяч реалов. Выкопано шестьдесят тысяч глубоких ям. Всё зря. Хан сдувает снег с лица Рамута Карзая: челюсти прибиты друг к другу стальными скобами, рот онемел навеки. Копье сломано, знамя стало саваном.

— Господин Амбарцумян!

Хан поднимается. На стене, растянутый на шнуре, колышется истрепанный временем стяг. Огромный трехцветный флаг Ильмараа. Налетевший ветер треплет бирюзово-оранжево-фиолетовый шарф у Хана на шее и помпон на шапке такой же расцветки.

— Амбарцумян! — Хан на ходу проводит рукой по стеклу витрины. Из-под снежного покрова появляется расщепленное древко с заржавленным наконечником. — Нам нужно поговорить!

Зловещая тень шапки с помпоном падает на письменный стол: на нём трепещут разбросанные бумаги, ступенчатая пирамида динамика наполовину скрылась под снегом. Вдруг тень, растянутая в луче света из лифта, угрожающе вскидывает руку. Слышится натужный стон — у-уух! Череп ударяется о динамик и разлетается вдребезги.

— Где мои вещи?! Где они?!

Мужчина идет, переворачивая попавшиеся на пути витрины. Звенит, разбиваясь, стекло.

— Мне не нравится, когда пропадают мои вещи! Мне это *совершенно* не нравится! — Он останавливается перед столом и, положив обе руки на красное дерево, одним движением сметает с него бумаги и принадлежности для письма. — Как я теперь узнаю, куда ты их дел? — Он озирается по сторонам. — Мы ведь договорились?! У нас же был *договор*? Я присылаю корабль, ты выступаешь посредником, каждый получает свое. Где *мои* вещи?! — кричит он. Краем глаза он видит панорамное окно. Среднее стекло, самое большое, разбито изнутри, острия осколков указывают наружу, а внутрь врывается снег. И жаркое золотое сияние Мировы. Перед окном, наполовину скрытая в сугробе, блестит опрокинутая витрина. Оборванные провода, выключатель.

Хан поворачивается и срывается с места; становится видна картина, висящая на задней стене, над столом у него за спиной. На намокшей и покоробившейся от снега бумаге медленно расплывается акварельный Гон-Цзы: драконьи усы черной медузой расползаются по ребристому парусу, тростниковый доспех превращается в радугу. Скоро его не станет, но пока еще можно увидеть, как он раздает своим людям — тебе, и тебе, и тебе — персики, которые подарят им вечную жизнь. Но Хану больше нет до этого дела.

Хан копает, и ветер свистит у него в ушах. На руках у него варежки. Освободив витрину из-под снега, Хан переворачивает ее на основание и достает из нее бумаги. Бесценные бумаги. Папка с эмблемой Международной полиции, рентгеновский снимок чьих-то челюстей; из папки выскальзывает и кувыркается на ветру фото для опознания. Синяя татуировка на костяшках пальцев — невозможное воспоминание: «5, 12, 13, 14». Хан ловит фотографию и сует ее в висящий на груди рюкзак, вместе со всем остальным. С разрешением на въезд в Кукушкино, Самарская область, Граад, и поддельными документами гражданина Самарской Народной Республики. Они лежат на самом верху: у паспорта белая обложка, а на ней — пятиконечная звезда вершиной вниз.

На дне витрины сияет главный приз — воронка Родионова. Приоткрыв рот, Хан тянется за ним. Темно-синий перфорированный лист металла поет в руках, как полотно пилы, сияние города просвечивает сквозь него сотнями точек. Под точками записана легенда

карты — почерком Вороникина. Хан читает, и звездное небо сияет на его смуглом лице.

Мачеек грустно улыбается.

— Это ведь что-то хорошее?

Не отвечая, Следователь открывает перед Терешем чемоданчик с телефоном. Внутри загорается подсветка; с клавиатуры соскальзывает записная книжка с эмблемой в виде птицы — блокнот Тереша. Между страниц вложена фотография. Это уже не его.

— Должно быть, что-то очень хорошее. — Тереш ненадолго задумывается. — Теперь у вас есть гражданин Ваасы, чьих перемещений вы не можете контролировать, так? Ты ничего ему не сделаешь, он сотрудничает со следствием... но он вас переиграл. Ты сам не понял, что ему даешь!

— Ничего *хорошего*, Мачеек, — обрывает его следователь, — это было ошибкой! Я ошибся куда сильнее, чем вы думаете, и вам это не понравится. Ваш подозреваемый — сам жертва. — Он берет в руки блокнот. — Как думаете, почему о вашем расследовании никуда не сообщают? Вы же всё видели, Мачеек! Давайте поговорим об этом. Или вы больше не хотите? Не хотите говорить о Диреке Трентмёллере? Что, теперь вам больше не смешно?

Следователь кладет ладонь на пылающий лоб Тереша:

— Все эти вещи происходили, вы видели их своими глазами. А теперь выходит, что их не было. Как такое возможно?

— Это не относится к делу, — отвечает Тереш; он тяжело дышит, зрачки расширяются, поглощая радужки неопределенного цвета. — Ты сам так сказал. Сейчас важен только план Хана.

— План Хана — верх безумия. Воронка Родионова! Чокнутые коммунисты лезут туда — но вы-то, черт возьми, живете в этом мире. И вы зачем-то думаете об этих вещах, копаетесь в них... Вы любите вещественные доказательства? У меня как раз есть одно. Его мне доставили сегодня, из Ваасы. Я пять раз пересылал его себе по телефаксу. — Следователь раздраженно мотает головой. — Ничего не поменялось, каждый раз приходило то же самое. Позвольте показать вам одно фото, Мачеек — раз вы не можете вести себя по-взрослому и вам, похоже, всё равно, что станет с вашими друзьями после вашей великой жертвы. — Он вынимает из блокнота фотографию. — Это единственная вещь Трентмёллера, которая подтверждает ваши слова. Он сам проявил ее в своей лаборатории. Вы и сами это видели, через свой аппарат. Дата проявки — двадцать девятое августа пятьдесят второго года. Два дня спустя он отправил ее вместе с негативом в фотолабораторию в Ваасе. «Негатив не поврежден, результат печати тот же». Через месяц была повторная

экспертиза, в центральной фотолаборатории: «Негатив не поврежден, результат печати тот же». «Цейль» подтверджает отсутствие дефектов объектива, а «Тригáт» снимает на его фотоаппарат три сотни тестовых кадров. Никаких отклонений не обнаружено. Трентмёллер изучал этот аппарат шесть лет, пока не начал терять память. Если бы не это — думаю, он посвятил бы расследованию всю жизнь. Как и вы.

Тереш берет неровно обрезанный фотоснимок с датой и штампами на обороте. «29 АВГ 2052».

— Переверните!

По бумаге расползается пятно от пота. Штампы фотолабораторий: «Цейль», «Тригат».

— Боитесь смотреть, верно? Так и должно быть. Никто не должен иметь с этим дело, с этим нельзя иметь никаких дел. Об этом следует забыть. Но — мне очень жаль, Мачеек, но мне *необходимо*, чтобы вы позвонили друзьям. Вы должны это сделать.

По глянцевой поверхности пробегает блик света, когда Тереш переворачивает фотографию. На ней застыл на месте поблекший от времени летний день. На обрывистый берег падает дождь, они стоят перед кустами шиповника — трое детей с победными улыбками на лицах. Хан рассказывает про Гон-Цзы и персики, Йеспер и он сам смотрят прямо перед собой, вытянув руки с зонтами. Трое мальчишек держат пляжные зонтики — над пустотой.

— *Что это?* — Точка на кардиомониторе замирает.

— То, куда собрались ваши друзья. Это ваша воронка Родионова.

— Вы ее отретушировали... — Тереш в панике переворачивает снимок, словно надеясь найти их на обороте. — Зачем вы это сделали? Зачем вы надо мной издеваетесь?!

— *Мы* ничего не делали. Нет никаких *«духов»* и *«призраков»*, наркоман. Мы друзья человечества. Когда вы уже это поймете? Ее никто не ретушировал, ни один человек. Вы просто не хотите об этом думать. Никто из вас не хочет. И это правильно. Но хватит об этом. — Следователь снимает трубку и нажимает кнопку повтора. Звучит сигнал вызова. Тереш отворачивается, но Следователь берет его за подбородок и поворачивает лицом к себе. — И не вздумайте бросить трубку! Вы сделали и кое-что хорошее. Вы исправили тех двоих: Хирда и Трентмёллера. Вы убрали этот ужас из их голов. Осталось немного. — В трубке женский голос произносит: «Отель "Интерграад"...»

Фотография выскальзывает из пальцев Тереша.

— Но это *невозможно*!

— Невозможно, — вздыхает ангел смерти. — Возможен только мир в его настоящем виде. Мы не расследуем этих вещей, не пытаемся вмешаться. Мы смиряемся. Мы забываем. Мы ждем, и мы бережем себя.

— Отель «Интерграад», слушаю вас.
— Пожалуйста, соедините с номером 4001.

«Измаил».

«Вы слышите меня?» — раздается на коммутаторе голос Хана. Верный секретарь стоит перед стойкой, где из аналоговых разъемов торчат сотни металлических штекеров. Мигают лампочки. Щелк-щелк — молодой человек в пиджаке, из-под которого видна розовая рубашка, с привычной ловкостью переключает провода: «Слушаю».

— Господин Амбарцумян выбросился из окна. Надеюсь, вы понимаете, что я мог бы не сообщать вам об этом. Я мог бы просто покинуть здание. Надеюсь, вы это учтете и вызовете полицию не раньше, чем через десять минут. Господин Амбарцумян хотел бы, чтобы было именно так. Чтобы меня не задержали, и следствие не тратило мое время, — диктует Хан под завывания ветра. — Время, которого у меня и так нет. Вы меня поняли? Подтвердите, что поняли меня и сделаете, как я сказал.

Из динамика доносится прерывистый шум, похожий на всхлипы.

— Вы меня поняли? — повторяет Хан, и динамик шелестит: «...десять минут...»

— Хорошо.

Хан поворачивается к окну. Внизу раскинулось море света. В него бросился человек, который боялся, что мир исчезнет, но сам он уже ничего не боится. Перед его глазами возвышается «Ноо», а глубоко за ними, за стеклами его очков, бегут мысли. Упорядоченные, стратегические. Это полномасштабная спасательная операция; теперь она поглотила его разум целиком, ничего не оставив. Его по-прежнему называют Ханом, но на самом деле он — тактическая директива, отточенная до совершенства в двадцатилетней позиционной войне, многоэтапный маневр, автором и исполнителем которого является он сам: диктатор любви, тотальное мировоззрение на службе у одного человека. Есть и другие, но его остановить невозможно. Его преследуют кошмары; он уже едва может вспомнить их имена, путает возраст. Каждый раз, засыпая, он видит ее — вместо лица у нее ком полустершихся воспоминаний. *Хоррор-мнемотурне*. И самое страшное — ночные звонки из бездны: «Ты знаешь, кто я. Я тебе не игрушка, толстяк. Оставь нас в покое!» Он просыпался в слезах, но этому больше не бывать. Контрмеры запущены: теперь-то он знает, что было. И будет помнить. Всегда.

Вот он — стоит в разбитом окне шестидесятого этажа, и у него за плечами развевается истрепанный временем бирюзово-оранжево-фиолетовый плащ. Он супергерой. Девочки, он вас спасет.

С набитым рюкзаком Хан проходит по заснеженному полу к пожарной лестнице и спускается на этаж ниже, чтобы сесть в лифт

для гостей вместо частного лифта резидента. Изобразив улыбку, он заходит в лифт с бизнесменом из Веспера и его свитой и проезжает девятнадцать этажей вниз; на сороковом он выходит и стирает улыбку с лица. За полчаса до того, как техник вскроет двери лифта внизу — и за сорок пять минут до того, как Хан выйдет с парковочного этажа на заснеженную улицу — он, не разуваясь, входит в номер, снятый на имя друга.

В коридоре темно, но Хан не включает свет. Он знает, что это значит. На обувной полке затертые до блеска замшевые туфли за три тысячи реалов, на вешалке испачканное кровью бежевое полупальто Perseus Black — прошлое, слишком болезненное для Йеспера.

По пустым комнатам разносится звон телефона. Хан входит в спальню: внутри свежо, кровать застелена, а посреди комнаты на белом кубическом столике чернеет ступенчатая пирамида. Она сложена из угольно-черных купюр. Под ледяной звон Хан расстегивает висящий на животе рюкзак, перекладывает трехцветный саван в спортивную сумку и начинает сгребать пачки блокнот в свой набрюшный карман. Сто, тысяча, десять тысяч, сто тысяч, пятьсот тысяч реалов. Восемьсот тысяч реалов. Под ними, как в гробнице, покоится табельный пистолет Тереша. Он сверкает никелем в полумраке, когда Хан берет его в руки. Хан кладет пистолет в рюкзак поверх всего остального и выпрямляется.

Он смотрит на стоящий посреди пустого стола телефон, на котором с каждым звонком загорается и гаснет красная лампочка. Телефон ненадолго смолкает, но через полминуты снова начинает звонить. Хан берется за трубку и думает. Пальцы становятся влажными от пота. Он снимает трубку и тут же кладет ее обратно на рычаг. Снимает снова и в этот раз подносит к уху. Смуглые пальцы бегают по кнопкам. Когда он заканчивает набирать шестнадцатизначный номер, в трубке наступает тишина, а потом раздается прерывистый гудок вызова, сигнал в другой мир. И когда на другой стороне наконец поднимают трубку, комнату через соединение заполняет Серость. Словно далекий океан. Сквозь шум ее волн доносится еле слышное «Алло?»

— Мама, я больше не вернусь.

Два месяца спустя, в четырех тысячах километров к северу, по ту сторону джикутской резервации.

До самого горизонта простирается тайга бывшего Северо-Восточного Граада, где-то на неизмеримом расстоянии серебрится занавес Серости. А перед ним колышется на ветру море деревьев площадью восемьсот миллионов гектаров. Целый мир. Усеянный снежными пятнами простор выдыхает кислород в темнеющее зимнее небо. Вход сюда запрещен даже коренным жителям. Эти ледяные кубические

километры — то, чем дышит всё государство Граад; это его легкие, Легкие Граада. Гидрометеорологический заповедник, кислородное депо. На лесной дороге, на краю огромного поля, стоит мотокарета цвета мокрого асфальта; свет в салоне мерцает. Свинцово-кислотный аккумулятор медленно разряжается. Стеклянные полусферы фар гаснут в декабрьских сумерках. Из топливного бака тянется шланг насоса. Перед открытой дверцей стоит тридцатичетырехлетний мужчина с пустой канистрой в руках. Из белоснежного салона пахнет горючим; оно капает с белых сидений, с отделанных белой кожей рычагов и приборной панели.

Мужчина чиркает спичкой; она гаснет в его озябших пальцах, задутая ветром. Он прикрывает коробок ладонью и пробует еще раз. С первой спички зажечь огонь не выходит. Со второй мотокарета загорается — одинокая свеча посреди укрытого сумерками мира. Белая кожа чернеет и трескается в огне, с нее отслаиваются и взлетают в воздух хлопья сажи. На заднем сиденье огонь охватывает белый чемодан. Там, шипя, сжимается в комок, как умирающий паук, обложка его паспорта; письма Молин кружатся, превратившись в легкий пепел. Вместе с остальными воспоминаниями, которые до сих пор никуда не делись. Йеспер видит, как загорается рисунок, и как родимые пятна Анни исчезают в огне. Он закрывает глаза и чувствует на лице тепло от пламени. Под закрытыми веками еще танцуют точки; и глаза, цвет которых уже невозможно назвать; и лицо, которое больше не приходит на память. Единственный поцелуй с дочерью учительницы в лесных сумерках: поцелуй, которого уже не помнят губы, но без которого он сам был бы немыслим. Всё меркнет.

Бывший дизайнер оттопыривает губу, натирает кровоточащие десны кокаином и бросает остатки порошка в горящую карету. Они вспыхивают искрящим пламенем. Он разбегается и перепрыгивает через замерзший ручей. Сквозь лед торчат стебли камыша, за ними петляет проселок. Перед Йеспером раскинулся луг, поросший дикой рутой. А дальше, за лугом — зубчатая стена из елей, зигзагообразный сон. Ветер сдувает снег с еловых лап, и он вьется по воздуху, как свадебные ленты.

Йеспер идет вперед: на лбу трепещет светлая прядь, бледно-голубые глаза слезятся от ветра. Он одет в белоснежное полупальто, на ногах туфли из белой замши; по углам воротника пальто серебряные якоря, морской мотив. Его силуэт белеет в сумерках, тонкий, как доска для серфинга, в сумке через плечо звякают бутылки с водой. Никто не знает, куда он идет. Никто не знает, где он — крошечная белая точка на огромном заиндевелом поле. А по ту сторону поля ждет опушка леса; сумрак под деревьями до краев полон кислорода и манит всё живое. Йеспер входит в лес, под ногами пружинит опавшая хвоя; ветер стихает,

и колокольчиков больше не слышно. Ни одного. И это правильно, так будет лучше.

Обгоревшая мотокарета остается на обочине дороги.

Месяц спустя, в шести тысячах километров к югу.

Под землей мчится поезд метро. Ночь, вагоны пусты; слышится скрежет металла. Хан, с рюкзаком на спине, прислоняется к двери между вагонами. Он смотрит, как поезд изгибается на повороте в железной кишке тонеля. Кроме него, в едва освещенных в режиме экономии вагонах сидит лишь несколько человек. В Грааде военное положение, и выходить ночью без специального разрешения нельзя. Хан купил себе такое — после того, как однажды ночью полицейские на вокзале поколотили его дубинками. Он теперь ночует на вокзальных скамейках или за столиками круглосуточных кафе; гостиниц он избегает. Там пропадают люди.

Желтый фабричный свет проникает в одно окно за другим, когда поезд выходит из туннеля и поднимается на мост. Внизу чернеет низовье Переменной Веры, подернутое радужной пленкой, а перед ним, на берегу, возвышаются гигантские цилиндры газохранилищ, ряды прожекторов над овощными плантациями. Гидроэлектростанция. Это Полифабрикат, *тиранополис*, пост-мегаполис, предпоследняя стадия развития человеческого поселения. Та его часть, куда приехал Хан, когда-то была Ленкой, столицей Земска. Здесь родился Франтишек Храбрый. И Тереш Мачеек, но к тому времени Ленку уже давно поглотила опухоль. Граадские ученые прогнозируют, что в ближайшие десять лет Полифабрикат сольется воедино с Мировой и ее пригородами, образовав человеческое поселение в последней стадии развития, более не пригодный для жизни участок геосферы, зону экологической катастрофы — некрополь. Это произойдет незадолго до того, как эту часть земли накроет Серость.

На горизонте, над заливом, движутся на северо-запад черные туши граадских крейсеров; тучи истребителей вылетают из их животов, будто споры. Это резервные войска. Этим вечером мескийский флот вторгся на домашнюю изолу государства Граад. Нет хороших новостей и из Холодной Земли, что на изоле Катла. Предстоит рокировка через Полярное плато. За окном поезда, в Полифабрикате, слушают по радио новости с фронта тридцать пять миллионов человек. Все они гойко. Лишь один из них не слушает новости, он и так знает, что будет. Этот человек нигилист, и именно его и ищет Хан.

Он выходит на остановке, застегивает молнию на куртке. На платформе пусто, тихо и прохладно — конец южной зимы. Ветер шумит в голых кронах тополей, с ветвей деревьев сыплется заводская копоть. Хан спускается на улицу по грохочущей лестнице и идет вдоль

по улице среди полуразвалившихся хибар. Рядом с ними высится хранилище отходов — нерушимый памятник, серебристые башни в свете пятитысячеваттных прожекторов. Сама улица плохо освещена, по обе стороны дороги теснятся деревянные дома, под ногами хрустит замерзшая грязь. Асфальта на дороге нет.

Хан останавливается перед особенно жалкой двухэтажной развалюхой. Деревянный фасад скрипит под натиском ветра, угрожая в любую секунду рухнуть на голову. Хан сверяется с адресом, записанным шариковой ручкой на тыльной стороне кисти, и поднимается по лестнице, в пахнущую кошачьей мочой темноту коридора. Зажигается спичка, и два огненных язычка танцуют в выпуклых стеклах очков, пока Хан ищет квартиру номер три.

Дверь ему открывает старик в трусах: кожа у него на груди висит складками и кажется забальзамированной. Когда-то он был молод и очаровывал своим максимализмом; он высмеивал всё и вся и спокойно относился к мелочам, выбивающим обычного человека из колеи. Эта клоунада, вкупе с присущим северянкам чувством социальной вины, принесла гойко самую большую удачу в его жизни — мать Зиги. Но их брак оказался фарсом. Кроме того, она не позволяла нигилисту дрессировать ее, как ему вздумается. Зиги отец не дрессировал, о нём он заботился. Во всяком случае, достаточно, чтобы оставить мальчика в Ваасе. Сам охочий до драки нигилист вернулся в Полифабрикат, работал там на заводе, и ему хватило здоровья дожить до преклонных лет, как подобает настоящему нигилисту: упиваясь каждым омерзительным часом и зная, что впереди их еще много.

Это Хану уже известно: всё это лежит у него в рюкзаке, разложенное по папкам. Он хочет узнать, что было потом, когда Зиги вернулся к отцу в Граад через три года после исчезновения девочек. Что произошло между ними и Зиги, что он оставил после себя. Старый гойко ведет его на кухню, заваленную грязной посудой. Хан кладет на клеенку сотню реалов и выставляет бутыль водки, и старик откручивает крышку, держа между средним и указательным пальцами рюмку.

— Не поймите неправильно, я не хочу устраивать ему неприятности. — Хан смотрит на полную рюмку, стоящую перед ним на столе. — Всё так, как я сказал по телефону, но... — Он ненадолго задумывается, потом опрокидывает рюмку в рот.

— Парень знает, кто я такой. Я нигилист. — Старик хлопает рюмкой об стол. — Спешите видеть! Сегодня в восемь вечера, в народном доме, могучий нигилист встречается со смертью. Смерть велика и ужасна, но... но нигилист не... как, бишь, там дальше? — Он прикладывает палец к губам и пытается вспомнить. Но мысль ускользнула, настрой пропал, и плечи старика уныло поникают. — Да

какая разница, скоро всему конец. — Он кивает на дверь: — Здесь всё так, как он оставил.

Вдоль стен каморки громоздятся кипы тетрадей. Тень Хана лежит на полу между ними в пятне света, падающего из кухни за его спиной. Хан берется за одну из тетрадей, и вся стопка начинает заваливаться прямо на него. Плечом прижимая шаткую башенку к стене, он в поисках помощи оглядывается на отца Зиги.

— Пускай их, — кашляет тот, — там всё одно и то же. Та же история.

— Что? — Хан делает шаг назад, и тетради расползаются по полу: на каждой обложке неряшливым почерком Зиги написан возраст девочек. Пять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать.

— История, говорю, одна и та же! — Старик поворачивается к Хану спиной и садится за стол. — Странная история. Для всех нас это очень странная история, но теперь она закончится хорошо...

Хан начинает собирать тетради в спортивную сумку. Когда он, с раздувшейся сумкой через плечо, подходит к двери, старый гойко всё еще смотрит на улицу в маленькое оконце кухни.

— Они хотят весь мир утопить в Серости — ну, эти, мескийцы. По радио говорили: везде понаставят кормушек, и мы будем сидеть под ними, разинув рты. А они будут нас кормить и следить, чтобы мы не подавились своими языками. Добровольный уход? Это цирк, а не нигилизм, я такого уже насмотрелся на Земле Ломоносова, в карантине для белковых тел! А они весь мир хотят сделать Землей Ломоносова.

Хан постукивает носком кроссовка по коврику у двери:

— Ну что, мне, наверное, надо идти...

— Этот Сен-Миро — одно разочарование. Но знаешь, что, парень? — Старик смотрит на Хана черными, как у лошади, блестящими от водки глазами. — Сдается мне, что это еще не всё...

Вагоны впереди один за другим погружаются во тьму: поезд входит в туннель. Хан сидит возле окна в ватной тишине: уши заложило от перепада давления. В вагоне темно, если не считать зеленых указателей выхода; скрежещет металл. Он берет фонарик, вставляет в него батарейки, и у него в руках из темноты возникает мир из клетчатой бумаги. Хан сидит на скамье, держа в правой руке пачку тетрадей, и читает.

История раскрывается перед ним в луче фонарика, страница за страницей. На них с дотошностью аутиста запечатлена каждая деталь, записано каждое слово и движение. Это даже не столько история, сколько технический рисунок, макет одного воспоминания, адресованный некой доброжелательной силе из будущего, которая могла бы заново собрать по нему утраченный мир Зигизмунта Берга.

Вырежи, согни, склей. Траектория полета кирпича, запущенного зимней ночью в окно гостиной по знакомому адресу — адресу дома девочек вВаасе, на остановке «Фалу». Лабиринт пригородных улиц на разворачивающейся вкладке, и на нем, отмеченный пунктиром, путь убегающего мальчика. И метеорологические сведения в углу страницы. Давление, влажность воздуха. Восемнадцать градусов мороза. Следующий вечер у Красавчика Александра: диваны у стены, на полу схема драки — как шаги в танце. А потом — великая тьма. Только голос, звенящий над ним, над тем мальчиком, вместе с замками его куртки. «Ты Зиги — самый плохой мальчик в школе». Хана охватывает дурное предчувствие; он достает платок и протирает очки, в желудке бурлит кислота. Это надвигающийся приступ ревности.

«А ты, злая погибель — самая красивая девчонка в школе».

Но на следующей странице Хана не ждет имя со знакомыми рожками буквы М в начале. Там ждет его отсутствие. Ни его, ни окружающего мира больше нет. Даты идут с нового года, одна-две за неделю, всё реже и реже — до двадцать восьмого августа. Но на страницах одни лишь пустые клетки. Хан хватает следующую тетрадь и перелистывает ее, потом следующую; он выворачивает из рюкзака оставшиеся тетради, и во всех них одна и та же история. Странная история.

Свет с платформы пробивает вагоны навылет. Он пронизывает окна, одно за другим. Хан поднимает голову, и его очки вспыхивают — два светящихся иллюминатора на конечной остановке. Толстый идиот в голубеньком галстуке — он ничего не понимает. Где-то там — Зигизмунт Берг, который знает, что от его истории осталась лишь пустая шелуха. Шуршит магнитная лента, крутится сердечко на пластиковом диске. А еще у него есть цифры, неотделимые от мира до самого конца — к которому он катапультировался сквозь сверхглубокую Серость в своей железной абрикосовой косточке. Но собственные воспоминания Хана уже искажаются в его голове. Резервные копии исчезли, одна за другой, оставив его одного. Ему не удержать их в одиночку, но он не может без них.

Этим вечером он засыпает в вокзальном туалете, в кабинке из тонкой фанеры. Он свернулся за запертой дверью, прижавшись к стене — тело, закутанное в истрепанный временем трехцветный саван. Бахрома метет по полу, когда он беспокойно ворочается с боку на бок. Он не может уснуть, Что-то не так. Ужасно неправильно. *«Расскажи что-нибудь... у тебя всегда такие интересные доклады. И по истории, и по естествознанию...»* Он открывает глаза и смотрит на бесформенную культю на месте ее лица, на гладкие светлые волосы, рассыпавшиеся по кафельной плитке. Девочка лежит на полу, прямо напротив него. Не дышит, не пахнет.

«Где ты?» — Низкая вибрация, возлюбленная-невидимка не отвечает. Хан изо всех сил сжимается в комок, но холод не отпускает его. Он повторяет: «Я на краю света. Я там, где конец света».

Двадцать один год назад по лестнице дома в пригороде спускаются маленькие босые ноги. Стоит ночь зимнего солнцестояния. Сквозь полупрозрачную кожу просвечивают сосуды, пальцы поджимаются на холодных ступеньках, каждый ноготь — малиново-красный драгоценный камень. Темно-зеленые глаза. Край ночной рубашки обвивается вокруг лодыжек от сквозняка.

Молин Лунд ступает с последней ступеньки на ковер. В темном зале перед ней светится разбитое окно. Шторы раздуваются, как парус, на полу валяется кирпич, а двери в коридор открыты. Она зеркало, зеркало! идеальная копия мира. И всё же что-то не так. Всегда было не так. Ее поверхность безупречна, нетронута, сияюще чиста. Это свет сбился с пути. С пути сбился сам мир.

Рядом из темноты выходят еще две девочки-подростка. За руку старшей держится четвертая девочка, совсем еще крошка. Она указывает палочкой феи-мачехи на окно — на щербатую улыбку рамы с разбитым стеклом.

«Смотри, смотри! — говорит она. — Всё сломалось!»

20. ЭПИЛОГ. СВЕТ ПРОНИЗЫВАЕТ ВСЁ

*Этот эпилог не был опубликован в оригинальном издании 2013 года.
Он был выложен позже, в 2014 году, на сайте zaum.ee.*

Ревашоль, семьдесят пять лет назад, за два года до революций рубежа веков.

Издалека, из зрительного зала филармонии, за кулисы доносятся аплодисменты. Для премьеры они довольно скудны; второго вызова на бис нет. Первый устроили клакеры. Секция струнных уже переодевается из вечерних платьев в обычную одежду на серебристых диванчиках с выгнутыми подлокотниками. За окном темнеет вечернее январское небо. У окна стоит *граф* Эмиль де Перуз-Митреси — в черном рединготе, с растрепавшимися напомаженными кудрями и с додекаэдром в руке.

Эмиль — противоречивая натура. Он аристократ, *граф* де Перуз, *граф* де Митреси — но ненависть к буржуазии, узурпировавшей верхушку классовой лестницы, делает его сторонником пролетариата и, как следствие, революции. От праздной жизни Эмиль возомнил себя еще и композитором. Он болезненно честолюбив, и при этом полон решимости покорить мир своей додекафонической музыкой. Метод *графа* основан на ослепительно прогрессивной геометрически-символической системе гармоний, которая не имеет ничего общего с музыкой остального цивилизованного мира. Для человеческого уха она звучит как невыносимый скрежет. Традиционную тональную гармонию Эмиль считает ограниченной, как плодный пузырь. Отупляющим лопотанием. Музыкой амеб. Он дирижирует своими произведениями сам, — никто другой не умеет и не хочет этого делать, — используя вместо обычной палочки картонный додекаэдр. Щеки *графа* пылают от волнения, додекаэдр дрожит в его руке.

— Выйти еще раз? — выкрикивает он. — Я пойду!

Он проносится через комнату, словно подгоняемый лихорадкой. Директор оркестра деликатно останавливает *графа* в дверях:

— Не знаю, мне кажется, не стоит...

— Но почему? — недоумевает *граф*. На губах у него появляется кривая улыбка. — Меня же зовут! Это было *грандиозно*!

— Грандиозно... — чешет затылок директор. — Ну, предположим, но вы ведь уже выходили... Будет не слишком тактичным испытывать вежливость публики.

В зале становится тихо. За окном шумит ветер.

— Я не считаю, что всё так уж плохо. — Полноватый коллега кладет руку композитору на плечо. — Идея была хороша. Исполнение не мешало бы доработать. Но знаете — всё и так сложилось довольно удачно. Что, если это не повторится? В следующий раз вы доведете всё

до совершенства, и вот тогда!.. — Этот человек пишет в основном концерты для флейты с оркестром и пьесы для флейты соло.

— Ну да... следующий. — Директор снова чешет в затылке. *Граф* слышит, как он шепчет критику: «Пожалуй, будет лучше, если вы не станете об этом писать. Перуз-Митреси много лет были щедры к нашему заведению...»

По раскрасневшемуся лицу *графа* пробегает болезненная дрожь. Увядающая улыбка еще держится на его губах. Никем не замеченный, он проходит мимо хлопочущих женщин обратно к окну. Он всё еще слышит заискивающий шепоток директора и голос критика. «*Слишком непонятно*... никогда не будет популярной, это жутко слышать». За стеклом, на фоне темно-синего вечернего неба, качаются ветви деревьев.

«*Жутко слышать*...» — шепчет *граф*. На подоконнике стоит метроном. *Граф* запускает его — в темпе *grave*, самом медленном из возможных. — «*Не будет популярной...*»

— Но послушайте! — возражает концертмейстер. — Мне кажется, у *графа* уникальный музыкальный язык!

Пышная дама смотрит на *графа*:

— Я искренне надеюсь, что будет и следующий раз. Но всё-таки — лучше, если это будет что-то *более понятное*.

Раздается смех. По гримуборной проносится вздох облегчения.

«*Сложилось довольно удачно*...» — бормочет *граф*. Он медленно оборачивается и исподлобья смотрит на людей в комнате сквозь упавшие на лоб кудри.

— То есть, я один считаю это грандиозным, так?

«Так», — отвечает метроном; за спиной у *графа* раскачиваются ветки.

— А по-моему, довольно оригинально, — говорит концертмейстер. — И да, некоторые моменты и впрямь были удачными.

— *Моменты... удачными…* — произносит *граф*.

«Так», — говорит метроном.

Граф подбрасывает додекаэдр в руке.

— И... какие моменты вам понравились больше всего?

— Ну, начало второй части было красивым... — Дама ковыряет футляр своей скрипки. — И...

«Так».

«Так».

«Так».

— *Asimuth!* — Тишину нарушает хлопок в ладоши.

«Так».

— *Boreas! Sector!* — Сверкая глазами, в комнату врывается крошечный человечек. Он хлопает в ладоши с каждым тактом, и с каждым шагом произносит одно слово. — *Nadir!* — заканчивает человечек и склоняется перед *графом*. — Каждая часть, все до единой — абсолютное

математическое совершенство. Следующее исполнение его только испортит. Лучше исчезнуть прямо сейчас: к этому уже нечего прибавить.

Человек сжимает крохотные руки в кулаки; на локтях его бархатного костюма — заплатки.

— Я возвращаюсь в Граад. — Он поворачивается к остальным. — Через два года в Мирове начнется революция, которая охватит весь мир, как пожар. Ее поражение определит всё последующее столетие. Творческий пик человеческого разума, каждый следующий год которого темней предыдущего. — Человечек блуждает по комнате, как шаровая молния: кажется, что он вот-вот на кого-нибудь кинется. — Эта музыка доносится из его конца, сквозь полярную ночь. Она играет со звуковых
носителей будущего. С магнитов! Но настоящий ее источник не там. Вы будете знаменитым, месье Митреси, ваша музыка дойдет до нас с нужной стороны, из-за предела, где вся материя превращается в память. Так звучит белый свет, сияющий в каждой тьме, свет, отменяющий все откровения. — Он поднимается на цыпочки перед критиком и говорит ему прямо в лицо: — *Все откровения* — все, говорю вам, — *обратятся в ничто*!

«Так».

Человечек оборачивается через плечо, как сова. Его взгляд шарит по комнате в поисках громоотвода и натыкается на *графа*. Композитор улыбается от уха до уха.

— Значит, я всё-таки стану знаменитым? — спрашивает *граф*, задыхаясь от волнения. — Вы правда думаете, что так будет?

— Я в этом уверен. Ибо по ту сторону света...

— Ион! — прерывает его детский голос. — Ион, когда мы уже пойдем... — В дверях появляется маленький мальчик в нарядном костюме.

— Прошу меня извинить. — Человечек жмет *графу* руку. — Для меня огромная честь познакомиться с человеком, чей разум принимает звуки столь яркие, что в их свете видна природа мира как совокупности памяти!

— Погодите! — смущается композитор. Он достает из внутреннего кармана редингота простой карандаш и ставит подпись на додекаэдре. Он долго тренировался это делать. — Кому его подписать?

— Иону Родионову, — улыбается человечек. Он взволнован.

— А вы, случайно, никуда не пишете?

— О, нет, я не критик. — Человечек берет многогранник в руки: от восторга он даже прослезился. — Я учитель математики.

— Конечно! — надувшись, фыркает критик у дверей.

Но учитель проходит мимо, не слыша его. Он берет за руку маленького ученика, ждущего за дверью.

— Пойдем, Амброзиус! — говорит он. — Правда, красивый многогранник?

Месяц спустя, в восьмистах километрах от Ревашоля, в Великом Синем, на самом краю архипелага.

Ветер злобно треплет парус яхты. Ткань хлопает, ветер оглушительно воет. Сейчас конец февраля, *madrugada* – последний темно-синий час перед восходом солнца. Океан серебрится под темным небом, одинокая яхта лавирует между льдин. Ледяная глыба проплывает за перилами, дымясь в темноте. На палубе стоит *граф* Эмиль де Перуз-Митреси. На нём тот же черный редингот, нестираный и потертый. Его волосы развеваются на ветру, красные от холода руки застыли на штурвале.

— Провались, Ревашоль! Чтоб ты сгорел! — кричит он ветру. — Я знаю, что это грандиозно, мир знает, что это грандиозно! А вы кто такие?

Яхта налетает на льдину. Лед оглушительно скрежещет по деревянному борту. *Граф* зубами вытаскивает пробку из бутылки со спиртом.

— Непонятно?! — выкрикивает он и делает глоток. — Я принес вам музыку сфер, а вам — непонятно?! Сами вы непонятные, скоты!

Перед ним, по ту сторону огромного мрачного мира, встает солнце. Это зрелище потрясает. Снопы холодных светло-серых лучей расходятся в стороны, будто корона. Солнце восходит сквозь Серость. *Граф* воздевает руки к небу; его захлестывает ни с чем не сравнимый звук времени. Он громче ветра, громче, чем треск сталкивающихся льдин. Брызгая слюной, *граф* поет свою любимую каденцию. Он сочинил ее сам. И голос Серости впереди звучит как аплодисменты, стоячие овации, топот десятков тысяч ног, свист и оглушительный грохот фейерверков, атом, который однажды взорвется в Ревашоле. Если и есть в мире что-то прекраснее написанной им музыки — это аплодисменты.

— Я знаменит! — кричит *граф* во весь голос. Я самый знаменитый музыкант всех времен! Все другие музыканты — ничто по сравнению со мной! Кто их знает?! Никто! А меня знают **все**!

Он допивает спирт и разбивает бутылку о палубу.

— Меня любят миллионы! — вопит он, в бреду простирая руку к Серости. — Миллионы и миллиарды, сотни тысяч миллиардов юных и влюбленных девушек любят меня и мою додекафоническую музыку! Любовь — это всё! Любовь — это свет! Свет — и больше ничего!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Роберт Курвиц. МАТУШКА ХАНА

Предположительно — часть 11 главы, не вошедшая в окончательный вариант книги.
Источник: архив zaum.ee.

— Пожалуйста, — из-под очков Хана текут слезы. — Скажи, кто ты...

— Ты знаешь, кто я. — У вибрации детский голос, и он говорит ужасные вещи. Хан дрожит, забившись в угол коридора с трубкой в руке.

— Это не ты, это не ты, — кричит он. Наяву, его тело сотрясается от того, что происходит в его уме. Хан просыпается в слезах у себя в постели. В ухе гудит, явь кажется продолжением сна, только макет дирижабля снова в витрине, Надя больше не улыбается, а у Гон-Цзы в руке компас.

Пять минут спустя Алия Хан просыпается от грохота посуды на кухне. Она шарит рукой в изголовье кровати; загорается ночник с бахромой. Одетая в ночную рубашку женщина идет на кухню. Там, в темноте, спиной к двери, всхлипывает ее тридцатидвухлетний сын. Грузный мужчина моет свою кофейную чашку, его спина вздрагивает.

— Кошмар приснился?

Хан не отвечает, чашка падает в раковину, ручка откалывается.

— Сядь, я сама помою. — Мать отводит его к столу. — Сделать тебе чаю?

— Кофе. — Хан вытирает щеки. — Лучше кофе.

Старая женщина включает свет; в мойке шумит вода, мать моет любимую кружку сына — ту, на которой змеится между дюн последний путь Рамута Карзая. Потом она ставит на огонь чайник и садится рядом с Ханом.

— Я просил... — говорит он сквозь всхлипы, — ...просил ее сказать, где они, но она не ответила.

— Кто — она?

— Молин. — Хан сглатывает. — Она звонила мне, и остальные тоже были там. Они говорили, чтобы я оставил их в покое. Что я их мучаю.

В кухне становится тихо. Чайник на плите начинает свистеть. Мать Хана встает из-за стола и ищет в шкафчике кофе.

— Ты ведь понимаешь, что это значит?

Хан больше не всхлипывает. Он смотрит отсутствующим взглядом на свои руки на столе:

— У остальных всё получится. Но только не у меня...

— Нет, дорогой. — Алия ставит перед сыном кружку с кофе. — Это ты сам так себе говоришь. Ты сам знаешь, что тебе нужно делать. Тебе

нужно не гоняться за этим вашим Зиги, не ездить по некромантам, а найти работу.

— Но у меня есть работа! — Хан отхлебывает из кружки — Я ведущий специалист в своей области, я же тебе говорил!

— Может и так, но это ведь несерьезно! Я про настоящую работу. Если будешь сам о себе заботиться, то и девушки появятся. У меня есть одна идея, вот послушай! Утром ты пойдешь на биржу труда...

— Мам, ну я же сказал!

— Сперва дослушай! Прямо с утра ты пойдешь туда, попросишь о переподготовке, и запишешься куда-нибудь! В конце концов, это бесплатно. Вот увидишь, у тебя сразу прибавится уверенности. Составишь себе расписание...

— Конечно, — мрачно усмехается Хан, — расписание…

—...а в пятницу встретишься с одной девушкой. Не упрямься, она очень милая. Агне очень приятная женщина, не думаю, что ее дочь тебя съест.

— Чья дочь?

— Ты меня совсем не слушаешь? Я тебе уже месяц говорю, что у моей сослуживицы дочь твоего возраста, и тоже одинокая. Она ужасно хочет с тобой познакомиться! Ты наденешь приличный костюм и рубашку и сводишь ее куда-нибудь поужинать.

Хан обхватывает голову руками:

— Ну и куда я ее свожу, мама... Поесть самсы в «Кебаб Абу-Бабу»? Или куда там меня отправят на переподготовку?

— Знаешь, что мы сделаем? Я дам тебе денег на расходы. Авансом. Ты сходишь на биржу труда, а сразу после этого забронируешь столик — в «Телефункене»! — Хитро улыбаясь, мать Хана ждет ответа.

Хан поднимает голову и вытирает нос платком.

— И как я, по-твоему, смогу это сделать?

Мать раскрывает перед ним газету:

— По знакомству.

В колонке «Культура», рядом с интервью — фото молодого человека в приталенном пиджаке поверх футболки. На футболке — обложка культового альбома известного диджея, а на заднем плане сияет обновленным дизайном панорамный ресторан.

Мартин Луига. ВЕРНОПОДДАННЫЙ НИГИЛИСТ

Первый опубликованный текст по миру Элизиума.
Источник: архив zaut.ee

Республика Меск. Центральная площадь провинциального городка. На фасаде старой бетонной ратуши висит большой полотняный экран, на котором часа полтора назад показывали национальный информационный киножурнал. На углу тротуара сидят двое молодых людей весьма необычного вида и поведения.

— Х-ху-уй-й, — говорит младший из них, тщательно артикулируя и настороженно приподняв густые брови. Другой, с длинными висячими усами, как у Степана Презренного, улыбается и одобрительно кивает. Он поднимает указательный палец к небу и назидательным тоном произносит:

— Ебать твой хуй. Ебаться в хуй. Сквозь дырку в хуе.

Улыбающийся рот первого приоткрывается: видно, что возникший в голове образ вызвал у него дискомфорт, смущение и ужас, но он этому рад, потому что именно таких ощущений он и искал.

— Ты задрал уже трахать своих чёртовых сучек, — говорит он, теперь уже совершенно обычным голосом. Другой отвечает тем же тоном:

— Нассать в очко стоячим хуем.

Какое-то время они сидят просто так.

— Пиздоссанина, — испытывает удачу первый.

— Слово «конча», — отвечает второй. — Кончелыга, а еще кончеглот. Сперва надо добыть какого-нибудь вкусного ликерчику и хороших фабричных сигарет. Ну и взять чего-нибудь поесть не помешает. — Он встает: из-под кожаной куртки виден стройный торс, испещренный синими надписями татуировок; пояс штанов спущен так низко, что из-под него торчат лобковые волосы. Поза у него вызывающая. Другой придерживается того же стиля, но вместо кожаной куртки на нём расстегнутая клетчатая рубашка. Он ниже, коренастее и татуировок у него поменьше. Глаза у него большие и черные, а пухлые губы сложены бантиком. Волосы у обоих блестят от средства для укладки.

Эти двое — *пидры*. Это молодежное движение с подчеркнуто гомосексуальной эстетикой, основанное на протесте и эпатаже. Чтобы принадлежать к нему, необязательно быть настоящим гомосексуалистом. В случае неизбежно возникающей путаницы всегда можно сказать, что «ждешь подходящего человека», и все сочтут это довольно милым. Конечно, желающих набить тебе морду тоже будет достаточно, но это ничего. *Пидры* весьма уважают мордобой. С самого начала было понятно: просто вызывать омерзение недостаточно, ты должен внушать ужас, быть бандитом. Происхождение этого движения

неясно, но более чем вероятно, что изначально оно было чьим-то художественным проектом, удачно распространенным через стратегически значимые точки.

Спустя время парочка возвращается.

— Ссакодрочер, — говорит высокий усатый *пидр*.

— Это такой дрочер, которому надо подрочить, чтобы поссать? — уточняет другой.

— Очень может быть. Звучит правдоподобно, — отвечает усатый. Назовем его Эстебан: это его имя. Второго зовут Хулио.

— Педрила мелкописечный, — говорит Хулио.

— *Пидры!* Они повсюду! — вдруг во всю мощь своих легких выкрикивает Эстебан. В этом вопле слышна неподдельная ярость, причина которой, однако, непонятна. Сделав это, он смущенно вздыхает и отпивает из бутылки. Они разжились сигаретами и курят. На тротуаре перед ними, будто солдаты, выстроились пачки, добытые в магазине.

Хулио слегка испугался, но не позволяет себе отвлекаться и весело продолжает:

— Педики обожают жопу.

— Жить без нее не могут. Сказать по правде, мало кто может. Учитывая это, имеет смысл поддерживать с ней хорошие отношения.

— А Насруддин ибн Насых — это настоящее имя?

— В некоторых странах даже очень распространенное, — отвечает Эстебан, сверкая глазами.

Хулио берет паузу, чтобы подумать. А потом говорит:

— Пиздятина.

— Наверни говна с-под жопы и запей моей кончой, — каким-то страдальческим голосом произносит долговязый бездельник, приподняв брови и пристально глядя на спутника. Оба разражаются смехом. Какое-то время они повторяют эту фразу на разные лады, меняя акценты и интонации, и в конце концов начинают ее петь. На манер хорала, на манер кабаре, на манер блюза и на манер кабацкой песни. Хулио по большей части фальшивит, но иногда попадает в ноты; Эстебан поет приемлемо, но иногда фальшивит. «Наверни говна-а с-под жо-о-пы-ы!», — выкрикивают парни; «И запе-ей моей кончо-ой!» — отражается от стен домов. Лучи полуденного солнца согревают их, и бетон, и пучки травы, пробившиеся между плитками брусчатки. Людей на площади мало, и большинство обходят их по широкой дуге. На груди Эстебана красуется медальон в форме сердца: внутри него — крошечная копия известного по хроникам портрета Литы Зиппоры. Под ним из-под густой поросли волос проглядывают печатные буквы лозунгов: «ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА», «ВОССТАНИЕ МАСС» и «Я НЕ БОЮСЬ СМЕРТИ». У Хулио под левым соском подпись «Для мужиков»,

а ниже, возле пупка — выполненный посредственным художником с претензией на реализм половой член, как бы пробивающий кожу.

Приближается энергичный стук каблуков. К *пидрам* подходит одетая в небесно-голубой костюм крашеная блондинка средних лет. Воинственно подбоченясь, она обращается к парням:

— И что тут у нас? Бунт против грамматики? Или порядка слов в предложении? А может, против морали? Всех этих границ, которые строились на протяжении веков, и на создание которых были веские причины? Давайте уничтожим их: в ваших головах, в моей голове, и, может, в головах всех людей на свете? Вдруг это сделает **реальность** лучше? Но что, если вы ошибаетесь, мальчики? — Ее голос хорошо поставлен, интонации выразительные и плавные.

Эстебан задумчиво морщит лоб и не торопясь встает:

— Тут есть два варианта, прекрасная леди. Первый: вы несколько отстали от времени и не понимаете, откуда дует ветер. Вариант номер два: вы пропитаны моралфажеством до самого мозга костей. В этом случае вам стоило бы уяснить, что без таких, как мы, ваша идеология лишится всякого теоретического обоснования. Вы просто будете есть свои круассаны, глядя в вечность пустыми глазами: тысячи поколений пьют кофе в кофейнях, жуют круассаны, ходят на работу и носят красивые прически — и больше **ничего**. В любом случае... наши разногласия по поводу **реальности** непреодолимы. И продолжать разговор не имеет смысла. — Эстебан достает из внутреннего кармана куртки пистолет и направляет его на женщину, жеманно расслабив запястье и чуть скосив глаза: его рот приоткрыт, а язык ощупывает кончик уса. Лицо у дамы бледнеет от ужаса, она разворачивается и почти бегом скрывается за ближайшим углом. Эстебан продолжает пантомиму еще некоторое время; затем, вздохнув, садится, сплевывает: «тётки», и засовывает пистолет в штаны. Хулио безудержно хохочет, охая, отдуваясь и пытаясь остановиться.

— Ага, в жопу ее, эту реальность, — говорит он наконец, утирая глаза рукавом рубашки.

— Эти тётки никчёмные тряпки. Как можно воспринимать моралфажество всерьез, если его гвардия так просто сбегает с поля боя? Как думаешь: может эта тётка организовать высадку, привести подкрепление из-за другого угла — или, я не знаю, спуститься с ним на веревках с крыши ратуши, — и с помощью этой блестящей демонстрации силы восстановить превосходство нормальной морали и реальности? Можешь такое представить? — возмущенно спрашивает Эстебан.

Хулио смеется:

— Не могу, вообще никак. А ты не боишься отстрелить себе яйца?

Эстебан усмехается:

— Кто не боится смерти, тот не боится отстрелить себе яйца. К тому же, он не заряжен. Если бы я хотел делать пиф-паф, я пошел бы в армию. Для меня оружие — это символ статуса. — Он затягивается сигаретой и выпускает дым из уголка губ. Морщинки возле рта выдают его возраст — старше обычного для этой тусовки.

— В смысле — символ статуса? — не понимает Хулио.

— Видишь ли, у государства есть монополия на насилие. Которой оно милостиво поделилось с нами. Это знак доверия, того, что таким, как мы, дозволено участвовать в делах государства. Но суть государства — это не власть ради власти или насилие ради насилия: всё это средства для достижения целей. Власть — это вроде репутации в гетто. Когда у тебя ее нет, тебе приходится доказывать свои права мордобоем, но когда она у тебя уже есть, тебе уже не пристало кидаться на людей с кулаками: все и так знают, что с тобой шутки плохи, — объясняет Эстебан.

— Ты что, за государство? — спрашивает Хулио.

— Ревностный и верноподданный слуга Отечества и убежденный сторонник экклезиастической системы. — Эстебан гордо выпрямляется и с пафосом смотрит вдаль, а потом снова поворачивается к Хулио. — Тебе что, кажется, что ты не нигилист? Или, может, тебе кажется, что наше дорогое правительство «чересчур нигилистично» или «недостаточно нигилистично?»

— Я вообще не думал, что это как-то относится к правительству. Мне казалось, весь смысл в том, что никакого смысла нет, а те, кто думает иначе, отсосут, — признается набриолиненный хулиган.

— Интуитивно это верно, и, в сущности, этого достаточно, но если ты думаешь так — ты действуешь на уровне инстинктов, как та тётка. Тётки, как правило, за государство, потому что тётки всегда за государство: они не умеют быть против. Они просто повторяют то, что им говорят, потому что не могут придумать ничего лучше. Шпана, в свою очередь, всегда была в контрах с властью, так что ей тоже трудно представить, что можно по-другому. Но на самом деле полезно понимать политику, чтобы идти в ногу со временем. Иначе сам рискуешь отсосать по полной. Что ты вообще знаешь о нигилизме?

— «Спешите видеть, как могучий нигилист встретится лицом к лицу со смертью...» — декламирует Хулио. — Вот, кое-что знаю.

— Но сам посмотреть так и не удосужился? — полунасмешливо, полувосхищенно говорит Эстебан. — Хулио, ты удивительное существо. На первый взгляд — лопух обыкновенный. Но если копнуть поглубже, становится ясно, что ты абсолютно безразличен ко всему, что предлагает тебе мир, кроме, пожалуй, разврата. Если поговорить с тобой подольше, можно услышать ярчайшие мысли; непонятно, рождены они развитыми аналитическими способностями или интуицией — но ты за них никогда не держишься. Стильная игра. Я бы так не смог.

Шаткой походкой двое *пидров* бредут по городским улицам. Повсюду бетон, трехсотлетние трех- и четырехэтажные бетонные дома с массивными арками. Улицы по-прежнему почти пусты: несколько солдат, пара конных повозок, да еще собаки. Пыль и жара. В одном окне курит сигару голый по пояс толстяк, сонно глядя из-под тяжелых век; из другого выглядывает любопытная старушка. Тут и там валяется мусор.

— Бетон, — объявляет Эстебан, делая широкий жест рукой.

— Бетон для обсосов, — критически замечает Хулио.

— Эй, бетон это круто. Если в него добавить разных камней и проволочных сеток, то разломать его можно только динамитом, — защищает Эстебан честь своего родного города Радьяль Абады.

— В Грааде, в Екокатаа, кислотные дожди съедают от двух до четырех сантиметров бетона за год. Там люди ходят в прорезиненных плащах и резиновых масках, а кто их не носит, те всё равно выглядят резиновыми – у них выпадают все волосы, а кожа делается как будто оплавленной. Сперва она просто краснеет и чешется, но от этого продается мазь вроде той, которой мажутся боксеры от синяков. Это из обращения Миро к народу — того, что о семи чудесах современного мира. Если покрыть бетон алюминием, он, наверное, прослужит дольше, но дешевле строить новые дома, — угрюмо говорит Хулио.

— Но это ведь куда больше, чем «Спешите видеть, как могучий нигилист»...

— Мне не надо читать теорию нигилизма, чтобы знать, что это такое. Или болеть за него, чтобы он победил. Разница между тобой и мной в том, что ты обожаешь этот мир. Для тебя то, что мы одно из последних поколений, делает его особенно прекрасным. А для меня нет ничего особенного в том, что у власти для разнообразия окажется кто-то, кто разбирается в вопросе. — Эстебан никогда не видел его таким. — Но мне нравится видеть, что тебе здесь хорошо. Это делает мое существование более сносным, — медленно, с горечью произносит Хулио.

Эстебан потрясен. Он открывает было рот, чтобы пуститься в объяснения, но тут же замолкает, глубоко задумавшись. А потом затягивает песню: «Зачем ты волнуешься, мама...» К концу песни становится ясно, что на самом деле мама никогда и ни о чем не волновалась, и ее мама тоже, и что есть и лучшие решения проблемы, чем социал-демократическая пропаганда или попытки возродить мазовизм.

Хулио и Эстебан стоят в в прохладном зеленоватом коридоре с массивными колоннами; под ногами паркет, между стен гуляет эхо шорохов, скрипов и стуков. Перед ними дверь с табличкой «Директор».

Вытянувшись так, будто проглотил шпагу, Эстебан нажимает на ручку и решительно шагает в открывшуюся дверь. Хулио с неохотой следует за ним.

— Здравствуйте! — бодро выкрикивает высокий бездельник. Кабинет длинный и узкий, вдоль его стен тянутся шкафы с папками, а напротив двери стоит письменный стол. Сидящая за столом сухопарая пожилая женщина подозрительно смотрит на чужаков, держа в руке сигарету. Эстебан кланяется: — Эстебан Долорес Серveза, национальная служба безопасности. Нам стало известно, что, библиотеки, в связи с изменившейся политической обстановкой, стали важными стратегическими объектами. Ими пользуются иностранные шпионы, чтобы читать газеты — представляете? Или еще, например, кто-нибудь из них может подчеркнуть ногтем какое-нибудь слово или число в определенной книге, и другой шпион сразу поймет, что это значит. Следует принять меры безопасности. Возможно, потребуется изменить структуру вашего учреждения. Мы обязательно создадим здесь свой отдел.

Затянувшись сигаретой, директриса поджимает губы:

— Пожалуйста, предъявите документы, подтверждающие ваши полномочия.

— Документы! Помилуйте! — разводит руками Эстебан. — Во время операции носить при себе документы никак нельзя. Вам могут просто дать кирпичом по голове — и поминай, как звали! Как видите, я только что с миссии по внедрению в группу контркультурной молодежи с целью проверки настроений. Настроения в норме, но не мешает повысить политическую грамотность. Этот юноша показался мне перспективным, и я взял его с собой: пусть мальчик посмотрит, как устроено государство. Госбезопасности нужны новые кадры. — Хулио становится неуютно, он не знает, куда деть руки. Директриса смотрит на молодых людей, нахмурив брови.

— Я не могу позволить неизвестно кому с улицы наводить свои порядки в библиотеке! Это просто смешно! — протестует она.

— Успокойтесь, — примирительным тоном говорит агент Серveза. — Разумеется, вы, правы. Я могу сам прямо сейчас составить все нужные документы. Конечно, в данный момент наша система строится в основном на франконегрийских доверии и эффективности, но она оставляет место и для долорианской бюрократии. Есть и доверие, и контроль. У вас здесь есть телефон?

— Нет, — неприязненно отвечает директриса.

— Тогда, очевидно, вам придется сходить на почту, чтобы навести справки. Позвоните на центральную станцию и попросите соединить со службой госбезопасности. Вы ведь понимаете, что это бы плохо для меня закончилось, пытайся я выдать себя за того, кем не являюсь? Уж в этом, по крайней мере, на нашу систему можно положиться.

Директриса задумывается:

— С этой точки зрения, вы, конечно, правы. К кому именно мне следует обратиться?

— Просто позвоните на центральную станцию и попросите соединить вас со службой госбезопасности. Дальше вы объясните ситуацию диспетчеру, и он свяжет вас с нужными людьми. Следует понимать, что в текущих обстоятельствах традиционная структура командования малоэффективна. Передача распоряжений из центра заняла бы гораздо больше времени, чем обучение агентов на местах оценке угроз и самостоятельному поиску задач, которые они в дальнейшем согласуют с центром, — объясняет Эстебан, чертя пальцем в воздухе какую-то схему.

— И что, это так и работает? — удивляется директриса.

— По большей части да, хотя, сами понимаете, операции бывают разными — отвечает Эстебан.

— Хорошо. Я пойду. Вы же... подождете меня здесь? — нерешительно спрашивает она.

— Да, я был бы рад воспользоваться вашим кабинетом. Мне предстоит оформить много документов.

— Хорошо. — Директриса пристально смотрит Эстебану в глаза. — Я вам доверяю, — с нажимом произносит она. — Как, вы сказали, вас зовут? — переспрашивает она уже от дверей.

— Сервеза, — чеканит молодой человек. — Эстебан Долорес. — Следует краткий обмен прощаниями, и *пидры* остаются в кабинете одни, слушая удаляющиеся шаги. Царит странная атмосфера. Эстебан тяжело опускается в директорское кресло, чтобы перевести дух; Хулио аккуратно присаживается на край стола.

— *Cerveza.* Человек и пиво. Неплохо, — говорит он.

— Эта операция оказалась еще безумнее, чем я ожидал, но все-таки прошла успешно, — удовлетворенно вздыхает Эстебан.

— А что будет дальше?

Эстебан сосредоточенно смотрит куда-то вдаль.

— Служба госбезопасности — на самом деле есть минимум три органа, которые занимаются нацбезопасностью, не помню точно, как они называются, — в общем, главный из них, служба безопасности Учредительного Собрания, скажет этой тётке, что всё идет по плану, и что мы можем делать всё, что хотим. Потом они быстренько пришлют своего человека, чтобы проверить, что мы за парни. И если всё пойдет по плану, и если я правильно понимаю идеологию Зиппоры, меня сделают уже настоящим агентом. Может быть, и тебя тоже. Конечно, по пути мы можем столкнуться с разными препятствиями. И, разумееется, полный провал тоже нельзя исключать. Если хочешь,

можешь уйти прямо сейчас: вряд ли за тобой устроят погоню, — не спеша объясняет он.

Хулио испытующе смотрит на друга:

— А ты точно уверен, что ты не чей-нибудь агент?

— Я рад, что ты спросил, — хитро улыбается Эстебан.

— Ну а на самом деле? Почему ты просто не скажешь? — не унимается Хулио.

Чуть нахмурясь, Эстебан выпрямляется в кресле:

— На самом деле, это всё не на самом деле. Мое имя, название спецслужбы, агент я или нет – всё это иллюзии. А реальность — как маяк, свет которого невозможно ни скрыть, ни уничтожить. Понимаешь? — И на миг Хулио кажется, что вместо голой волосатой груди Эстебана он видит сверкающий металл кирасы, а поверх нее — мундир, увешанный оловянными медалями с замысловатыми символами.

— Тебе выдадут меч и погоны, — говорит он, и в его голосе звучит железная уверенность.

Роберт Курвиц. ИСПРАВЛЕНИЕ

Опубликовано в блоге Мартина Луиги, с его предисловием.
Источник: medium.com.

«Роберт написал это в 2014 году, на эстонском языке. Еще раньше, до 2007 года, когда он начал писать "Sacred and Terrible Air", его посетила идея рассказать историю Элизиума в трех книгах, названных по именам главных героев — Милтон, Дистер, Даллас; Даллас позже превратился в Даллаша. Большая часть материалов для создания Элизиума вначале выглядит как "список интересных идей", словесный набросок, своего рода матрица. Недоступность мира для понимания с первого взгляда всегда была центральным элементом проекта, и это, конечно, напоминает о том, что и наш собственный мир невозможно понять сразу: приходится упрощать огромные объемы данных, они могут постоянно дополняться, может потребоваться сменить угол зрения, может понадобиться вписать в картину мира какую-то новую информацию — говоря вкратце, Роберту хотелось бы, чтобы мы рассматривали этот мир тем способом, который считает продуктивным он сам. И это поэтический дискурс, поскольку центральное место в нем занимают эмоции, а человеческие эмоции определенно следует уважать и относиться к ним внимательно — из-за того, какую силу они собой представляют, как в хороших делах, так и в дурных».

«РЕЙКСЛИВЕТ» НАРУШИЛА ЖУРНАЛИСТСКУЮ ЭТИКУ, ОПУБЛИКОВАВ ЭТИ ИМЕНА

Члены группировки «Дистер» согласно «Рейксливет», 03.07.69

Мариус Дейстерс, известный как Дистер (гражданин Оранье, из семьи дипломатов (в т. ч. чрезвычайного и полномочного посла Оранье в Ильмараа); четыре опубликованных «сводных текста», состоящих по большей части из расшифровок)

Э. Август Лейкон (гражданин Веспера, ближайший друг Дистера, называет себя дистерианцем; отец — аналитик систем AMG)

Руперт Трепкос (гражданин Оранье, доктор филологических наук, докторант в области системологии, политический активист)

Филип ван Меринг (наследный принц Филипп Оранский, старший сын короля Филиппа Четвертого и Марии-Шагал)

Тео Ван Кок (гражданин Оранье, диск-жокей, самый младший член группировки; 4 альбома и более 200 совместных проектов, Гран-при журнала «Диск-Жокей» 68 года, в Деоре выдвинут в качестве нового Светоча полумиллионом голосов)

Псара, настоящее имя Петер-Нильс Сара (гражданин Оранье, орнитолог и литературный критик)

Поль Мессье (гражданин Ля Кле, предприниматель, поэт, член группировки «Мессье-Визаг»; «Враг прессы-58» («Тромп дю Монд»), «Враг прессы-67» («Рейксливет»), «Худший человек года-67» («Тромп дю Монд»))

Визаг (неизвестно)

*ИСПРАВИТЬ: «**якобы** член группировки "Мессье-Визаг"». Газета «Рейксливет» нарушила журналистскую этику, утверждая в статье «"РЕЙКСЛИВЕТ" НАРУШИЛА ЖУРНАЛИСТСКУЮ ЭТИКУ, ОПУБЛИКОВАВ ЭТИ ИМЕНА. Члены группировки "Дистер" согласно "Рейксливет", 03.07.69», что группировка «Мессье-Визаг» в действительности существует*.

ПРИМЕЧАНИЯ

В книге есть отсылки к реально существующим музыкальным произведениям. Вот те из них, которые смог опознать переводчик:

Håll mig här… во 2 главе — предположительно, строка из песни девичьей поп-группы *E.M.M.A* *Håll mig så nära* 2001 года. Что-то подобное вполне могло звучать и на школьных дискотеках Ваасы.

«Удаль, жажда жизни — словно бубенцы летящей тройки!» в 5 главе (в оригинале *uljus // ja elurõõm kui sööstva troika kuljus*) — цитата из песни группы *Vennaskond* *…nad läksid ööd.*

«…Я сочиню тебе симфонию…» в 5 главе — перевод строки из песни Джастина Тимберлейка *My love.*

«Песенка для пробуждения» Хана в 7 главе — *Long, Long, Long* группы *the Beatles.*

Vy från ett luftslott там же — название песни шведской рок-группы *Kent*. В романе есть и другие отсылки к творчеству этой группы: например, *Havsänglar* — прежнее название этого проекта, *Isola* — название альбома 1997 года, а в качестве иллюстрации к вырезанной сцене «Матушка Хана» в блоге ZA/UM были использованы фото с обложки альбома 2002 года *Vapen & Ammunition.*

Несколько выбивающееся из контекста слово *madrugada* в 14 главе — возможно, отсылка к норвежской альтернативной рок-группе *Madrugada.*

«Трек #1: *Helvetti*» в 18 главе — песня Кауко Рёйхкя и Рику Маттила.

«Трек #2, *Grave*» там же — вероятнее всего, «*Grave*. Метаморфозы для виолончели и фортепиано» Витольда Лютославского.

АВТОР
РОБЕРТ КУРВИЦ

РЕДАКТОР
МАРТИН ЛУИГА

ДИЗАЙН ОБЛОЖКИ
АЛЕКСАНДР РОСТОВ

МАКЕТ/ВЕРСТКА
ИНДРЕ СУУР

АВТОРЫ СЕТТИНГА
РОБЕРТ КУРВИЦ
МАРТИН ЛУИГА
КАСПАР КАЛЬВЕТ
АРГО ТУУЛИК

ОБЩЕЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ
ТРИЙН РУУБЕЛЬ
МЯРТ ЭМИЛЬ БЕЛКИН
ЮРИ ФРАНСИСКУС ЛОТМАН
КАСПАР КАЛЬВЕТ
КАУР КЕНДЕР
АРГО ТУУЛИК
ХЕЛЕН ХИНДПЕРЕ
ЛИЛИАН МАРИ МЕРИЛА
ИВАР САВИН

АНТИПЛАГИАТ
МЯРТ ЭМИЛЬ БЕЛКИН

ЯЗЫКОВАЯ КОРРЕКТУРА
МАРИЯ ТУУЛИК (ЭСТОНСКИЙ)
РАФАЛ ГЖЕНЯ (ПОЛЬСКИЙ)
КАДРИ САММЕЛЬ (РУССКИЙ)
ТААВИ ЭЭЛЬМА (ФИНСКИЙ)
КАРОЛИНА ПИХЕЛЬГАС (ШВЕДСКИЙ)

ОТПЕЧАТАНО:
PAKETT

ОПУБЛИКОВАНО:
ИЗДАТЕЛЬСТВО ZA/UM, ТАЛЛИН, 2013

ЧТО
ЗА
БОЖЕСТВЕННЫЙ
И
СТРАШНЫЙ
АРОМАТ
ВИТАЛ
ТОГДА
В
ВОЗДУХЕ

В предпоследний день
летних каникул
четыре дочери
министра образования
Анн-Маргрет Лунд
пропадают
с общественного пляжа.
Воздушный корабль
с полутора тысячами
пассажиров исчезает
во время первого рейса.

Трое одноклассников
пропавших девочек
не оставляют поисков
даже двадцать лет спустя.
Мира вот-вот не станет,
но надежда
найти сестер Лунд
все еще есть.

ФОРЗАЦЫ

На форзацах бумажной книги напечатаны имена, названия и термины из мира Элизиума (некоторые из них встречаются в игре *Disco Elysium*).

Передний форзац:
Inayat Khan (Инаят Хан)
Jesper De La Guardie (Йеспер де ла Гарди)
Tereesz Machejek (Тереш Мачеек)
Zygismunt Berg (Зигизмунт Берг)
Sven von Fersen (Свен фон Ферсен)
Väike Olle (Малыш Олле)
Sixten (Сикстен)
Maj Lund (Май Лунд)
Målin Lund (Молин Лунд)
Anni-Elin Lund (Анни-Элин Лунд)
Charlotte Lund (Шарлотта Лунд)
Åre Åkerlund (Оре Окерлунд)
Anita Lundqvist (Анита Лундквист)
Konrad Gessle (Конрад Гессле)
Oskar Zorn (Оскар Цорн)
Pernilla Lundqvist (Пернилла Лундквист)
Ulv aka Ise-Chillija (Ульв aka Изи-Чиль)
Kenni Nylander (Кенни Нюландер)
Ann-Margret Lund (Анн-Маргрет Лунд)
Karl Lund (Карл Лунд)
Aliyah Khan (Алия Хан)
Ramout Karzai (Рамут Карзай, Рамут Карсаи в *DE*)
Soul Milton (Соул Милтон)
Nadja Harnankur (Надя Харнанкур в *DE*)
Gon-Tzu (Гон-Цзы)
Comte Emil de Perouse-Mittrecie (Émile в тексте, граф Эмиль де Перуз-Митреси)
Cornelius Gurdi (Корнелиус Гурди в *DE*)
Jean Abadanaiz (Жан Абаданаиз в *DE*)
Julia Dobreva (Юлия Добрева в *DE*)
Frantiček Vapper (Франтишек Храбрый)
Julius Kuznitski (Юлий Кузницкий)
Aram Uhotomski (Арам Ухтомский)
Ignus Nilsen (Игнус Нильсен в *DE*)
Kras Mazov (Крас Мазов в *DE*)
Saron Voronikin (Сарон Ворроникин)
Sapurmat Knežinski (Сапурмат Кнежинский, Сапормат Кнежинский в *DE*)

Idit Bronski (Идит Бронская)
Leon Etianovitš Zdorov (Лев Этианович Здоров)
Ion Rodionov (Ион Родионов)
K. Saronovitš Voronikin (К. Саронович Вороникин)
Vidkun Hird (Видкун Хирд)
Deerek Trentmöller (Дирек Трентмёллер)
Linoleumimüüja (Продавец линолеума)
Kosmo Kontšalovski (Космо Кончаловский)
Somerset Ulrich (Сомерсет Ульрих)
Sarjan Asaturovitš Ambartsumjan (Сарьян Асатурович Амбарцумян)
Mees Sisejuurdlusest (Сотрудник отдела внутренних расследований)
Macaab Nyflox (Макаб Нифлокс, М. Нифлокс в *DE*)
Grupp «Ismael» (группировка «Измаил»)
Koostööpolitsei (Международная полиция, Международная союзническая полиция в *DE*)
Arno van Eyck (Арно Ван Эйк в *DE*)
Rietveld (Ритвельд в *DE*)
Fakkengaff (Факкенгафф)
Theo van Kok (Тео Ван Кок)
Pius Perikarnassiselt (Пий Перикарнасский в *DE*)
Polycarp Perikarnassiselt (Поликарп Перикарнасский)
Ernö Pasternak (Эрно Пастернак в *DE*)
Franconegro (Франконегро в *DE*)
Dolores Dei (Долорес Деи в *DE*)
Innossents Sola (Светоч Сола в *DE*)
Ambrosius Saint-Miro (Амброзиус Сен-Миро)
Vihkaja Lacanne (Злопыхатель Лаканн)
Marat Sar (Марат Сар)
Ehs Eli Zair (Эис Эли Заир)
Exilin Mar (Экзилин Мар)
Ilona Vickerby (Илона Викербю)
Anastasia Lux (Анастасия Люкс)
Riche Le Pomme (Риш Лепомм)
Hans Blau (Ханс Блау в *DE*)
Irene le Navigateur (Ирена Мореплавательница в *DE*)
Stepan Vastik (Степан Презренный в *DE*)
Viscous di Kedra (Вискус ди Кедра)
Zygismunt Suur (Зигизмунт Великий, Зыгисмунт Великий в *DE*)
Erlend Noor (Эрленд Юный)
Philippe III Priiskaja (Филипп III Расточительный в *DE*)
Mees Hjelmdallist (Человек из Хьельмдалля в *DE*)
Parun von Kikkenberg (барон фон Киккенберг в *DE*)
Pepi Popikarnassos (Перепий Попкорнасский)

Les Morts («Ле Морт», «Мертвецы»)
Lefty Fitzgerald Booho (Лефти Фитцджеральд Бохо)
Seemio (Семио)
Raul van Mechelen (Рауль ван Мехлен)
Jan de Kaarp (Ян де Карп, Ян Каарп в *DE*)
Marius Dijsters (Мариус Дейстерс)
Rupert Trepkos (Руперт Трепкос)
Eli August Morrisson (Эли Август Морриссон)
Aleksandra Enmark (Александра Энмарк)
Meelespea (незабудка)
Vaterhosen («Фатерхозен»)
Moraalintern (Моралинтерн в *DE*)
Grupp «Dister» (группировка «Дистер»)
Riiklik Kesksignaalagentuur (Oranje) (Центральное государственное разведывательное управление (Оранье))
Viestikoelaitos (Центр радиоразведки)
Les Télécommunications Spéciales (Специальные телекоммуникации)
EPIS (ЭПИС в *DE*)
Meski Vastuluure (Меские контрразведка)
Nemad (Они)
Operaator taskukalkulaatoriga (Оператор с микрокалькулятором)
Grupp «Trepkos» (группировка «Трепкос»)
EMEI (ЭМЕИ)
Asutav Kogu (Учредительное собрание)
Innossents (Светоч)
Püha Erakond (Партия Святых в *DE*)
Leegitsev Küpress (Пылающий Кипарис)
Lita Zippora (Лита Зиппора)
Brix Vorschant (Брикс Форшант)
Breach Pizarro (Брич Писарро)
Ramada Umbra (Рамада Умбра)
Frank the Drunk (Фрэнк Пьяница)
Ferocious (Свирепый)
John Dilligent (Джон Диллиджент)
Deborah Antilootus (Дебора Безнадежная)
Exhalt Shapiro (Экзальт Шапиро)
Schwartzporter (Шварцпортер)
Ptolemaios Pryce (Птолемей Прайс в *DE*)
Nix Gottlieb (Никс Готлиб в *DE*)
Mack Torson (Мак Торсон в *DE*)
Chester McLaine (Честер Маклейн в *DE*)
Sundance Fischer (Сандэнс Фишер в *DE*)
Elf-Boy Williams (Мишель «Эльф» Уильямс в *DE*)

Chase «TheAce» Zidane (Чейз «Эйс» Зидан)
John «Arhetüüp» McCoy (Джон «Архетип» Маккой в *DE*)
Milicia Gorki-Berdjajeva (Милица Горькая-Бердяева, Бердяева в *DE*)
Šokol (Шокол)
Nick Feuerbach (Ник Фейербах в *DE*)
Kipt Mimosa (Кипт Мимоза)
Furioso «Voodoo» Roberts (Фуриозо «Вуду» Робертс, Робертс в *DE*)
Joseph Mills (Джозеф Миллс в *DE*)
Chad Tillbrook (Чад Тиллбрук в *DE*)
Emil Mollins (Эмиль Моллинс в *DE*)
Byrzelius «Golem» Bengt (Бирцелиус «Голем» Бенгт)
Apricot Pidieu (Априкот Пидье, Айва Пидье в *DE*)
Vanapoiss Pidieu (Старина Пидье – Жюль «Олдбой» Пидье в *DE*)
Ninel DeMettrie (Нинель Деметри)
Suave Mendez (Суаве Мендес)
James F. Evans (Джеймс Ф. Эванс)
Cedric Dtoyle (Седрик Детойл)
André «Infarkt» Pidieu (Андре «Инфаркт» Пидье)
Nabukadanasor Pryce (Навуходоносор Прайс)
Triss McLaine (Трисс Маклейн)
Tessa Torson (Тесса Торсон)
Hammasteta Armataur (Беззубый Арматавр)
Ahriman «Surematu» DeMettrie (Ариман «Бессмертный» Деметри)
Theopold Leslie (Теопольд Лесли)
Carson Torson (Карсон Торсон)
Krov Rozenkreutz (Кров Розенкрейц)
Sabiat Khan (Сабият Хан)
Marut-Eli-Ilin (Марут-Эли-Илин)
Elysium Corona Mundi (Элизиум, Корона мира)

Задний форзац:
Seol (Соль в *DE*)
Katla (Катла в *DE*)
Graad (Граад в *DE*)
Samara (Самара в *DE*)
Mundi (Мунди в *DE*)
Insulinde (Островалия в *DE*)
Iilmaraa (Ильмараа, Ильдемарат в *DE*)
Oktsident (Окцидент в *DE*)
Vesper (Веспер в *DE*)
Messina (Мессина в *DE*)
Oranje (Оранье в *DE*)
Meteo (Метео в *DE*)

Königstein (Кёнигштайн в *DE*)
Sur-la-Clef (Сюр-ля-Кле в *DE*)
Saramiriza (Сарамириза в *DE*)
Sao (Сао в *DE*)
Altaa RV (Народная Республика Алта)
Meskiriik (Республика Меск в *DE*)
Advesperascit (Адвесперасцит в *DE*)
Rheasilvia (Реасильвия в *DE*)
Deora (Деора в *DE*)
Vredeford (Vredefort, Фредефорт в *DE*)
Cérne (Серне)
Rael (Раэль)
Thylakos-Pisantiku-Ääres (Филакос-у-Пизантики в *DE*)
Stepankedra (Штепанкедра в *DE*)
Istalife (Исталиф)
Pisanteum (Пизантеум)
Loos (Лоос в *DE*)
La Parbat (Ла Парбат в *DE*)
Radial Abbada (Радьяль Аббада)
Port Irén (Порт-Ирен)
La Habitad (Ла Хабитад)
Tabalt (Табальт)
Major Mundi (Майор Мунди, «Великая Мунди»)
Pisantik (Пизантика)
Irmala (Ирмала в *DE*)
Ubi-Sunt (Уби Сунт? в *DE*)
Villalobos (Виллалобос в *DE*)
La Clef (Ля Кле в *DE*)
Magritt (Магритт в *DE*)
Suur Must (Великий Черный)
Viderunt (Видерунт)
Corpus Mundi (Корпус Мунди в *DE*)
Samara Rahvavabariik (Самарская Народная Республика, Самарийская Народная Республика в *DE*)
Safre (Сафр в *DE*)
Tien-En (Тянь-Энь)
Mialin (Мялинь)
Nagusien (Нагусень)
Kukuškina Interisolarsk (Кукушкино Интеризолярная)
Sapurmat Ulan (Сапурмат-Улан)
Nemengi Uul (Неменги-Уул)
Nad-Umai (Над-Умай)
Dotška Zador (Дочка-Задор)

Aprikoosi Suzerainty (Абрикосовый сюзеренитет в *DE*)
Aniisisaared (Анисовые острова)
Kokonur (Коко-Нур в *DE*)
Apsara (Апсара)
Samarskilt (Самарская пустыня в *DE*)
Ultar Sar (Ультар Сар)
Graadiriik (государство Граад в *DE*)
Zsiemsk (Земск в *DE*)
Šest (Шёста, Шест в *DE*)
Jugo-Graad (Юго-Граад в *DE*)
Lomonossovimaa (Земля Ломоносова, Край Ломоносова в *DE*)
Jikutsk (Джикутск)
Intergraad («Интерграад»)
Polüfabrikaat (Полифабрикат, Полифэбрикейт в *DE*)
Mirova (Мирова в *DE*)
Noo («Ноо»)
Lenka (Ленка)
Romangorod (Романгород)
Ferdydurke (Фердидурке, Фердидирке в *DE*)
Šestaprel (Шестапрель в *DE*)
Polit-Sofia (Полит-София)
Igressi Meri (Море Игресса)
Graadi Kopsud (Легкие Граада)
Yekokataa (Екокатаа в *DE*)
Severnaja Zemlja (Северная Земля)
Vaasa (Вааса в *DE*)
Arda (Арда в *DE*)
Surumaa (Сурумаа, «Земля Суру»)
Königsmalm (Кёнигсмальм)
Västermalm (Вестермальм)
Östermalm (Эстермальм)
Saalem (Салем)
Kexholm (Кексхольм)
Lovisa (Ловиса)
Charlottesjäl (Шарлоттешель)
Holodnaja Zemlja (Холодная Земля)
Jelinka (Елинка в *DE*)
Värtna (Вартна в *DE*)
Norrköping (Норрчёпинг)
Lohdu (Лохду, Лоду в *DE*)
Lemminkäise (Лемминкяйсе)
Talve Orbiit (Зимняя орбита в *DE*)
Boreaalplatoo (Полярное плато, Борейское плато в *DE*)

Vostoki Järv (озеро Восток)
Põhjaväil (Северный перешеек)
Interim (Интерим)
Amistad (Амистад)
Yeesut (Йесут, Йеисут в *DE*)
Serber (Сербер в *DE*)
Kur-Kur (Кур-Кур)
Ilal-Sahrava (Ялаль-Сахрава в *DE*)
Absolom (Абсолом)
Himiariidid (химиариты)
Nikomachos (Никомах)
Areopagita (ареопагиты в *DE*)
Gurdi (Гурди в *DE*)
Sahra (Сахра)
Ohm-Suri (Ом-Сури)
Ea (Эа в *DE*)
Amistad Bašir (Амистад Башир)
Thylakos-Perikarnassisel (Филакос-Перикарнасский)
Ergi Kõrb (пустыня Эрг в *DE*)
Uamrao (Уамрао в *DE*)
Punane Platoo (Красное плато в *DE*)
Pagev Meri (Ускользающее море)
Suur Sinine (Великий Синий (океан), les Immensités Bleu в *DE*)
Arkaadisaared (Аркадские острова в *DE*)
Semenine (Семенинские острова в *DE*)
Perouse (Перуз)
Ozonne (Озонн в *DE*)
Saint-Martin (Сен-Мартен в *DE*)
Revachol (Ревашоль в *DE*)
Vermillon (Вермиллион в *DE*)
Saint Batiste (Сен-Батист в *DE*)
La Rêve du Monde (Ля Рев дю Монд, «Сновидение мира»)
La Delta (Дельта в *DE*)
Stella Maris (Стелла Марис, «Звезда моря»; Стелла Мари в *DE*)
Söelinn («Угольный город», Коул-Сити в *DE*)
Jamrock (Джемрок в *DE*)
Martinez (Мартинез в *DE*)
Boogie Street (Буги-стрит в *DE*)
Enola (Энола)
Seol Cite (Соль Ситэ)
Hall (Серость в *DE*)
Rodionovi Süvik (воронка Родионова)
Iisola (изола)

Absoluutne Negatsioon (абсолютное отрицание)
Ainesurutis (компрессия вещества)
Seraseoliitikum (серазеолит в *DE*)
Iidne Massiühiskond (древний общественный строй в *DE*)
Polükarpeum (Поликарпеум)
Iisolate pooldumine (разделение изол)
Kedra Maailmavallutus (Кедрийский завоевательный поход в *DE*)
Sajandivahetuse Revolutsioonid (Революции рубежа веков; Революция Начала века или Предвековая революция в *DE*)
La Retour (Le Retour в *DE*)
Geopoliitiline maailmalõpp (геополитический апокалипсис)
Odotus (Ожидание)
Aasimut («Азимут»)
Iikon («Икон», «Икона»)
Zenit («Зенит»)
Himmelfahren («Химмельфарен», «Вознесение»)
Mosaiik («Мозаика»)
Shakermaker («Шейкер-мейкер»)
Freiweltlabor («Фрайвельтлабор», «Лаборатория Свободного мира»)
Entroponeetika (энтропонетика в *DE*)
Ekstrafüüsika (экстрафизика в *DE*)
Karperism (карперианство в *DE*)
Funk! (фанк!, фанк в *DE*)
Dideridaada (дидридада, дидеридада в *DE*)
Mikro-Funktsionalism (микрофункционализм)
Trepkism (трепкизм)
Anarkism (анархизм)
Frankonegriitlus (франконегризм)
Doloriaanlus (долорианство)
Disteriaanlus (дистерианизм)
Maazovlus (мазовизм)
Interisolaarne Reaalvöönd (зона интеризолярного реала)
Seoli Õnnelikud (солийские Одаренные в *DE*)
Therrier (терьер в *DE*)
Pistolett (пистолет)
Banque Mondiale (Всемирный банк в *DE*)
ORG-Riigid (страны ОРГ в *DE*)
Mnemoturist (мнемотурист)
Mootortsükkel (мотошоссе)
Mootorkaarik (мотокарета в *DE*)
Magnetrong (магнитопоезд)
Magnees (магнитная дорога)
Ekvester («Эквестер»)

Eendracht («Эндрахт» в *DE*)
Roo («Ро», ROO в *DE*)
LUM («ЛАМ» в *DE*)
Perseus Black («Персей Блэк» в *DE*)
Zieleger («Цилегер» в *DE*)
Tew («Тью», «Снасть»)
ZAMM («ЗАММ» в *DE*)
Freibank («Фрайбанк»)
Trigat («Тригат» в *DE*)
Ezra («Эзра»)
Tea Shop («Ти Шоп», «Чайная лавка»)
Zeul («Цейль»)
En Provence («Ан Прованс», «В Провансе»)
Meridienne («Меридьен», «Меридиан»)
Landsgraafmetronoom (метроном Ландсграфа)
Parkinson («Паркинсон»)
Vox («Вокс» в *DE*)
Orbis («Орбис» в *DE*)
La Revacholiere («Ля Ревашольер», «Жительница Ревашоля»)
Granate No3 («Гранат» No3)
Dagens («Дагенс», «Сегодня»)
Kapitalist («Капиталист»)
Astra («Астра»)
Radar («Радар»)
Diorella («Диорелла»)
Maskula («Маскула»)
Abu-Babu Kebab («Кебаб Абу-Бабу»)
Lõpp-Peatuse Viin (водка «Конечная станция»)